

Предисловие

Курс общего языкознания, сравнительно недавно введенный в учебные планы филологических факультетов советских вузов, не имеет еще учебных традиций, подобных тем, которыми обладает курс введения в языкознание: у него нет еще устоявшейся и апробированной программы; по этому курсу не создавалось еще ни разу учебника, так как то, что в русском языкознании известно под именем общего языкознания (например, курс Ф. Ф. Фортунатова), фактически было учебными пособиями по введению в языкознание.

Правда, на русском языке существуют переводные работы, которые, кстати говоря, более соответствуют характеру курса общего языкознания (таковы книги Ж. Вандриеса «Язык», Э. Сепира «Язык» и Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики»). Но при всех несомненных и выдающихся достоинствах этих книг, сделавших в свое время их публикацию событием в языкознании (эта характеристика в первую очередь относится к книге Ф. де Соссюра), они не могут рассматриваться в качестве учебников по данному курсу в силу своих методологических установок, а также, естественно, и потому, что, будучи написаны несколько десятилетий тому назад, они не охватывают проблематики современного языкознания. Однако все эти обстоятельства не мешают, разумеется, широкому их привлечению в качестве дополнительного материала. Более того, такое привлечение крайне желательно даже и для того (будем надеяться, близкого) времени, когда по курсу общего языкознания будет создан советский учебник.<3>

Но перечисленными особенностями не исчерпываются трудности, связанные с созданием учебника по курсу общего языкознания. Его сложность заключается также и в своеобразной двойственности, свойственной этому курсу. С одной стороны, он должен подвести итог всей работы студента в области языкознания за время его пребывания в вузе. Это заставляет ориентироваться на относительно стабильные категории и оценки предшествующих общих и специальных языковедческих курсов. С другой стороны, он должен научить студента-выпускника (данная дисциплина читается на последнем

курсе) самостоятельному осмыслению языковедческих проблем, которое ожидает его за порогом вуза. Это обстоятельство требует от студента относительно широкого знакомства с текущей специальной (в том числе и периодической) литературой, которая с каждым годом, конечно, пополняется и выдвигает все новые и новые проблемы и вопросы. За таким поступательным движением науки о языке учебнику трудно угнаться. К тому же вновь возникающие проблемы всегда сопровождаются весьма противоречивым истолкованием, обусловленным еще недостаточной их разработанностью. Последнее обстоятельство делает неизбежным весьма существенное качество любого пособия по общему языкознанию — индивидуальное понимание проблем современной лингвистики.

Настоящую книгу ни в коем случае не следует рассматривать как попытку создания учебного курса по общему языкознанию. Хотя в ней рассматривается большинство тех проблем, которые входят в программу курса, она фактически представляет только очень далекий подступ к созданию подобного учебного пособия. Задача книги в значительной мере заключается в том, чтобы, прежде чем приступить к составлению собственно учебника, подвергнуть предварительному обсуждению наиболее общие и наиболее важные проблемы теоретического языкознания в современном их состоянии. Таким образом, книгу лучше истолковывать в качестве стимула к созданию учебника общего языкознания. Но одно (отмеченное выше) качество будущего учебника настоящая небольшая книга все же разделяет: в ней изложена личная (хотя, конечно, не во всем оригинальная) точка зрения автора на основные проблемы современного языкознания. С этой ее особенностью надо считаться с самого⁴ начала. Само собой разумеется, что методологической основой истолкования лингвистических проблем повсюду являются научные принципы, принятые в советской науке о языке.

Так как книга выходит за рамки тех проблем, которые по преимуществу разрабатывались в последние годы советским языкознанием, и обращается также к зарубежному языкознанию, подвергая критическому осмыслению наиболее общие и принципиально важные его вопросы, то, может быть, она также поможет оживлению интереса к крупным методологическим

проблемам языкознания, отошедшим, к сожалению, в последнее время у нас на задний план.

Индивидуальное понимание затрагиваемых в книге проблем обусловило и характер самого изложения. В ней нет догматического и непререкаемого формулирования непреложных истин, которое, впрочем, можно считать оправданным для курса введения в языкознание, где преподаватель оперирует более или менее устоявшимися лингвистическими категориями. Но, без всякого сомнения, и этому курсу отнюдь не противопоказана личная точка зрения лектора. Тем более она оправдана при изложении некоторых спорных проблем современного языкознания. Именно поэтому изложение в настоящей книге по преимуществу придерживается того стиля, который можно назвать доказательным. Ведь излагая личную точку зрения, приходится убеждать читателя.

В главах «Язык» и «Развитие языка» частично использованы напечатанные в разное время статьи. Но и они подверглись значительной переработке.

Наконец, следует упомянуть еще об одном обстоятельстве. У этой книги долгая история, отдельные ее части писались в разное время, что неизбежно привело к известной неровности изложения и неодинаковой полноте отдельных ее разделов. Автор сознает этот недостаток своей книги, но устранение его фактически требует полной ее переработки. Несомненно, это более целесообразно сделать с учетом тех критических замечаний, которые будут высказаны по поводу излагаемых в ней положений принципиальной важности, так как это поможет определить их удельный вес во всей концепции, а следовательно, и пропорции частей и разделов книги.<5>

Язык

Что такое язык?

Этот вопрос сопровождал науку о языке на протяжении всей ее истории и продолжает оставаться центральным и в наши дни. Языкознание располагает большим количеством ответов на него, каждый из которых оказывает прямое влияние на определение методов и направлений изучения языка, установление форм и закономерностей его развития и, по сути говоря, на формирование всей проблематики науки о языке. Вот некоторые из этих ответов.

«Язык есть орган, образующий мысль. Умственная деятельность — совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая бесследно — посредством звука речи материализуется и становится доступной для чувственного восприятия. Деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство... Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе представить что-либо более тождественное... Язык представляет собой непрерывную деятельность духа, стремящуюся превратить звук в выражение мысли» (В. Гумбольдт).

«Язык есть деятельность теоретического разума в собственном смысле, так как он является ее внешним выражением» (Гегель).

«Язык есть звуковое выражение мысли, проявляющийся в звуках процесс мышления... Законы, установленные Дарвином для видов животных и растений, применимы, по крайней мере в главных чертах своих, и к организмам языков» (А. Шлейхер).⁶ «Язык... есть выражение осознанных внутренних, психических и духовных движений, состояний и отношений посредством артикулированных звуков» (Г. Штейнталь).

«Язык есть... форма мысли, но такая, которая ни в чем, кроме языка, не встречается» (А. А. Потебня).

«Язык состоит из слов, а словами являются звуки речи, как знаки для нашего мышления и для выражения наших мыслей и чувствований» (Ф. Ф. Фортунатов).

«Язык есть комплекс членораздельных и знаменательных звуков и созвучий, соединенных в одно целое чутьем известного народа и подходящих под ту же категорию, под то же видовое понятие на основании общего им всем языка... Язык есть одна из функций

человеческого организма в самом обширном смысле этого слова» (И. А. Бодуэн де Куртене).

«Сущность языка заключается в общении» (Г. Шухардт).

«Язык есть человеческая деятельность с целью сообщения мыслей и чувств» (О. Есперсен).

«Язык есть артикулированный, ограниченный и для цели выражения организованный звук» (Б. Кроче).

«Язык есть специфически человеческий и неинстинктивный способ передачи идей, чувств и желаний посредством системы произвольно производимых символов» (Э. Сепир).

«Язык есть всякое намеренное произнесение звуков как психических состояний» (А. Марти).

«Язык есть система знаков, выражающих идеи... социальный продукт речевой способности, совокупность необходимых условий, усвоенных общественным коллективом для осуществления этой способности у отдельных лиц» (Ф. де Соссюр).

«Язык есть система условных знаков, которые можно произвольно воспроизводить в любое время» (Г. Эббингхаус).

«Язык есть знаковая структура, с помощью которой осуществляется выражение некоторого мыслительного и предметного содержания» (Ф. Кайнц).

«Язык есть духовное выражение... История языка есть не что иное, как история духовных форм выражения, следовательно, история искусства в самом широком смысле этого слова» (К. Фосслер).<7>

«Язык есть бесспорно общественное явление» (А. Мейе).

«Язык образовался в обществе. Он возник в тот день, когда люди испытали потребность общения между собой... Язык как социальное явление мог возникнуть только тогда, когда мозг человека был достаточно развит, чтобы пользоваться языком» (Ж. Вандриес).

«Называя изоглоссами элементы, находящиеся в обладании членов данной лингвистической общности в данный момент времени, мы можем определить язык как систему изоглосс, соединяющих индивидуальные лингвистические акты» (В. Пизани).

«Язык есть... структура чистых отношений... форма или схема, не зависящая от практических реализаций» (П. Ельмслев).

Приведенные определения далеко не исчерпывают многообразия точек зрения на природу и сущность языка. Но они дают общее

представление о различии подходов к изучению языка.

В советском языкознании сложилась своя точка зрения на природу языка, которая исходит из принципов философии диалектического материализма. В основе определения языка в советском языкознании лежат высказывания классиков марксизма-ленинизма:

«Язык есть важнейшее средство человеческого общения» (В. И. Ленин).

«Язык есть непосредственная действительность мысли» (К.Маркс).

Из этих определений явствует, что основными функциями языка являются — коммуникативная и мыслеформирующая (язык — орудие мысли). Именно они делают язык общественным явлением, требующим своего рассмотрения при всестороннем изучении также и в связи со всеми теми аспектами, которые являются определяющими для человеческого общества. Но, они не касаются «технических» качеств и особенностей языка как такового. Они дают его философское определение; но наряду с ним необходимо и лингвистическое.

В работах, особенно учебного назначения, эти формулировки обычно повторяются, хотя, составляя лишь методологическую основу для понимания природы языка, они, бесспорно, требуют, как и все другие научные положения, более широкого раскрытия и развертывания.<8>

Если рассматривать с исторической точки зрения определения языка, которыми пользуется советская лингвистика, то в них на первый взгляд можно обнаружить много общего с определениями, которые давались уже ранее представителями различных направлений в языкознании. Это явствует уже из сравнения данных определений с тем перечислением разнообразных толкований природы языка, которые приводятся в начале настоящего раздела. Так, например, несомненно близкие мысли лежат в основе следующих рассуждений Я. Гримма:

«...язык так же не мог быть результатом непосредственного откровения, как он не мог быть врожденным человеку... язык по своему происхождению и развитию — это человеческое приобретение, сделанное совершенно естественным образом. Ничем иным он не может быть: он — наша история, наше наследие» [1].

«Возникнув непосредственно из человеческого мышления, приносившаяся к нему, идя с ним в ногу, язык стал общим

достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись, как не могут обойтись без воздуха, и на которое все они имеют равное право». [2] «Наш язык — это также наша история». [3] Столь же близкими к приведенным выше определениям кажутся некоторые высказывания В. Гумбольдта — основоположника общего языкознания и вместе с тем создателя теоретических основ различных идеалистических направлений в языкознании.

«Даже не касаясь потребностей общения людей друг с другом, — пишет он, — можно утверждать, что язык есть обязательная предпосылка мышления и в условиях полной изоляции человека. Но в действительности язык всегда развивается только в обществе, и человек понимает себя постольку, поскольку опытом установлено, что его слова понятны также и другим». [4]

Аналогичные мысли высказывает и глава натуралистического направления А. Шлейхер. Он пишет: <9> «Где развиваются люди, там возникает и язык... мышление и язык столь же тождественны, как содержание и форма. Существа, которые не мыслят, не люди; становление человека начинается, следовательно, с возникновения языка, и обратно — с человеком возникает язык». [5]

Можно было бы привести еще очень много подобных определений, варьирующих в том или ином направлении отдельные характеристики языка, фигурирующие также и в советской науке о языке. На основе приведенных высказываний представителей разных направлений в языкознании может создаться впечатление, что понимание природы языка в сущности остается единым на протяжении длительного периода времени и советское языкознание, опирающееся на метод диалектического материализма; ничего нового в данном случае не вносит. Однако такое впечатление будет ложным. Ясно, что многие крупные языковеды могли подметить в языке общие его черты и дать им близкую характеристику, но надо учитывать, что даваемые ими определения языка выступают в контексте различных философских мировоззрений и поэтому наполняются несхожим и даже нередко противоположным содержанием. Такие понятия, как народ, мышление, история, в тесную связь с которыми ставят язык Я. Гримм, В. Гумбольдт или А. Шлейхер, очень далеки от истолкования их советской наукой. Советского языковеда никак не может

удовлетворить, например, определение народа в его отношении к языку, которое дает В. Гумбольдт.

В самом начале своей работы «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» В. Гумбольдт пишет по этому поводу: «Разделение человеческого рода на народы и племена и различие их языков и диалектов взаимосвязаны, но находятся также в зависимости от третьего явления более высокого порядка — воссоздания человеческой духовной силы во все более новых и часто более высших формах... Это неодинаковое по форме и степени проявление человеческой духовной силы, совершающееся на протяжении тысячелетий по всему земному шару, есть высшая цель всякого духовного процесса и конечная идея, к которой должна стремиться всемирная исто<10>рия» [6]. Совершенно очевидно, что при таком понимании связи языка и народа, когда связующим и руководящим началом оказывается «человеческая духовная сила», сама эта связь, так же как и понимание таких категорий, как язык и народ, приобретает совершенно особое и глубоко идеалистическое значение, резко отличающееся от того, какое этой связи придается в советской науке.

Следовательно, всякое определение языка необходимо рассматривать в общей системе лингвистического мировоззрения и соотносить его с соответствующим пониманием других категорий, находящихся в связи с языком. Речь Должна идти не об отрывочных и не связанных друг с другом тезисах, а о целостной концепции, опирающейся на определенные философские позиции.

Построение философии языка, удовлетворяющей описанным требованиям, нельзя пока считать законченным. В этой области предстоит еще многое сделать. Что касается, в частности, определения природы языка, то и тут, прежде чем дать по возможности исчерпывающий ответ на извечный вопрос — что такое язык — также предстоит еще большая работа. В этой работе методологические положения, вытекающие из философии диалектического материализма, являются исходными для широкого и сложного исследования, которое должно связать их с изучением конкретного языкового материала и включить в контекст целостной системы лингвистического мировоззрения.

Эту огромную и чрезвычайно ответственную работу необходимо, очевидно, начинать с изучения и критического рассмотрения тех определений природы языка, которые дает нам современное языкознание. Посвящая дальнейшее изложение этому вопросу, мы в первую очередь разберем теорию знаковой природы языка. Эта теория вот уже несколько десятилетий стоит в центре внимания зарубежной науки о языке. Она трактуется в работах крупнейших лингвистов самых различных школ (Ф. де Соссюр, Ш. Балли, А. Мейе, Э. Беневист, Л. Вайсгербер, В. Порциг и др.) и имеет огромную литературу. Она уже давно вышла за пределы одной, хотя и самой<11> существенной проблемы — проблемы природы языка. В тесной связи с ней находится определение методологических принципов изучения языка и направления этого изучения; она непосредственно отражается и в рабочих методах лингвистического исследования. Это, таким образом, не только отвлеченная теоретическая проблема. Это целостное лингвистическое мировоззрение. Это теория, имеющая большое практическое значение, так как к ней обращены все самые существенные вопросы современной семасиологии, лексикологии, сравнительно-исторического метода и даже такие утилитарные аспекты изучения языка, как принципы машинного перевода.

Теория знаковой природы языка

Вопрос о знаковом характере языка имеет очень давнюю историю и встречается уже у ученых глубокой древности, задававшихся вопросом о сущности языка. Так, у Аристотеля мы обнаруживаем следующее высказывание: «Языковые выражения суть знаки для душевных впечатлений, а письмо — знак первых. Так же как письмо не одинаково у всех, так не одинаков и язык. Но впечатления души, с которыми в своих истоках соотносятся эти знаки, для всех одинаковы; также и вещи, впечатление от которых представляет их отображение, тоже для всех одинаковы» (*Perihermeneias*). Изложенный с такой лапидарностью тезис Аристотеля лежал в основе теорий XVI–XVIII вв., устанавливающих для всех языков единое логическое содержание при различных формах его обозначения.

Понятие знаковости достаточно широко используется и в работах лингвистов, закладывавших основы сравнительно-исторического языкознания. Однако как употребление самого термина «знак» (или «символ»), так и его понимание очень широко варьируется у разных языковедов. Например, В. Гумбольдт, характеризуя слова как знаки предметов в соответствии с общими положениями своей философии языка, указывает: «Люди понимают друг друга не потому, что они усвоили знаки предметов, и не потому, что под знаками договорено понимать точно одни и те же понятия, а потому, что они (знаки) представляют собой одни и те же звенья в цепи чувственных восприятии людей и во внутреннем механизме оформле^{<12>}ния понятий; при их назывании затрагиваются те же самые струны духовного инструмента, в результате чего в каждом человеке возникают соответствующие, но не одни и те же понятия». [7]

Но уже А. А. Потебня, который в ряде существенных теоретических положений сближается с В. Гумбольдтом, в понимании языкового знака предлагает свою точку зрения, во многом связанную с установлением в лингвистике психологического истолкования категорий языка и оказавшую в дальнейшем большое влияние на понимание этой проблемы в русской лингвистической литературе. А. А. Потебня прежде всего отмечает, что «в слове (тоже) совершается акт познания. Оно значит нечто, т. е., кроме значения, должно иметь и

знак». [8] Затем он поясняет: «Звук в слове не есть знак, а лишь оболочка, или форма знака; это, так сказать, знак знака, так что в слове не два элемента, как можно заключить из вышеприведенного определения слова как единства звука и значения, а три». [9] В дальнейшем изложении А. А. Потебня вносит новые уточнения в свое понимание языкового знака. Знак, пишет он, «есть общее между двумя сравниваемыми сложными мысленными единицами, или основание сравнения, *tertium comparationis* в слове». [10] И далее: «Знак в слове есть необходимая замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением». [11]

Школа Ф. Ф. Фортунатова при определении характера языкового знака больший упор делает на внешнюю языковую форму языка, сохраняя, однако, представление в качестве важного элемента в образовании языковой единицы. Сам Ф. Ф. Фортунатов говорит об этом следующее: «Язык, как мы знаем, существует главным образом в процессе мышления и в нашей речи, как в выражении мысли, а кроме того, наша речь включает в себе также и выражение чувствований. Язык представляет поэтому совокупность знаков главным образом для мысли и для выражения мысли в речи, а кроме того, в языке существуют также и знаки для выражения чувствований. Рассматривая природу значений в языке, я остановлюсь сперва на знаках языка в процессе мышления, а ведь ясно, что слова для нашего мышления являются известными знаками, так как, представляя себе в процессе мысли те или другие слова, следовательно, те или другие отдельные звуки речи или звуковые комплексы, являющиеся в данном языке словами, мы думаем при этом не о данных звуках речи, но о другом, при помощи представлений звуков речи, как представлений знаков для мысли». [12]

Пожалуй, более сжато и четко излагает мысли своего учителя В. К. Поржезинский, определяя язык следующим образом: «Языком в наиболее общем значении этого термина мы называем совокупность таких знаков наших мыслей и чувств, которые доступны внешнему восприятию и которые мы можем обнаруживать, воспроизводить по нашей воле». [13] Но собственно знаком и в данном случае является не сама звуковая сторона слова, а представление о ней: «...представление

звуковой стороны слова является для нас символом, знаком нашего мышления, вместо представления того предмета или явления нашего опыта, которое остается в данный момент невоспроизведенным». [14]

У представителя казанской школы русского языкознания В. А. Богородицкого наблюдается стремление подойти к рассмотрению природы языкового знака несколько с иной стороны. Отмечая, что «язык есть *средство* обмена мыслей», что вместе с тем он «является и орудием мысли», а также «показателем успехов классифицирующей деятельности ума», В. А. Богородицкий пишет: «При этом обмене слова нашей речи являются символами или знаками для выражения понятий и мыслей». [15] Ниже он уточняет: «Таким образом, слова, <14> будучи знаками или символами предметов и явлений, как бы замещают эти последние, причем называемый предмет или явление может быть во время речи налицо, а может и отсутствовать, воспроизводясь воспоминанием или воображением». [16]

Как явствует из приведенных высказываний, природа слов получала двоякое истолкование и могла пониматься как явление двойственного или даже тройственного характера. Последняя точка зрения преобладала, подчеркивая сложность отношений, существующих между звуковой стороной слова и его значением. Но независимо от того, является ли «обозначаемое» реальным предметом или же психическим представлением о нем, отношение его с «обозначающим» (т. е. знаком) не меняется.

Не вдаваясь, однако, в подробный разбор приведенных суждений о языковом знаке, следует отметить в них общность направления, по которому идет разработка данной проблемы. При всех различиях подхода к ней можно усмотреть общее стремление осмыслить природу языкового знака в контексте взаимоотношений языка с психической деятельностью человека, причем в этом взаимоотношении язык выступает как самостоятельное и независимое явление. Тем самым внимание исследователя сосредоточивается на изучении языкового знака как категории собственно лингвистической, на установлении его языковой специфики. Однако сам термин «знак» во всех случаях не получает более или менее твердого и специального лингвистического определения, обозначая психическую категорию (представление) и являясь заместителем предметов и явлений или даже отождествляясь, как у В. Гумбольдта, с формой языка.

Совершенно по-иному стал рассматриваться этот вопрос со времени выхода в свет книги Ф. де Соссюра «Курс общей лингвистики». Пожалуй, наиболее существенным в учении Ф. де Соссюра о знаковом характере языка явился тот тезис, в соответствии с которым язык как система знаков ставился в один ряд с любой другой системой знаков, «играющей ту или иную роль в жизни общества»; поэтому изучение языка на равных основаниях и тождественными методами мыслится в составе^{<15>} так называемой семиологии — единой науки о знаках. «Язык, — пишет в этой связи Ф. де Соссюр, — есть система знаков, выражающих идеи, а следовательно, его можно сравнить с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с военными сигналами и т. д. и т. п. Можно, таким образом, мыслить себе науку, изучающую жизнь знаков внутри жизни общества... мы назвали бы ее «семиология».

[17] С этой общей установкой Ф. де Соссюра связаны и другие стороны его учения: замкнутость системы языковых знаков в себе, фактический отрыв синхронического аспекта языка от диахронического, статичность системы языка и многое другое. Но все же основным положением концепции Ф. де Соссюра в отношении рассматриваемой проблемы, получившим, кстати говоря, наибольшее развитие в теориях знаковости или «символичности» языка многих зарубежных лингвистов, является указанный тезис, в соответствии с которым язык лишается всяких специфических особенностей и, следовательно, способности функционировать и развиваться по свойственным только одному ему внутренним законам. Качественные характеристики отдельных структурных компонентов языка при такой постановке вопроса также неизбежно нивелируются.

Основное направление последующих многочисленных работ, посвященных проблеме языкового знака и в большей или меньшей степени примыкающих к идеям Ф. де Соссюра, сосредоточивается в первую очередь на стремлении выявить в языке черты, которые сближали бы его с другими видами знаковых систем. В этих работах и выкристаллизовывалось понимание термина «языковой знак» в том смысле, который обуславливается положением языка в семиологии (или, как иногда также говорят, семиотике), в результате чего проблема характера языкового знака фактически оказалась исключенной из

научного рассмотрения лингвистов и превратилась в проблему знаковой природы языка.

Языковой знак отныне уже не собственно языковое явление, находящееся в своеобразных и сложных отношениях с психическими и логическими категориями, но [16] условная материальная форма обозначения некоторого внутреннего содержания, ничем по существу не отличающаяся от обычного ярлыка. Вследствие этого подверглись резкому изменению и методологические установки, лежавшие в основе изучения языка: если ранее понятие «языкового знака» было одной из частных проблем науки о языке, то теперь это уже определенная лингвистическая концепция, которая обуславливает понимание природы и сущности языка в целом. Большинство работ соссюрской ориентации (если не говорить о философском осмыслении проблемы знака, например, в трехтомном труде Е. Cassirer «Philosophie der symbolischen Formen») варьируют те темы, которые впервые прозвучали в «Курсе общей лингвистики». Таковы, например, статьи Е. Lerch «Von Wesen des sprachlichen Zeichens» («Acta linguistica», 1, 1939), W. Brückner und J. Lohman «Vom Wesen des sprachlichen Zeichens» («Lexis», 1, 1948) и др., авторы которых стремятся выявить общие черты в естественных и условных знаках. Но вместе с тем мы встречаемся и с попытками развить или видоизменить учение Ф. де Соссюра о знаковом характере языка и даже подойти к нему критически. Наиболее интересными работами подобного рода являются статьи Э. Бенвениста и Ш. Балли. Их краткое содержание можно передать словами В. Пизани из его обзора работ по общему языкознанию и индоевропеистике за последние 15 лет.

«Э. Бенвенист доказывает, что знак отнюдь не имеет произвольного характера (*arbitraire*), как полагал женевский исследователь. Точнее говоря, он произволен по отношению к внешнему миру, но неизбежно обусловлен в языке, так как для говорящего понятие и звуковая форма нераздельно связаны в его интеллектуальной деятельности, функционируют в единстве. Понятие образуется на основе звуковой формы, а звуковая форма не воспринимается интеллектом, если она не соответствует какому-либо понятию. Изменения в языке возникают в<17> результате перемещения знака по отношению к внешнему объекту, но не в результате перемещения обоих элементов знака по отношению друг к другу. Значения знаков в синхронии, постоянно

нарушаемой и восстанавливаемой системы, соотносимы друг с другом, так как они противопоставляются друг другу и определяются на основе своих различий.

Ш. Балли, отталкиваясь от установленного де Соссюром различия между произвольным (например, *arbre*) и обусловленным (например, *dix-neuf*, *poir-ier*) знаками, различает обусловленность внешней формой (восклицание, ономатопея, звуковой символизм, экспрессивное ударение) и обусловленность внутренними отношениями (ассоциативные группы значений) и приходит к выводу о необходимости установления следующего идеального принципа: сущность полностью обусловленного знака состоит в том, что он покоится на определенной внутренне необходимой ассоциации, а сущность полностью произвольного знака — в том, что он связывается со всеми другими знаками на основе внешних факультативных ассоциаций. Между этими двумя крайними полюсами протекает жизнь знака». [20]

У некоторых языковедов можно отметить стремление провести разграничение между знаком и символом, когда в последнем устанавливается наличие известной связи между обозначаемым и обозначающим, [21] или же выделить различные типы знаков. Например, Сэндман [22] выделяет симптомы, или естественные знаки, сущность которых основывается на естественном соединении двух явлений (побледнение лица «означает» определенные чувства) и искусственные, или универсальные, знаки. В пределах этой последней группы в свою очередь выделяются: 1) дифференцирующие знаки, или диакритики, характеризующиеся полной независимостью формы знака от его «значения» (одна форма дифференцирующего знака в такой же степени пригодна, как и другая; например, памятный узел на носовом платке или любая дру<18>гая отметина), и 2) символы, в которых между формой и значением наличествует известный параллелизм или аналогия (например, крест на котором был распят Христос, в христианской религии). По Сэндману, указанные типы знаков представляют разные ступени развития языковых знаков, и, в частности, лексические единицы современных развитых языков являются якобы комбинацией диакритиков с символами.

Подобные разграничения ничего нового не вносят в теорию знакового характера языка, так как сохраняют основной тезис Ф. де

Соссюра и по-прежнему помещают язык в одном ряду с различными знаками и сигналами, лишая его всяких специфических качеств. Мало что изменяется и от того, что язык ставится в ряд то с одним, то с другим видом знаков, поскольку он при этом продолжает рассматриваться в целом только как одна из разновидностей знаковых систем.

Ради полноты, может быть, следовало бы упомянуть также и о Л. Ельмслеве (в частности, о его работе *Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse* Копенгаген, 1943), в лингвистической концепции которого понятие знаковости языка занимает видное место. [23] Но именно потому, что знаковый характер языка является отправным моментом в его рассуждениях, представляется нецелесообразным останавливаться на его лингвистической системе, не разобрав предварительно основного вопроса о действительной сущности языка.

В советском языкознании проблема знакового характера языка в течение значительного времени (пожалуй, <19> со времени выхода в свет трех выпусков «Эстетических фрагментов» Г. Шпета, 1922—23) была своеобразным табу, которое только недавно было нарушено работами Е. М. Галкиной-Федорук (см. ее статью «Знаковость в языке с точки зрения марксистского языкознания» в журнале «Иностранные языки в школе», 1952, № 2), А. И. Смирницкого (см. его работы «Объективность существования языка». Изд-во МГУ, 1954; «Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства». Изд-во МГУ, 1955) и др. Е. М. Галкина-Федорук подходит к разрешению данной проблемы по преимуществу в плане философском. [24] А. И. Смирницкого интересует прежде всего лингвистический аспект данной проблемы, и его положение о сочетании в языке произвольных и обусловленных (мотивированных) элементов в той общей форме, которую предлагает сам автор, заслуживает всяческого внимания.

Прежде чем приступить к решению вопроса о знаковом характере языка, надо возможно точнее определить и установить природу и сущность явлений, о которых идет речь.

Сначала, естественно, надо определить, что такое знак. Видимо, это понятие может истолковываться в разных аспектах (в том числе и в философском); нас здесь интересует только лингвистическое его

определение. Оно также не является единообразным. Иногда знаком называют лишь внешнее и доступное чувственному восприятию обнаружение или указание какого-либо понятийного содержания. Но такое истолкование знака невозможно принять, так как без соотнесения с содержанием или, как иногда говорят, с внутренней его стороной знак не есть знак — он ничего не означает. Поэтому правильнее вместе с Соссюром толковать знак как комбинацию внутренней и внешней сторон или как целое, составными элементами которого являются *означающее* и *означаемое*. Вместе с тем при лингвистическом раскрытии этих частных понятий (означающее и означаемое) представляется необходимым внести существенные коррективы в объяснение их Соссюром. Он говорит о том, что «языковой знак связывает не вещь и имя, но понятие и акустический образ» ^[25], он пытается лишить знак всех качеств материальности (довольно безуспешно, так как сам же говорит о чувственности акустического образа) и называет его «двухсторонней психической сущностью». ^[26] В дальнейшем развитии языкознания и был сделан этот необходимый корректив. Когда говорят о знаковой природе языка, ныне обычно имеют в виду характер взаимоотношений звуковой оболочки слова с его смысловым содержанием или значением. Следовательно, вопрос о знаковом характере языка самым тесным образом переплетается с вопросом о сущности лексического значения. Совершенно очевидно, что принципиально и неизбежно по-разному должен решаться вопрос о знаковой природе языка в зависимости от того, определяется ли лексическое значение слова как специфическая в своих особенностях часть языковой структуры, т. е. как чисто лингвистическое явление, или же оно выносится за пределы собственно лингвистических явлений. В этом последнем случае говорят о том, что слово служит для обозначения понятий или предметов, которые, следовательно, и составляют значение слова.

Далее важно знать основные и характерные черты знака, определяющие его сущность. Только после установления совокупности этих особенностей и соотнесения их с фактами языка можно говорить о том, в какой степени языку свойствен знаковый характер. Представляется целесообразным именно с этого и начать. В качестве основной особенности знака обычно называют полную произвольность его связи с обозначаемым содержанием. В плане

собственно языковом отмечается отсутствие внутренней мотивированности между звуковой оболочкой слова и его лексическим содержанием. Произвольность (немотивированность) знака, может быть, и является основной, но отнюдь не единственной его особенностью, и учитывать только одну эту²¹ особенность — значит решать данный вопрос в заведомо суженной перспективе. Знак как таковой характеризуется также и другими весьма существенными чертами, которые нельзя оставлять без внимания.

К ним относятся:

1. Непродуктивность знака. Знак не может служить основой для развития обозначаемого им содержания или даже способствовать тем или иным образом подобному развитию. Так, например, ракета, которой дается сигнал к военной операции, или различного рода дорожные знаки никак не могут способствовать изменению того содержания, которое условно связывается с ними и которое произвольно можно заменить другим.

Непродуктивность знака имеет и другую сторону. Знаки не способны на «творческие» комбинации. Соединение знаков есть механическое соединение «готовых», фиксированных «значений», не могущих своей комбинацией служить выявлению и развитию потенциальных значений компонентов. Так, соединение ряда тех же дорожных знаков не оказывает никакого влияния на смысловое содержание каждого из них в отдельности. В таком соединении знаков нередко безразличен и порядок их следования, лишь бы в своей совокупности они сигнализировали о сумме определенных «значений». К комбинации знаков вполне уместно применить арифметическое правило: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется.

2. Отсутствие смысловых отношений. Эта черта знака примыкает к предыдущей, но характеризует его несколько с иной стороны.

Знаки могут употребляться не только изолированно, но и образовывать целые «системы». Однако подобные системы знаков могут значительно различаться по своей природе, и неправомерно рассматривать их в одном плане. Так, следует резко разграничивать, с одной стороны, такие системы, как знаки Морзе или морская сигнализация флажками, и, с другой — систему цветowych дорожных сигналов. В первом случае мы фактически имеем дело с

«изображением» иными способами установленного буквенного алфавита определенных языков. Они являются в такой же степени системами знаков, как^{<22>} обычные письменные алфавиты: через их посредство только фиксируется и воспроизводится речь, нормам и закономерностям которой они полностью подчинены. Именно поэтому, например, при сигнализации морскими флажками можно в такой же степени проявить свою безграмотность, как и в обычном письме.

Иное дело системы, подобные дорожным знакам, которые и имеют в виду языковеды, трактующие об отношениях знаков.

Иост Трир, например, утверждает, что красный цвет дорожной сигнализации воспринимается нами как определенный сигнал только в силу наличия наряду с ним других цветовых сигналов. Подобного рода отношения знаков Трир переносит на смысловые отношения слов и стремится доказать, что лексическое значение каждого данного слова существует постольку, поскольку им обладают другие слова этой же смысловой сферы («Смысловые поля»). В данном случае логические противопоставления, существующие независимо от знаков, трактуются как противопоставления, а следовательно, и смысловые отношения самих знаков. В действительности же собственно смысловых отношений у знаков не может быть, что явствует как из изложения предыдущего раздела (непродуктивность знака), так и из абсолютной заменимости знака в подобного рода системах знаков. Трехчленная система цветовых дорожных знаков (красный — зеленый — желтый), принятая в Советском Союзе, определяется четкой воспринимаемостью этих цветов, но если какой-нибудь из данных цветов будет заменен другим (например, желтый синим), то никакого изменения в «значении» других знаков не произойдет. Подобная абсолютная заменимость знака достаточно наглядно показывает отсутствие у знаков внутренних смысловых отношений.

3. Автономность знака и значения. Знак в силу своей абсолютной условной (немотивированной) связи с обозначаемым содержанием может обладать независимой от этого содержания ценностью, вести, так сказать, независимое существование. Так, сам по себе цвет, широко применяющийся в разнообразных сигнальных системах, имеет и самостоятельную (например, эстетическую) ценность. Часто при этом сама знаковая функция является вторичной. Звуковые сигналы или условные слова (пароли) могут обладать определенной^{<23>}

ценностью или значимостью и помимо своего знакового использования.

Но более важной особенностью знака является автономность существования его «значения». Оно может формироваться и существовать совершенно независимо от самого знака и затем находить любое условное выражение, т. е. абсолютно произвольно связываться с любым знаком, к которому обычно применяется единственное требование — возможно более четкая воспринимаемость. Так, например, «значения» дорожных знаков, несомненно, устанавливаются и определяются до того, как они условно связываются с определенными цветами, которые их «выражают»; эти «значения» могут быть легко разъединены с принятым ныне цветовым способом их выражения и связаны с любыми другими знаками,

4. Однозначность знака. Знак не допускает никаких добавочных истолкований его смыслового содержания, это абсолютно противоречит его природе. Его прямое и единственное «значение» не подлежит изменению в зависимости от конкретной ситуации его функционирования, он не знает влияния контекста. Так, вне зависимости от того, в каких условиях машинист паровоза, ведущий поезд, видит на пути красный цвет, он может его понять только в одном и единственном смысле. Влияние «контекста» на знак можно, правда, видеть в том, что красный цвет машинист истолковывает определенным образом только на железнодорожных путях. В этом случае за пределами железнодорожного транспорта знак перестает для машиниста быть знаком, он теряет свою знаковую функцию.

Отмечая разбираемую особенность знака, Ф. Кайнц совершенно справедливо пишет: «Морские коды, военные сигналы, дорожные знаки — застывшие, схематические и непродуктивные системы. Их знаки не способны к видоизменению и комбинированию. Они должны применяться как таковые; они не терпят никаких творческих новшеств, чтобы примениться к ситуации, не учтенной при установлении сигналов». [27]

Конечно, с одним и тем же знаком можно условно соединить два «значения», но в этом случае мы будем<24> иметь не один полисемантический, а два разных знака, так как никакой внутренней общностью два разных «значения», связанных с единой формой своего

обнаружения, не могут обладать. Так, выстрел, с помощью которого открывается спортивное состязание или подается сигнал к штурму укреплений противника, есть не один полисемантический знак, а два разных знака. Это, так сказать, знаки-омонимы.

5. Отсутствие эмоционально-экспрессивных элементов. Знак как таковой абсолютно «бесстрастен», он лишен всяких экспрессивных и эмоциональных элементов, которые, если бы они обнаруживались в нем, лишь мешали бы выполнению знаком его прямой функции. По своей целенаправленности знаки полностью поглощены задачей обозначения только некоторого понятийного содержания. Разумеется, они могут обозначать эмоции, но только как понятия о них. Они даже способны вызывать эмоции (так, объявление победы с помощью того или иного знака в спортивном соревновании не может не вызвать чувства радости или печали у соревнующихся команд). Однако совершенно очевидно, что во всех подобных случаях эмоциональные элементы связаны не с самим знаком. Лучшим доказательством того, что это действительно так, является абсолютная невозможность построения какой-либо стилистики знаков.

Можно было бы, очевидно, привести еще и иные характеристики знака, но и перечисленных достаточно, чтобы рассмотреть вопрос о знаковости языка в более широкой, чем это обычно делается, перспективе. С этой целью следует установить, в какой мере применимы к языку и, в частности, к его основной единице — слову все перечисленные характеристики знака. При этом заранее следует принять во внимание следующее обстоятельство: все перечисленные существенные черты знака бесспорно присутствуют у любого из них. Отсюда следует сделать логический вывод, что о знаковом характере языка с полной определенностью можно говорить только в том случае, если все названные признаки знака можно будет обнаружить также и в словах. Что касается возможности дифференцированного подхода к отдельным элементам языка с точки зрения их знаковости, то об этом будет специально сказано ниже.<25>

Начнем рассмотрение приложимости характеристик знака к словам в обратном порядке.

1. Эмоционально-экспрессивные элементы. Если отсутствие этих элементов является одной из самых характерных черт знака, то она находится в резком противоречии с теми качествами, которые

характеризуют слово. Оно всегда находится в одном из стилистических слоев языка и поэтому неизменно несет определенную эмоциональную или экспрессивную нагрузку. На этом качестве слов построено образование стилистических синонимов, позволяющих в разном эмоционально-экспрессивном аспекте представить примерно равное понятийное содержание. Ср. *лик* — *лицо* — *физиономия* — *рожа* — *морда* — *рыло*. Именно эти эмоционально-экспрессивные качества слов, обращающихся непосредственно к чувству людей, делают возможным создание художественных произведений. Практика машинного перевода стремится отслоить эмоционально-экспрессивные элементы как «избыточные» от предметно-понятийного содержания слов. Если применительно к изолированным словам (за сравнительно небольшим исключением) это оказывается возможным в силу того, что эмоционально-экспрессивные элементы только связаны со словами, но не входят непосредственно в лексическое значение слова (см. главу 6-ю книги В. А. Звегинцева «Семасиология». Изд-во МГУ, 1957), то в отношении сложных образований литературно-художественных произведений это оказывается невыполнимой задачей. Так, едва ли поддается «смысловому» переводу или даже просто пересказу, например, такой стих А. Блока:

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов,
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов.

2. Однозначность знака. Полисемия слов — чрезвычайно распространенное явление и может рассматриваться как одна из главных особенностей смысловой стороны слов. Вместе с тем отличительной чертой полисемантического слова является смысловая связь между отдельными элементами его часто весьма сложной смысловой структуры. Само существование подобной связи обеспечивает единство слова. Таким образом, <26> полисеманτικότητα большинства слов находится в противоречии с однозначностью знака.

3. Автономность знака и значения. Этой особенности знака косвенно касается в своей статье Е. М. Галкина-Федорук. Она пишет: «...звуковая сторона слова может пониматься как знак, закрепленный за предметом, вещью, действием, т. е. содержанием слова... Каждое

слово, т. е. звуковой комплекс, есть знак, закрепленный за вещью и общественно утвержденный за ней». [28] В подтверждение своего суждения Е. М. Галкина-Федорук ссылается на К. Маркса, который писал: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой». [29] Опираясь, по-видимому, на это высказывание К. Маркса, в той же статье Е. М. Галкина-Федорук замечает: «Ведь слово *рыба* совершенно условно связано с известного рода видом живых существ, обитающих в воде, звуковой комплекс — только знак, а не зеркальное отражение, не образ, не слепок, как это присуще понятию о предмете. По-немецки *рыба* звучит *Fisch*, по-французски — *poisson*. Русское слово *стол* по-немецки звучит *Tisch*, по-французски — *table*, по-итальянски — *mensa*, по-английски — *table*». [30]

Прежде всего следует отметить, что «утверждение» обществом связи значения с определенным звуковым комплексом отнюдь не является особенностью слова. Такое «утверждение» можно обнаружить и у знака. Например, государственный герб является признанным всем обществом знаком (символом) того или иного государства, но это обстоятельство не превращает его из знака в элемент языка.

Далее — и это основное — приведенные цитаты могут дать основание предположить, что Е. М. Галкина-Федорук признает за значением слова и его звуковой оболочкой («звуковым комплексом») известную автономность, поскольку звуковой комплекс *рыба* «совершенно условно связан с известного рода видом живых существ» (подобно этикетке на банке рыбных консервов). Однако подобное понимание роли звуковой оболочки слова неправомерно. Звуковая оболочка слова неотделима от своего смыслового содержания и, помимо выражения этого содержания, никаких других функций не имеет, т. е. автономностью не обладает. Как не существует «чистого» лексического значения вне определенной звуковой оболочки, так в языке не существует и «звукового комплекса» без определенного значения. Отсутствие у звуковой оболочки слова автономности отнюдь не опровергается и приведенной ссылкой на К. Маркса. Название какой-либо вещи, конечно, не имеет ничего общего с природой обозначаемой вещи (трудно себе даже представить, каким образом звуковой комплекс может быть зеркальным отражением, образом или слепком вещи), но звуковой облик этого названия функционирует в

системе данного языка только в совершенно определенном виде и, кроме того, как это ни парадоксально на первый взгляд, частично обусловлен лексическим значением слова, которое никак нельзя отождествлять с обозначаемой словом вещью.

Звуковая оболочка слова конструируется не из произвольных звуков, а из звуков определенного языка, образующих его фонологическую систему и поэтому находящихся в определенных взаимоотношениях как между собой, так и с другими структурными элементами языка. Они наделены твердо фиксированным функциональным значением, в силу чего нельзя, например, немецкое *t* и русское *т* или немецкое *a* и русское *а*, если они даже артикулируются совершенно тождественным образом, рассматривать как одни и те же речевые звуки. Поскольку они принадлежат к разным фонологическим системам, их следует рассматривать как разные речевые звуки. Эта особенность звуков речи, нередко истолковываемая как смысловоразличительная их функция, не может не оказывать на формирование в каждом конкретном языке слов определенного звукового облика. Кроме того, следует учесть, что звуковая оболочка слова не является для нас монолитным и гомогенным образованием. Мы выделяем в ней звуковые комплексы, которые определяются нами как отдельные компоненты слова (корень, основа, окончание и др.) и которые, по меньшей мере в части своей (префикс, суффикс, флексия), имеют строго обусловленный звуковой облик. А это с новой стороны определяет зависимость между <28> звуковой оболочкой слова и его лексическим значением, так как в зависимости от характера этого значения (т. е. отнесенности к числу именных или глагольных разрядов слов определенного значения) слово может получать в качестве флексий, префиксов или суффиксов (во флективных и агглютинативных языках) строго обусловленные звуковые комплексы.

Ср. такие примеры, как: *мот-овств-о*, *мот-овств-ом*, *мот-овств-у* и *мот-а-ть*, *мот-ану-ть* и т. д.; *шут-овств-о*, *шут-овств-ом*, *шут-овств-у* и *шут-и-ть*, *шуч-у* и т. д.; или *води-тельств-о*, *строи-тельств-о*, *вмеша-тельств-о*. Соответственно в узбекском языке: *китоб-лар-ингиз-да* — «в ваших книгах», *дафтар-лар-ингиз-да* — «в ваших тетрадях» и т. п.

Из изложенного отнюдь не явствует, что мотивированность звуковых элементов слова вскрывается только в производных словах, а

в корневых она полностью отсутствует. Не следует забывать, что слова, корневые с точки зрения структуры современного языка, могут быть исторически сложными образованиями (таковы, например, нем. Stern, Horn, Hirsch). С другой стороны, теория детерминативов, хотя и неясная еще во многих существенных деталях, вносит важные коррективы в еще не устоявшееся понимание структуры корня и позволяет еще дальше углубить мотивированность звуковых элементов слова. Наконец, нет оснований пренебрегать и теорией Ш. Балли о внешней и внутренней обусловленности элементов языка (см. выше). Если допустить вполне естественную возможность перехода из внешней обусловленности во внутреннюю, то вопрос об автономности звуковой оболочки слова вообще может отпасть.

Что касается автономности существования значения слова, то, как известно, именно эта автономность составляла основу теорий универсальной или философской грамматики, достаточно основательно разобранных в языкознании. Нелишне вспомнить, что еще Б. Дельбрюк писал по этому поводу: «Мне кажется, что в результате проведенных до сих пор исследований установлено основное положение, согласно которому понятия медленным и трудным путем развиваются вместе со звучанием слов и с их помощью, а не образуются у человека независимо от языка и затем лишь одеваются в словесные оболочки». [31] Дальнейшие исследования в этой области как лингвистов, так и в особенности психологов не только не поколебали, но даже укрепили это положение. [32]

Таким образом, и данная характеристика знака оказывается неприменимой к словам.

4. Системные отношения. Слово ведет в языке не изолированное существование, как это имеет место у знака, а связано многочисленными нитями с другими словами, и часто именно этими смысловыми взаимоотношениями обуславливается изменение его значения. В подтверждение этого положения можно привести достаточно распространенное и отмеченное еще М. М. Покровским явление, когда парные слова, связанные, например, антонимическими отношениями, ориентируют свое смысловое развитие друг на друга. Так, когда слово *крепкий* получает переносное значение и начинает применяться для характеристики качества определенных продуктов

(крепкий чай, крепкое вино, крепкий табак и пр.), то и его антоним *слабый* также приобретает соответствующее значение (*слабый чай, слабое вино, слабый табак* и пр.). Системная обусловленность значения слова проявляется и в том, что наличие большего или меньшего количества слов в так называемых лексико-семантических группах или системах оказывает прямое влияние на значение отдельных членов этой группы. Для иллюстрации этого положения можно воспользоваться примером И. Трира, не делая при этом тех далеко идущих выводов, которые делает он.

Если сопоставить трехбалльную номенклатуру оценок (плохо — удовлетворительно — хорошо; такая система оценок существовала в наших вузах в 30-х годах) с четырехбалльной (плохо — удовлетворительно — хорошо — отлично), то значение оценки «удовлетворительно» оказывается в них явно неравнозначным. Как уже указывалось выше, И. Трир на основе подобных фактов утверждает, что каждое слово в отдельности обладает значением постольку, поскольку обладают значением <30> другие слова. Такой крайний вывод совершенно не оправдан, так как лишает слово всякой смысловой самостоятельности, но вместе с тем само по себе наличие смысловых отношений у слов, как показывают и приведенные примеры, является бесспорным фактом. Следует при этом заметить, что подобными отношениями охвачено большинство слов каждого языка, образуя в своей совокупности его лексическую систему в целом.

Как было отмечено выше, подобных смысловых отношений подлинный знак лишен. Таким образом, и данным своим качеством основная единица языка — слово не согласуется с природой знака.

5. Непродуктивность знака. Жизнь слова находится в самом резком противоречии с этой характеристикой знака. Значение слова не имеет той мертвой статичности, которая свойственна «значению» знака; в истории слов одно из первых мест принадлежит именно изменениям их смысловой стороны, изменениям их лексического значения. Важно при этом отметить, что эти изменения осуществляются не в «чистых» значениях, автономно существующих, и независимых от своего звукового выражения; подобного рода «чистых» значений не существует, и, следовательно, развитие значения не может протекать независимо. Лексическое значение есть обязательный компонент

слова, представляющего неразрывное единство «внутренней» (значение) и «внешней» (звуковая оболочка) сторон. В разделе об автономности знака и приложимости этой характеристики знака к языку вопрос о взаимоувязанности этих сторон слова получил свое освещение в несколько ином аспекте, но также в положительном смысле. Наблюдения над жизнью слова дают все основания для вывода о том, что звуковая оболочка слова, независимо от которой значение не может существовать, играет существенную роль в смысловом развитии слова, служа основой этого развития и тем самым, характеризуясь качествами продуктивности. Это положение отчетливее всего проступает при сопоставлении разноразличных слов с тождественной «направленностью на действительность». Ясно, что если бы речь шла только о «чистых» и самопроизвольно развивающихся значениях, под которыми обычно понимают логические понятия или же «вещи», то история смыслового развития слова исчерпывалась бы историей становления данного логического понятия или же историей соответствующей вещи. Однако ознакомление с семасиологическим развитием слов показывает, что его отнюдь нельзя отождествить ни с историей становления понятия, ни с историей обозначаемой словом вещи. Разноразличные слова с тождественной «направленностью на действительность» в силу уже того обстоятельства, что они обозначают одни и те же предметы, должны были бы быть также абсолютно однозначными. Однако, как правило, мы и в данном случае наблюдаем иную картину. Так, например, по своим лексическим значениям русское *стол* отнюдь не однозначно с английским *table*. По-английски нельзя употребить слово *table* в смысле отдела в учреждении: *личный стол* (по-английски *personnel office*), *адресный стол* (по-английски *address bureau*), *стол заказов* (по-английски *preliminary — orders department*) и т. д. Для значения «питания» в английском также предпочтительно употребляется не *table*, а слово *board* или *cooking* (*стол и квартира — board and lodging*, *домашний стол — plain cooking*, *диетический стол — invalid cooking*). С другой стороны, английское *table* употребляется в значениях, которых не знает русское слово *стол*: 1) каменная, металлическая или деревянная пластинка с надписями, а отсюда и сами надписи (*the table of law*); 2) таблица (*table of contents of a book*; *tables of weights and measures*; *mathematical tables* и т. д.).

Происходит все это потому, что лексические значения слов, являясь только компонентами последних, нераздельными их частями, шли в каждом языке своими особыми путями развития, которые в немалой степени обуславливались их звуковой оболочкой.

Но слову свойственна продуктивность и иного порядка, которая возникает при сочетании слов. Сочетание слов выявляет смысловые потенции слова и тем самым способствует развитию его лексического значения. В сочетаниях типа *крыша дома, холодная вода, человек идет* мы не чувствуем продуктивной силы словосочетаний, так как слова в них выступают в своих четко и твердо фиксированных значениях. Но если мы обратимся к таким сочетаниям, как *крыша из ветвей* («густые ветви деревьев возвышались над нами зеленой крышей»), *холодная брезгливость* («он с холодной брезгли<32>востью смотрел на сидящего перед ним пегого старика»), *техника идет* («техника ныне идет в деревню»), [\[33\]](#) то продуктивный характер подобных словосочетаний, представляющих значения слов в необычных аспектах и тем самым сообщающих им творческую новизну, предстает с полной очевидностью.

Следовательно, и этим своим качеством слова резко отличаются от подлинных знаков.

До сих пор мы рассматривали вопрос о знаковом характере языка с точки зрения характерных особенностей знака, не получивших пока еще должного освещения и привлеченных в настоящей работе дополнительно. Теперь обратимся к той особенности слов, которая служит основным и обычно единственным аргументом в пользу сближения единиц языка — слов со знаками. Речь идет о произвольности, или немотивированности, связи в слове значения со звуковой оболочкой.

В предыдущем изложении этот вопрос уже косвенно затрагивался. Рассмотрение прочих черт знака и их приложимости к слову дает уже достаточно материала для обоснованного вывода о действительной природе связи значения со звуковой оболочкой слова. Однако в целях возможно более исчерпывающего разрешения всех вопросов, связанных с проблемой знакового характера языка, обратимся к более близкому ознакомлению и с данной стороной разбираемой проблемы.

Прежде всего еще раз необходимо подчеркнуть тот неоспоримый факт, что звуковая сторона слова не может быть соотнесена с природой

предметов или явлений, которые данное слово способно обозначать. По сути говоря, в данном случае речь идет о несопоставимых категориях. В слове нет и не может быть такой связи между его звуковым обликом и значением, какую видел в нем, например, Августин Блаженный или даже еще Я. Гримм, доказывавший, что «каждый звук обладает естественным содержанием, которое обуславливается производящим его органом и проявляется в речи». [34] Если рассматривать слово в этом аспекте, то между его звуковой стороной и смысловым содержанием действительно нет ничего общего, и связь этих двух сторон слова можно в этом смысле (и только в этом смысле) назвать условной. Но если этот вопрос рассматривать с лингвистической точки зрения, то тогда, во-первых, неизбежно придется провести разграничение между лексическим значением слова и обозначаемыми им предметами и, во-вторых, признать обусловленность связи лексического значения слова и его звукового облика. Однако эти явления (лексическое значение слова и обозначаемые им предметы), лежащие в разных плоскостях, постоянно смешиваются, точно так же как положение о связи разных сторон слова (смысловой и звуковой) нередко получает неправильное истолкование в результате упрощенного понимания сущности лексического значения слова.

«В каждом конкретном языке, — пишет, например, Б. А. Серебренников, — звуковой комплекс только закрепляется за тем или иным предметом или явлением. Но закрепление не есть отражение свойств и качеств предмета и явления». [35] Исходя из этих предпосылок, действительно, можно говорить о знаковом характере языка. Больше того, они неизбежно приводят к такому выводу, так как отождествляют лексическое значение слова с обозначаемыми им предметами и явлениями и тем самым выводят лексическое значение за пределы собственно лингвистических явлений, а слово превращают в простой ярлык для предметов и явлений. Подобный способ разрешения вопроса о связи значения слова с его звуковой оболочкой стоит на уровне споров древнегреческих философов о том, получают ли предметы свои имена по «природе» или по «установлению».

Не подлежит никакому сомнению, что лексическое значение слова формируется и развивается в непосредственной зависимости от предметов и явлений, которые обозначаются словами, но это отнюдь не единственный фактор, обуславливающий становление лексического значения слова, и сам по себе он еще не дает никаких<34> оснований для отождествления этого значения с обозначаемым предметом. Грамматические категории, выражающие отношения, также образуются под влиянием тех явлений, которые вскрывает наше сознание в объективной действительности; они отражают реальные отношения этой действительности, но применительно к ним никто не говорит о знаковости, точно так же как никто и не отождествляет грамматические значения с физическими отношениями. В этом смысле лексические значения не отличаются от грамматических значений, они в равной степени являются собственно лингвистическими фактами, хотя и находятся в связи с миром объективной действительности. В связи с вопросом о сущности лексического значения нельзя не вспомнить замечания А. Гардинера: «...предмет, обозначаемый словом пирожное, съедобен, но этого нельзя сказать о значении данного слова». [36]

О связи звуковой оболочки слова с его лексическим значением, понимаемым как чисто лингвистическое явление, достаточно подробно уже говорилось выше. Очень убедительно писал об этом А. И. Смирницкий, отмечавший, что «именно через это звучание (а не через его «образ») коллектив направляет процесс образования значений языковых единиц в сознании каждого индивида, передает индивиду свой опыт, опыт множества предшествующих поколений данного общества». [37]

Все, что известно нам о языках на всех доступных историческому исследованию этапах их развития, показывает, что в их системах все оказывается обусловленным. Эта всеобщая обусловленность элементов языка является прямым следствием наличия у них определенной значимости того или иного характера. Такое положение мы вскрываем на известных нам самых древних ступенях развития языка, и оно свидетельствуется всеобщей и многовековой историей человеческих языков, в которых всякое новое образование всегда строго обуславливается закономерными отношениями, существующими между элементами языка в каждой конкретной его

системе. [38] Выводить же методологические основы изучения реальных, засвидетельствованных письменными памятниками языков (или реконструированных на их основе отдельных элементов языка) из предполагаемых доисторических состояний языка, постигаемых только умозрительным путем и неизбежно гадательных, подлинная наука о языке не может. Языкознание не спекулятивная, а эмпирическая наука, и поэтому свои методологические принципы она должна строить исходя не из умозрительных построений относительно исходной стадии формирования языка, а доступных исследованию фактов.

Сам же Соссюр пишет: «Во всякую эпоху, как бы мы ни углублялись далеко в прошлое, язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи. Акт, в силу которого в определенный момент имена были присвоены вещам, в силу которого был заключен договор между понятиями и акустическими образами, — такой акт, хотя и вообразимый, никогда констатирован не был. Мысль, что так могло произойти, подсказывается нам лишь нашим очень острым чувством произвольности знака.

Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только как продукт, который унаследован от предшествовавших поколений и должен быть принят таким, как он есть». [39] Это рассуждение заключается выводом: «Вот почему вопрос о происхождении языка не так важен, как думают». Не является ли более правомерным из этих предпосылок другой вывод? Раз язык всегда выступает перед нами как наследие предшествующих эпох, а в каждый данный период своего существования язык «как он есть» всегда представляется системой строго мотивированных элементов и, следовательно, изучение языка не может не строиться на этой мотивированности, то какое же практическое значение может иметь тезис о произвольности языкового знака? Ведь эта произвольность может быть обнаружена только в момент становления языка, который — и с этим нельзя не согла-³⁶ситься — «не так важен, как это думают», и именно потому, что процесс возникновения языка едва ли следует представлять с такой неоправданной схематичностью, какую подсказывает нам наше «чувство произвольности знака».

В связи со сказанным, естественно, возникает вопрос о том, как же следует отнестись к изначальной немотивированности связи звукового

облика слова с его значением как к одному из основных принципов сравнительно-исторического метода. Ведь несомненным фактом является использование разных звуковых комплексов для обозначения одних и тех же предметов в различных языках, что обычно и истолковывается как неопровержимое доказательство в пользу произвольности языкового знака. И именно на основе этой произвольности (немотивированности) строится, по-видимому, методика установления языкового родства и выделения языковых семейств. «Если бы мысли, выражаемые в языке, — пишет по этому поводу А. Мейе, — были по своей природе более или менее тесно связаны со звуками, которые их обозначают, т. е. если бы лингвистический знак самой своей сущностью, независимо от традиции, вызывал так или иначе определенное понятие, то единственным нужным языковеду типом сравнения был бы общий тип и какая бы то ни было история языков была невозможна. Однако в действительности языковой знак произволен: он имеет значение только в силу традиции... Абсолютно произвольный характер речевого знака обуславливает применение сравнительного метода...». [40]

Но в данном случае мы имеем дело фактически с совершенно различными явлениями, которые связаны друг с другом искусственным образом. Установление генетических отношений может обходиться и без того, чтобы находить опору в теории произвольности языкового знака. Более того, как это хорошо известно из истории языкознания, все основные рабочие принципы и приемы сравнительно-исторического метода от Ф. Боппа до поздних младограмматиков (Г. Хирта и др.) успешно устанавливались и применялись помимо всякой связи с положениями теории произвольности языкового знака, и <37> у А. Мейе она появилась под прямым влиянием его учителя — Ф. де Соссюра, не прибавив при этом ничего нового в области практики сравнительно-исторического метода.

Тезис о произвольности языкового знака может получить применение в изучении языков сравнительно-историческим методом только в одном направлении — для доказательства того, что языки, обладающие определенным общим лексическим фондом, относятся к одному семейству. Но практика применения сравнительно-исторического метода показывает, что в действительности генетические связи языков устанавливаются не только на основе того,

что в сравниваемых языках обнаруживается ряд звуковых совпадений в словах с тождественным значением. Ни несколько десятков таких совпадений, ни даже значительное совпадение в лексике сравниваемых языков в целом недостаточно, чтобы можно было установить факт их генетической связи. В тюркских, иранских и арабском языках, например, много лексических совпадений, но это не дает никаких оснований для признания арабского языка генетически близким с иранскими или тюркскими языками.

В действительности при установлении генетических связей между языками учитывается совокупность всех структурных показателей сравниваемых языков, и только эта совокупность, в которой совпадающая лексика является в лучшем случае лишь одним из ингредиентов в системе доказательств, дает возможность определить родственные связи языков. При определении генетических связей, пишет, например, В. Порциг в своей книге, подводящей итог работ в области определения взаимоотношений индоевропейских языков, «исходить из обнаруженных совпадений в известных языках надо. Но эти совпадения требуют толкования. Для установления близких связей между языками они имеют доказательную силу только тогда, когда они представляют общие инновации. Необходимо, следовательно, доказать, что они являются общими и что они являются инновациями. Общими мы можем назвать идентичные явления в различных языках только тогда, когда они покоятся не на предпосылках, свойственных отдельным языкам... Когда доказано, что совпадение есть общее явление, необходимо доказать, что речь идет об инновации. Надо отделить его, следовательно, от более старого состояния. В отдельных случаях требуется решить, какое из двух данных состояний языка является более старым. Это часто определяется внутренними причинами. Если, например, удастся найти причину изменения, то тем самым устанавливается и временная последовательность». [41] Такова методика определения генетических связей между языками. В более общей форме она суммируется А. И. Смирницким следующим образом: «Выделение языковых единиц, исконно общих родственному языку, и обнаружение в этих единицах черт принадлежности к одной системе являются основными моментами в научном определении самого родства данных языков».

[42]

Кстати говоря, и сам А. Мейе, когда переходит от теоретических предпосылок к описанию приемов определения языкового родства, заявляет, пожалуй, даже с излишней категоричностью: «Чтобы установить принадлежность данного языка к числу индоевропейских, необходимо и достаточно, во-первых, обнаружить в нем некоторое количество особенностей, свойственных индоевропейскому, таких особенностей, которые были бы необъяснимы, если бы данный язык не был формой индоевропейского языка, и, во-вторых, объяснить, каким образом в основном, если не в деталях, строй рассматриваемого языка соотносится с тем строем, который был у индоевропейского языка. Доказательны совпадения отдельных грамматических форм; наоборот, совпадения в лексике почти вовсе не имеют доказательной силы». [43]

Таким образом, оказывается, что лексика, в которой якобы только и обнаруживается произвольность языкового знака, не играет почти никакой роли в установлении родственных связей между языками, без чего, конечно, совершенно невозможно применение сравнительно-исторического метода.

Как показывают приведенные высказывания, теория произвольности языкового знака фактически не находит^{<39>} сколько-нибудь существенного отражения в методике определения языкового родства. Мы констатируем генетические связи между языками лишь в том случае, если устанавливаем тождество структурных элементов языков, а эта констатация покоится на допущении возможности «автономного движения» языков и невозможности взаимопроникновения языковых структур; раз обнаруживается структурное тождество в системах двух или нескольких языков, — оно не могло возникнуть иначе, как на основе генетической близости, так как взаимопроникновение языков не может создать подобного тождества.

Из всего сказанного явствует, что и в сравнительно-историческом методе произвольность языкового знака, являющаяся основным принципом теории знакового характера языка, не составляет обязательной предпосылки его использования, как об этом в плане теоретическом пишет А. Мейе. Эта теория искусственно связана со сравнительно-историческим методом и не находит своего отражения в его рабочих приемах.

Подводя итог рассмотрению разных аспектов и характеристик знака в их применении к языку, следует сделать вывод о том, что вопрос о знаковой природе языка в той форме, в какой он ставится Ф. де Соссюром и его последователями, во всяком случае, не может быть решен категорическим образом. Язык обладает такими специфическими особенностями, которые отграничивают его от любой другой абсолютной системы знаков. Эти специфические особенности характеризуют его как общественное явление особого порядка, которое составляет предмет изучения особой науки — языкознания, а не универсальной семиотики. Однако, с другой стороны, это не означает, что язык вообще лишен элементов знаковости и не может (с сознательными ограничениями) рассматриваться в семиотическом аспекте.

Элементы знаковости в языке

Указанное изложение вопроса о знаковой природе языка, следовательно, не снимает вопроса о знаковом характере отдельных аспектов языка. Важность же исследования этого вопроса обуславливается тем обстоятельством, что частные наблюдения над отдельными областями^{<40>} языка нередко универсализируются и используются в качестве основы для выводов о сущности языка в целом. Поэтому важно не только выявить наличие возможных элементов языка, обладающих знаковой природой, но и определить их место в системе языка, установить границы и сферы их функционирования.

Прежде всего следует отметить, что сам Ф. де Соссюр, поставивший вопрос о знаковом характере языка, не говорит об абсолютной произвольности всех языковых знаков, но проводит между ними определенные разграничения. Он пишет: «Только часть знаков является абсолютно произвольной; у других же обнаруживаются признаки, позволяющие отнести их к различным степеням произвольности: *знак может быть относительно мотивированным*. Так *сорок* не мотивировано, но *пятьдесят* не мотивировано в относительно меньшей степени, потому что оно напоминает об элементах, из которых составлено, и о других, которые с ним ассоциируются, как например, *пять, десять, шестьдесят, семьдесят, сорок пять* и т. п.; взятые в отдельности *пять* и *десять* столь же произвольны, как и *сорок*, но *пятьдесят* представляет случай относительной мотивированности. То же можно сказать и о фр. *potmier* — «яблоня», которое напоминает о *potme* — «яблоко» и чей суффикс — *ier* вызывает в памяти *poirier* — «грушевое дерево», *cerisier* — «вишневое дерево» и др. Совсем иной случай представляют такие названия деревьев, как *frêne* — «бук», *chêne* — «дуб» и т. д.». [44]

Далее Ф. де Соссюр отмечает, что «те языки, где немотивированность максимальна», следует называть *лексикологическими*, а те, где она минимальна, — *грамматическими*. Применяя эти положения к конкретным языкам, Ф. де Соссюр пишет: «Можно отметить, что, например, английский язык уделяет значительно больше места немотивированному, чем, скажем,

немецкий; но типом ультралексикологического языка является китайский, а индоевропейский праязык и санскрит — образцы ультраграмматического. Внутри отдельного языка все его эволюционное движение может выражаться в непрерывном переходе от мотивированного к произвольному и от произвольного к мотивированному, в результате этих разно⁴¹направленных течений сплошь и рядом происходит значительный сдвиг в отношениях этих двух категорий знаков». [45]

Из приведенных высказываний Ф. де Соссюра явствует, что вопрос о мотивированности (или немотивированности) языкового знака связывается у него с большим или меньшим богатством морфологических форм языка; если язык на определенной стадии своего развития обладает относительным обилием морфологических форм, то его элементы, следовательно, более мотивированы и менее произвольны, но если язык в процессе своего развития (например, английский язык) все больше и больше утрачивает богатство морфологических форм, то его лексические элементы, стало быть, становятся все более и более произвольными.

Трудно себе представить, чтобы по мере развития языка увеличивалась его произвольность (немотивированность). Ведь если брать в качестве примера тот же английский язык, то утрата им первоначального богатства форм выражалась не в постепенном освобождении корня от аффиксальных элементов и обнажения его, что только и могло в какой-то мере способствовать увеличению произвольности его лексических единиц. В действительности этот процесс осуществлялся главным образом через посредство опрощения первоначально сложной структуры слова и различного рода редуций (ср.: friend — др. — англ. freond, где — end есть суффикс *nominaagentis*, первоначально же окончание причастия настоящего времени; soving — др. — англ. sждною, где — ою есть суффикс абстрактных имен существительных мужского рода, а — n- характеризует слово как отглагольное образование; простое not есть стяженная форма др. — англ. nouth<na-wiht — «никакая вещь» и т. д.). Следовательно, кажущаяся простота и «лексичность» английского языка в действительности исторически обусловлены и находятся только в скрытом состоянии.

Но если даже отвлечься от явной несостоятельности утверждения о произвольности (немотивированности) языкового знака, указываемые Ф. де Соссюром предпосылки неизбежно приводят к следующему выводу: большая или меньшая произвольность знака находится в прямой зависимости от конкретных путей развития грамматической структуры языков. Языки, таким образом, на разных этапах своего развития располагаются по градации в соответствии с большей или меньшей мотивированностью своих элементов, чем фактически устанавливается своеобразный типологический принцип.

С указанным выводом тесно связан и другой: поскольку немотивированность (произвольность) языкового знака может как приобретаться, так и утрачиваться в процессе развития языка, сам по себе принцип произвольности языкового знака не является конституирующим для природы языка, но носит исторический и факультативный характер.

Таким образом, что касается разграничений, проводимых самим Ф. де Соссюром в отношении выделения элементов с разной знаковой «насыщенностью», то они, в конечном счете, отнюдь не свидетельствуют в пользу знаковой природы языка в целом.

В советском языкознании также делались попытки разграничений подобного рода. Так, А. И. Смирницкий, разбирая вопрос о значении принципа условности связи между звучанием и значением для сравнительно-исторического метода, писал: «Принцип немотивированности (условности) относится... к простым, неразложимым или достаточно изолированным идиоматически образованным единицам. В сложных же образованиях выступает уже и принцип мотивированности — наряду, конечно, с первым принципом, поскольку в состав сложных образований входят простые единицы. [46] Близкую точку зрения высказывает Р. А. Будагов. «По нашему мнению, — пишет он, — «языковой знак» обычно не мотивирован лишь в своих низших формах (звуках, отчасти морфемах), тогда как в своих высших проявлениях (словах) он всегда стремится к мотивированности». [47] Оба эти высказывания в свою очередь сближаются с точкой зрения Ш. Балли, высказанной им в изложенной выше статье (Ch. Bally. Sur la motivation des signs linguistiques).<43>

Нельзя не признать справедливости этих утверждений, но они все же не полностью разрешают разбираемый вопрос. На основе

предпосылок, которые содержатся в этих высказываниях, логичен и даже неизбежен следующий вывод: поскольку основной и имеющей самостоятельное хождение единицей языка является слово, а оно является «сложным образованием» (А. И. Смирницкий) или «высшим проявлением» языка (Р. А. Будагов), то вопрос о произвольности языкового знака отпадает сам по себе: язык слов (а именно о словах идет речь у всех адептов теории знакового характера языка) не может, следовательно, быть системой немотивированных, произвольных знаков. Вопрос о возможном знаковом характере отдельных единиц (слов) языка, видимо, следует решать иным образом. Поскольку — подчеркиваю это еще раз — в теории знаковости языка речь идет о словах, постольку и данный вопрос должен разбираться не применительно к отдельным элементам слова, выделяемым лингвистическим анализом, а в отношении слов в целом, или, точнее говоря, в отношении отдельных категорий слов.

Подходя к разрешению интересующего нас вопроса под данным углом зрения, необходимо признать наличие целого разряда слов, в значительной степени обладающих знаковым характером. Речь идет в первую очередь о так называемых «абсолютных» терминах.

Прежде чем приступить к выявлению в этой категории слов черт, сближающих их со знаками, необходимо со всей категоричностью подчеркнуть, что термины также являются словами языка и поэтому им в значительной степени свойственны все те особенности, которые являются характерными для элементов языка. Они даже могут развивать особые формы, подчеркивающие их своеобразие как определенной лексической категории, т. е., следовательно, как категории, несомненно, языковой. Таковы, например, суффиксы — *н-*, *-ист-*, *-оват-* русского языка, которые в химической терминологии используются в качестве своеобразной шкалы, указывающей количество молекул кислорода в кислоте. Ср. кислоту *серную* (H_2SO_4), *сернистую* (H_2SO_3) и *серноватистую* (H_2SO_2), соответственно кислоты *азотная* (HNO_3), *азотистая* (HNO_2) и т. д. Или суффикс — *ит*, который в медицине используется в названиях воспалительных процессов разных органов (*бронхит*, *гастрит*, *плеврит*, *ларингит* и пр.), в металлургии — в названии сплавов (*платинит*, *победит* и пр.), а в геологии — в названиях минералов (*лазурит*, *кальцит*, *александрит* и пр.). [48]

Однако вместе с тем этой категории слов свойственны черты, которые отделяют их от остальных слов языка («обычных» слов) и сближают со знаками. Характерной особенностью этих слов является их однозначность и способность в ряде случаев заменяться в соответствии с научной традицией условными знаками без всякого при этом последствия для содержания («значения») термина. Так, можно словами написать *интеграл*, *градус*, *вариация*, *сумма* или же передать их соответствующими значками: $\int$, $^{\circ}$, $\cup$. Подобная заменяемость слов условными знаками, кстати говоря, очень наглядно показывает, что в «обычном» и терминологическом употреблении слов мы фактически часто имеем дело с омонимами. Так, например, слова *плюс* и *минус* в их терминологическом смысле и в значениях «достоинство», «выгодная сторона», «преимущество» (для слова *плюс*) и «недостаток» (для слова *минус*) — несомненные омонимы. Мы можем сказать или написать словами *семь минус два равно пяти* или изобразить это математическое отношение условными знаками: $7-2=5$, но мы не можем в предложении *у этого проекта много минусов* использовать указанную математическую символику. И дело тут не только в том, что на письме меняются графические способы передачи единого содержания, выражаемого в звуковом языке единообразно: ведь оказывается же возможным, например, древнеегипетское идеографическое письмо заменить буквенной транскрипцией. Различие между терминологическим и обычным использованием слова гораздо глубже, и его можно проиллюстрировать следующим примером. Машинист паровоза, подъезжая к семафору, видит обозначенный на нем железнодорожный знак и произносит: *красный*, разумея цвет знака, т. е. он читает вслух знак, и от того, что он прочел вслух данный знак, т. е. обозначил его словом, этот знак не перестал быть знаком, точно так же как и слово *красный* не получило того специфического значения, которое данный знак имеет в железнодорожном транспорте. Аналогичным образом обстоит дело и в отношении слов типа *плюс*, *минус*, *бесконечность*, *сила*, *корень* и т. д. Это также «прочитанные вслух», обозначенные словами знаки понятий или явлений, звуковая форма которых в силу конкретных условий зарождения термина ^[49] совпадает со звуковой оболочкой «обычного» слова.

К сказанному следует добавить, что о терминологических омонимах можно говорить, конечно, не только тогда, когда имеется определенный условный знак, способный заменить слово. [50] Такого условного знака может и не быть, но он может легко подразумеваться, находиться, так сказать, в потенциальном состоянии. Так, в лингвистике мы имеем ряд условных знаков: звездочку — знак реконструированной формы («формы под звездочкой»), знак ударения, мягкости, слогообразовательной способности и т. д. Но вместе с тем такие термины, как *корень*, *основа* и пр., не имеют условных знаков (хотя и могли бы иметь их), что не лишает их омонимического характера. Важно то, что они не имеют того, что обычно именуется лексическим значением, но только обозначают четко определенные научные понятия и явления, вследствие чего развитие их внутреннего содержания, как правило, не может обуславливаться языковыми факторами или определяться языковыми терминами и критериями. Развитие внутреннего содержания термина полностью зависит от содержания и методологии той науки, которую данный термин обслуживает, и уже одного этого обстоятельства<46> достаточно, чтобы чисто терминологическое использование «обычного» слова рассматривать как омоним.

Стремление во что бы то ни стало увидеть смысловую связь между содержанием термина и лексическим значением «обычного» слова (в случае совпадения их звуковой оболочки), что наблюдается в ряде работ, [51] 51 противоречит действительному положению вещей. В основе стремления к сохранению указанной смысловой связи лежит тенденция характеризовать научное понятие или явление через внутреннюю форму слова. Утрата внутренней формы в «обычном» слове — явление естественное, но для термина подобная утрата считается нежелательной, так как в этом случае якобы теряется смысл термина. В действительности, однако, вскрываемые в данном случае отношения выглядят совершенно иначе, и именно сохранение смысловой связи нередко создает значительные трудности в пользовании терминологией. Автор словаря лингвистических терминов Марузо, разбирая в теоретическом предисловии к своей работе вопрос о том, должно ли терминологическое слово быть определением вещи или понятия (или, иначе говоря, сохранять свое этимологическое значение), пишет: «... даже если бы термины могли

вполне соответствовать понятиям, теории, определяющие эти понятия, неизбежно будут эволюционировать; в таком случае мы рискуем увидеть, как в связи с прогрессом науки крушение теорий влечет за собой и гибель самой терминологии. Науке, находящейся в процессе становления, невыгодно закреплять связь обозначения с обозначаемым». [52] 52

Пример того, как сохранение этимологического значения вступает в противоречие с понятием, закрепленным за термином, можно заимствовать из советского языкознания сегодняшнего дня. Со времен Ф. Боппа и А. Шлейхера в лингвистике существует термин *праязык*, однако современные представления о процессах развития генетически близких языков находятся в явном противоречии с «этимологическим значением» данного термина, почему и оказалось необходимым заменить его термином <47> язык-основа, который более точно соответствует современным лингвистическим теориям.

Соотнося в свете высказанных соображений термины с теми характеристиками знака, которые выше последовательно рассматривались сами по себе и применительно к языковой единице — слову, мы можем констатировать следующее:

1. Эмоционально-экспрессивные элементы. Термины лишены данных элементов и, следовательно, «бесстрастны» в такой же мере, как и знаки. Так же как и в нижеследующих моментах, это обуславливается близостью функций термина и знака. Правда, можно указать на то, что положение термина в нейтральном лексическом слое известным образом характеризует его стилистически, учитывая наличие здесь безусловной противопоставленности тем лексическим элементам, которые обладают резко выраженной эмоционально-экспрессивной и, стало быть, стилистической окраской (например, сленговые, жаргонные и разговорные слова и выражения). Это обстоятельство лишний раз указывает на то, что термины (как отмечалось выше) являются полноправными членами структуры языка, а не каким-то чуждым по отношению к ней телом, подобным осколку снаряда, застрявшего в ткани живого организма. Однако совершенно очевидно, что все это не изменяет эмоционально-экспрессивной нейтральности термина самого по себе.

2. Однозначность. В противоположность другим категориям слов, обычно являющимся полисемантическими, термины почти всегда

однозначны. Под так называемой многозначностью термина чаще всего понимается возможность применения его в разных областях науки и техники. Таковы, например, термины *плечо* (например, *плечо рычага* и *плечо* в железнодорожной эксплуатации), *палец*, *муфта*, *лапа*, *клык* и т. д. Фактически в этих случаях мы, следовательно, имеем дело с терминами-омонимами. Эта характерная особенность термина сближает его со знаком.

3. Автономность. В том случае, если термин имеет также какой-нибудь условный знак-замениватель (как, например, для интеграла установлен знак S), он может обладать известной автономностью и функционировать независимо от особенностей конкретной системы^{<48>} языка, ничего при этом не теряя в отношении своего внутреннего содержания. Это обстоятельство также сближает термин со знаком.

4. Смысловые взаимоотношения. Ввиду того, что термин не обладает лексическим значением, а, как уже неоднократно отмечалось, обозначает или научно обработанные понятия и явления или определенные предметы и вещества (как объекты изучения той или иной отрасли науки или техники), — в силу этого он лишен смысловых связей с другими словами и, следовательно, его развитие ни в какой степени не может обуславливаться внутренними отношениями, как это имеет место у слов других категорий. Это также обнаруживает у термина элементы знаковости.

5. Непродуктивность. Содержание, обозначаемое термином, конечно, может развиваться, и поэтому его также допустимо характеризовать как продуктивное, но эта продуктивность совершенно иного порядка, чем продуктивность лексического значения «обычных» слов. Развитие содержания термина обуславливается только развитием соответствующей науки. Другая особенность термина заключается в том, что его содержание может изменяться и развиваться независимо от его звуковой оболочки. Содержание термина (употребление в данном случае слова *значение* было бы совершенно неправомерно) может не только вести самостоятельное в указанном смысле существование, но и свободно истолковываться даже совершенно противоречивым образом представителями разных направлений в науке. Для примера можно сослаться на такие общественно-политические термины, как *революция*, *диктатура*, *класс*,

пролетариат и т. д. (ср. также выражения: *температура по Цельсию*, *температура по Реомюру*, *температура по Фаренгейту* и пр.).

Эта особенность термина, в соответствии с которой сам словесный знак оказывается лишенным всяких продуктивных качеств, в свою очередь отдаляет термин от других категорий слов и обнаруживает в нем черты знака.

Наконец, следует отметить и относительную свободу создания терминов, возможность формирования их независимо от «правил» мотивированности, свойственных тому или иному языку. Разумеется, когда термин создается на основе «обычного» слова, вырастает из него, тогда^{<49>} мотивированность играет значительную роль. Но вместе с тем мы знаем, что системы терминологических номенклатур наряду с подобными терминами, выросшими, так сказать, «естественным» путем, включают и произвольно созданные, «авторские» термины. При этом доля этой «произвольной» терминологии, обычно базирующаяся на лексике классических языков (на материале которых создаются новые образования) и включающая имена собственные и т. д., может быть довольно значительной.

В заключение необходимо отметить, что если рассмотренные выше черты знака в обязательном порядке присутствуют в каждом знаке, то этого никак нельзя сказать относительно приложимости характеристик знака к терминам. Легко увидеть, что у разных групп терминов может отсутствовать та или иная из отмеченных выше характеристик знака. Это обстоятельство приводит к тому, что в лексической системе языка большинство терминов не образует четко отграниченной группы. До сих пор речь шла о «чистых» или абсолютных терминах, но в каждом языке существует много случаев терминологического использования «обычных» слов. В случаях резко расчлененного употребления одних и тех же слов в «обычном» и терминологическом смысле мы имеем право говорить об омонимии. Ср. такие случаи, как *червяк* — червь и *червяк* — винт с особой нарезкой, *проводник* — провожатый и *проводник* — вещество, хорошо пропускающее электрический ток, *рак* — животное и *рак* — болезнь и т. д. Но многочисленны случаи, где такого четкого разграничения нет, как например, *вид* — разновидность и *вид* — совокупность особей с одинаковыми биологическими признаками, *жила* — сухожилие и *жила* — форма залегания горной породы, *ключ* — приспособление для запираения и отпираения замка и

ключ — выключатель для быстрого замыкания и разрыва цепи телеграфной связи и т. д. При терминологическом использовании «обычных» слов они приобретают качества терминов, иными словами, знаковые признаки. На основе этой особенности над языком можно проводить операцию, имеющую, однако, заведомо односторонний характер. Подобно тому, как язык в определенных и частных целях допускает изучение под одним углом зрения (например, физическим или физиологическим — в фонетике), его можно рассматривать также как знаковую систему или код, т. е. представлять в виде совокупности элементов, обладающих теми качествами, которые выше были обнаружены у терминов. Эта возможность указывает на то, что язык наряду с другими аспектами (физическим, психическим, социальным и др.) бесспорно обладает также и семиотическим (т. е. знаковым) аспектом. Но наличие этого аспекта не превращает язык в собственно знаковую систему и не дает права определять его только как знаковую систему с вытекающими отсюда всеми логическими последствиями — этому препятствуют его качества, рассмотренные выше при анализе «обычных» слов. Так же как язык нельзя представлять лишь как физическое явление, лишь как психическое явление или лишь как социальное явление, его нельзя определять лишь как семиотическое (знаковое) явление. Язык многообразен и многоаспектен, и всякое сведение его к одному аспекту (допустимое в отдельных и оговоренных случаях) неизбежно искажает его истинную природу.

В последние годы в связи с бурным развитием прикладного языкознания, опирающегося на математические методы работы (математическое моделирование), в научной литературе оживленно обсуждается вопрос о создании абстрактного языка (метаязыка), основывающегося на логико-математических принципах. Создание подобного рода абстрактного языка, конструируемого на основе формального анализа «конкретных» языков, диктуется практическими потребностями машинного перевода ^[53] 53, где абстрактный язык выступает в качестве своеобразного посредника между машиной и живым «конкретным» языком. Другим видом такого метаязыка, создание которого мыслится в качестве предварительного этапа при конструировании абстрактного машинного метаязыка, являются различные научные языки ^[54] 54. В некоторых науках, как например в

математике или в химии, фактически уже существуют подобные специализированные метаязыки. Особенностью как метаязыков отдельных наук, так и более обобщенной их формы — абстрактного⁵¹ машинного языка — является то, что они обладают в разной степени формализованной и определенной структурой, когда отдельные элементы метаязыка (слова и выражения) имеют точное и однозначное определение («значение»), устанавливаемое положением данного элемента в структуре. Связь лексических единиц метаязыка в предложении осуществляется также на основе принципов логического синтаксиса.

Если соотнести сущность и принципы построения метаязыков со всем тем, что выше было сказано относительно неправомерности определения «конкретных» языков в целом как знаковых систем и наличия в них элементов знаковости (терминологическая лексика), то нам сразу же бросается в глаза их отличие от обычных или «конкретных» языков. В противоположность этим последним мы можем характеризовать метаязыки как знаковые системы, а составляющие их лексические элементы как единицы, фактически лишенные лексических значений — т. е. совокупности тех качеств, которые, как было установлено выше, являются обязательными для лексического значения. Все эти качества (или, как они выше назывались, характеристики) оказываются «избыточными» для метаязыков и «снимаются» при переводе слов «конкретного» языка на абстрактный метаязык, где за ним сохраняется только чисто логическое или понятийное их содержание (если только они им обладают; ср. такие слова, как *бац! раз! ах! дурашка, милочка* и пр.). Ясно, что при таком положении перевод (во всяком случае более или менее полный и точный) с «конкретного» языка на абстрактный и обратно не всегда возможен.

С другой стороны, все, чем характеризовались чистые термины, в полной мере применимо к метаязыкам, почему их с полным основанием и оказывается возможным определять как системы условных кодов или знаковые системы. Не следует при этом закрывать глаза на то, что метаязыки являются искусственными препаратами, производными от конкретных языков. Они ориентированы на выполнение определенных и ограниченных целей (их поэтому можно назвать функциональными языками) и не способны выполнять тех

разносторонних и чрезвычайно ответственных функций, какие осуществляют «конкретные» языки.<52>

Мы можем сказать, что язык допускает преобразование в метаязык или делает возможным машинный перевод письменных текстов с одного языка на другой в той мере, в какой он обладает знаковыми качествами, и противостоит этим операциям в той мере, в какой он является незнаковой структурой — в этом втором случае имеются в виду те весьма существенные качества языка, которые не перекрываются знаковыми характеристиками и с чисто логической точки зрения относятся к «избыточным».

Никак не отрицая важности метаязыков, вместе с тем с уверенностью можно предсказать, что какого бы совершенства ни достигли информационные машины и иные кибернетические установки, они не только не упразднят, но и не изменят сущности «конкретных» языков, хотя, может быть, в известной степени смогут способствовать их логическому дисциплинированию.

Структурный характер языка

Критический анализ теории знаковой природы языка дает возможность вывести некоторые заключения о действительной природе языка. Основной положительный вывод заключается в том, что язык, в противоположность любой подлинной системе знаков, находится в состоянии непрерывного развития. Снова и снова приходится возвращаться к знаменитому положению В. Гумбольдта о том, что «язык есть не продукт деятельности (ergon), а деятельность (energeia)». Однако ныне этот тезис наполняется, разумеется, иным содержанием.

Система знаков (или, как также говорят, семиотическая система) не способна к развитию по самой своей природе. Ее изменения — это изменения в некоторой совокупности единиц. В нее произвольно можно включить некоторое количество новых знаков, заменить некоторые из них или даже исключить, но все эти манипуляции никак нельзя назвать развитием. И, конечно, никаким закономерностям подобного рода изменения не подчиняются именно потому, что они произвольны.

Иное дело язык. Формой его существования является развитие, и это развитие подчиняется определенным законам. Развитие языка обуславливается его функциями — служить средством общения и орудием мышления.^{<53>} Поскольку потребности общения и мышления находятся в постоянном изменении и развитии, постольку и язык находится в непрерывном изменении и развитии ^[55] 55. Таким образом, язык развивается не самопроизвольно, его развитие стимулируется развитием общества, но формы развития языка в значительной степени обуславливаются теми его конкретными элементами, которые составляют язык, и теми отношениями, которые внутри языка складываются между этими конкретными и реальными элементами. Тем самым мы приходим к таким чрезвычайно важным для языкознания понятиям, как понятия системы и структуры.

Введение понятия системы в применении к языку обычно связывают с именем Ф. де Соссюра (хотя несомненный приоритет в этом отношении принадлежит Н. А. Бодуэну де Куртене). Ф. де Соссюр называл язык системой знаков, выражающих идеи. Это общее

определение подвергается у него затем дополнительным уточнениям и детализации. Некоторые из них имеют для рассматриваемого вопроса особенно важное значение. «Язык есть система, — пишет Ф. де Соссюр, — все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической связи» [56] 56 (разрядка моя. — В. З.). Эту мысль Ф. де Соссюр повторяет на разные лады на протяжении всей своей книги. Он говорит об «оси одновременности» (в отличие от «оси последовательности»), «статической лингвистике», синхронном «срезе» или горизонтальной плоскости языка, где «исключено всякое вмешательство времени» [57] 57 и т. д. Все это придает понятию системы языка такие качества, мимо которых нельзя пройти, когда речь идет о природе языка и делаются попытки определить ее через понятие системы.

Взаимозависимость элементов языка, на чем строится определение языка как системы, ныне, видимо, следует считать общепризнанным фактом. Системные отношения при этом не являются чем-то внешним для отдельных компонентов системы, но включаются в сами эти элементы, образуя качественную их характеристику. Нередко различие системных отношений составляет единственную основу для различения и самих элементов. Прекрасным примером этого может служить разработанная А. И. Смирницким теория конверсии в английском языке. Морфологическая неоформленность английского слова неоднократно подавала повод для фактического вынесения его за пределы классификации по частям речи. Так, love «любить» и love «любовь» рассматривалось как одно и то же слово, которое приобретает значение той или иной части слова в зависимости от контекста. Возражая против такой трактовки, А. И. Смирницкий писал: «...Love — существительное не есть просто love, но есть единство форм love, love's, Loves, loves' (ср.: Love'slabourlost; acloudofLoves); три последние формы являются формами-омонимами: звучат они одинаково, но их грамматические значения различаются коренным образом и, кроме того, имеются и такие слова, в которых те же различия находят звуковое выражение (ср.: woman's, child's — women, children — women's, children's и др.). Подобным же образом и love — глагол не ограничивается формой love, но есть единство известного ряда форм [ср.: (to) love, loves, (he) loved, loved (byhim), loving и пр.]. Следовательно, love — существительное и love — глагол,

взятые не в отдельных их формах, в которых они обычно приводятся в словаре, и вообще когда рассматриваются не изолированно, а во всей совокупности их форм, в которой проявляется их изменение по законам грамматического строя английского языка, поскольку они поступают в распоряжение грамматики, отличаются друг от друга не только по значениям, не только по своим функциям, но и внешне, по звучанию их форм. Вместе с тем и значения форм существительного и форм глагола, даже при совпадении их звучания, большей частью оказываются резко различными... Таким образом, love — существительное и love— глагол в целом представлены совершенно различными системами форм, характеризующими их как разные слова» [58] 58. При таком подходе морфологическое оформление слова осуществляется через посредство парадигмы, т. е. на основе всей совокупности системных отношений слова, которые и позволяют устанавливать<55> разные разряды слов или переводить их из одного разряда в другой (конверсия). «Конверсия, — писал в этой связи А. И. Смирницкий, — есть такой вид словообразования (словопроизводства), при котором словообразовательным средством служит только сама парадигма слова» [59] 59.

На основе принципа системности языка строится и такое хорошо известное грамматическое понятие, как нулевая морфема (форма, флексия, аффикс), введенное в языкознание Ф. Ф. Фортунатовым и Бодуэном де Куртене до опубликования «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Ведь именно отсутствие всякого окончания у слова *коров* определяет у него форму род. пад. мн. ч. по противопоставлению с наличием у этого слова соответствующих падежных окончаний в парадигме склонения (*корова, корове, коровой, коровы* и пр.).

Положение о системном характере языка находит свое приложение в современной лингвистике применительно ко всем его сторонам, но в наибольшей мере к фонетическим элементам.

Указывая на то, что фонемы любого языка нельзя рассматривать изолированно, вне всей его фонологической системы и тем более сопоставлять изолированные фонемы одного языка с изолированными фонемами другого языка, несмотря на их кажущуюся схожесть, Г. Глисон пишет: «Что, собственно, означает утверждение, что и в английском языке и в языках лома, луганда и киова существует фонема (b)? Почти ничего, если нельзя доказать, что (b) во всех этих четырех

языках в некотором отношении одно и то же. Но, как мы уже видели, фонему можно определить лишь применительно к данной речевой форме. Каждый из языков имеет свою собственную систему фонем и свою систему противопоставлений фонем. Получилось так (по причинам частично нелингвистического порядка), что для обозначения одного и того же звука в каждой из этих систем был выбран знак (b). Это случайное совпадение — единственное связующее звено между данными четырьмя языками, и таким образом приведенное выше сопоставление с лингвистической точки зрения бессмысленно. Английское (b) — звонкий лабиальный взрывной, только одна такая фонема в этом языке. В языке лома (b) — это один из четырех звонких лабиальных взрывных, которые отличаются друг от друга еще каким-нибудь дополнительным признаком. В языке луганда (b) включает два аллофона: звонкий лабиальный взрывной, и звонкий фрикативный, который встречается так же часто, как и первый. (b) в языке киова используется для обозначения звонкого лабиального фрикативного, так как звонкого взрывного, обозначаемого данным условным знаком, в нем нет. Наше утверждение, что английский язык, лома, луганда и киова похожи, поскольку они имеют фонему (b), будет равносильно тому утверждению, что эта шляпа, это платье и эта пара туфель одинаковы по размеру, так как все они обозначаются единым номером» [60] 60.

Значение принципа системности языка для исторического изучения подчеркивает В. Георгиев. Он указывает сначала на то, что «сравнительно-исторический метод дает возможность установить изменения в истории языка, раскрыть закономерности его развития, но он обычно не объясняет причины, которые вызывают эти изменения. Изучение структуры (системы) языка позволяет раскрыть эти причины». И далее пишет: «Следующий пример может иллюстрировать это положение. Историческое изучение болгарского языка показывает, что древнеболгарские окончания прилагательных — *ъ*, — *a*, — *o*, — *и*, — *ы*, — *a* изменились в новоболгарском в *0*, — *a*, — *o*, — *и*. Сравнительно-историческое изучение только констатирует эти изменения, но не дает им объяснения. Язык представляет собой «систему систем», которые взаимообусловлены и связаны в одно целое: изменения в какой-либо из этих систем вызывают изменения в других системах. Упомянутые древнеболгарские формы ясно

отличались одна от другой по своим окончаниям (первоначально, вероятно, и форма жен. рода ед. числа отличалась от аналогичной формы средн. рода мн. числа ударением). Но позже, вследствие изменения *ы* в *и* и стяжения окончания мужского и женского рода, мн. числа <57> простой формы и окончания мужского рода ед. и мн. чисел сложной формы совпали. Тем самым система различения по роду во мн. числе была нарушена, и, кроме того, она нарушалась вследствие идентичности окончаний ед. числа женского рода и мн. числа среднего рода. Началось смещение (перекрещивание) систем «рода» и «числа». Двухзначность морфемы — *а* (жен. рода ед. числа и средн. рода мн. числа) в одной и той же системе словоизменения затрудняла восприятие говорящего, для которого существенна необходимость различения рода и числа. Это нарушение отношений между двумя системами ликвидировалось устранением формы *нова* мн. числа средн. рода. Таким образом, снова получились ясные соотношения: нулевая флексия — мужской род, *а* — женский род, *о* — средний род, *и* — множественное число» [61] 61.

Приведенные примеры убедительно демонстрируют связь и взаимозависимость элементов языка. Вместе с тем они указывают и на то, что понятие системы в противоположность Соссюру недифференцированно применяется как к функционированию языка (синхронический план), так и к развитию языка (диахронический план). Отвлекаясь временно от этого обстоятельства (к нему, как к чрезвычайно важному, мы вернемся позднее), обратимся к рассмотрению вопроса о том, можем ли мы определить язык лишь как систему. Достаточным ли является это определение, оказывается ли оно исчерпывающим в отношении действительной природы языка?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала договориться о содержании понятия «система», так как нечеткость самого этого понятия часто вносит путаницу в понимание природы языка. Различие в толковании данного (ныне широко принятого и в советском языкознании) понятия могут наглядно показать цитаты из общих курсов А. С. Чикобава и А. А. Реформатского. Первый из них в разделе, специально посвященном характеристике языка как системы, пишет: «Язык есть не простое скопление множества слов (с аффиксами или без аффиксов) и из них произвольно составленных сочетаний. Каждый язык существует в виде системы, составные части

которой находятся в определенной, закономерной связи друг<58> с другом» [62] 62. Несколько выше, характеризуя само понятие системы, он пишет: «Что характерно для системы вообще? Каковы основные признаки системы? Из одного предмета (факта) никакой системы нельзя образовать; чтобы получить систему, необходимо иметь ряд предметов (фактов). Но не всякое множество дано в виде системы; множество может быть хаотическим, неупорядоченным или же организованным, упорядоченным. Упорядоченным оно будет тогда, когда определено взаимоотношение элементов, являющихся составными частями целого. Простейший пример: в аудитории восемьдесят парт, эти парты можно расположить в десять рядов — по восемь парт в ряду — с проходом посередине (по четыре парты с одной и другой стороны прохода). Те же восемьдесят парт можно навалить в аудитории безо всякого порядка, одну поперек другой (или одну над другой). В первом случае мы будем иметь упорядоченное множество, во втором же — неупорядоченное, хаотическое» [63] 63.

Уже эти две цитаты дают возможность определить систему двояким образом: как всякое упорядоченное (и, как показывает пример с партами, механическое) множество или же как образование, составные части которого находятся в определенной, закономерной связи друг с другом. Свое толкование понятия системы предлагает А. А. Реформатский, выступая вместе с тем против одного из двух вышеприведенных определений системы. «Ни в коем случае, — пишет он, — нельзя подменять понятие системы понятием внешней механической упорядоченности; при внешней упорядоченности качество каждого элемента не зависит от целого (поставим ли мы стулья по четыре или по восемь в ряд и будет ли их 32 или 64, — от этого каждый из стульев останется таким же, как если бы он стоял один).

Члены системы, наоборот, взаимосвязаны и взаимообусловлены в целом, поэтому и число элементов и их соотношения отражаются на каждом члене данной системы...» [64] 64. Затем он дает свое определение системы:<59> «Система — это единство однородных взаимообусловленных элементов» [65] 65. Это определение в применении к языку выглядит следующим образом: «В пределах каждого круга или яруса языковой структуры (фонетического, морфологического, лексического, синтаксического) имеется своя

система, т. е. все элементы данного круга выступают как члены системы... Системы отдельных ярусов языковой структуры, взаимодействуя друг с другом, образуют общую систему данного языка» [66] 66.

Даже не останавливаясь на смешении понятий структуры и системы, которые чередуются друг с другом в неясной последовательности в данном определении, мы вскрываем в нем такие же противоречия, как и в двойственной характеристике системы у А. С. Чикобава. У А. А. Реформатского язык выступает как система систем, но это не система однородных (что входит у него в обязательную характеристику системы) элементов, так как системы фонетических, морфологических, лексических и синтаксических элементов никак нельзя назвать однородными. Тем самым определение языка как системы (в трактовке А. А. Реформатского) оказывается неправомерным. Но это только логическое противоречие, которое, видимо, можно легко устранить. Другое противоречие иного порядка.

Определение языка как системы систем, с наибольшей полнотой разработанное Пражской школой функциональной лингвистики, бесспорно обосновано, но ему не следует придавать того абсолютного характера, который мы наблюдаем в данном случае. Отдельные «круги или ярусы языковой структуры» выступают у А. А. Реформатского как замкнутые в себе системы, которые если и взаимодействуют друг с другом (образуя систему систем или систему языка), то только как отдельные и целостные единства. Получается нечто вроде коалиции союзных наций, войска которых объединены общей задачей военных действий против общего врага, но стоят под раздельным командованием своих национальных военачальников. В жизни языка дело обстоит, разумеется, по-иному и отдельные «ярусы или системы» языка взаимодействуют друг с другом не только фронтально, а в значительной мере, так сказать, отдельными своими представителями «один на один» [67] 67. Так, например, в результате того, что ряд английских слов в период скандинавского завоевания имел скандинавские параллели, произошло расщепление звуковой формы некоторых общих по своему происхождению слов. Так создались дублетные формы, разделенные закономерными процессами в фонетической системе древнеанглийского языка, которые закончились до скандинавского завоевания. Эти дублетные формы создали основу и

для дифференциации их значений. Так, возникло различие *skirt* — «юбка» и *shirt* (<др. — англ. *scirt*) — «рубашка», а также такие дублетные пары, как *egg* — «яйцо» и *edge* (<ecg) — «край», *scot* — «подать» и *shot* (<scot) — «счет» и пр. Таким же образом в английском языке создалось большое количество латино-французских дублетов: *tradition* (<лат. *traditio*) — «традиция» и *treason* (<др. — фр. *traison* <лат. *traditio*) — «измена»; *defect* (<лат. *defectum*) — «недостаток» и *defeat* (<др. — фр. *defait* <лат. *defectum*) — «поражение»; *senior* (<лат. *seniorem*) — «старший» и *sir* (<др. — фр. *sire* <лат. *seniorem*) — «сэр».

Подобным же образом раздвоились немецкие *Rappe* — «вороной конь» и *Rabe* — «ворон» (оба из средневерхненемецкой формы *garpe*), *Knarre* — «оруженосец» и *Knabe* — «мальчик» и др.; русские *прах* — *порох*, *вред* — *веред*, имеющие генетически общую основу. Еще более ярким примером закономерного взаимо<61>действия элементов разных «ярусов» является хорошо известный из истории германских языков фонетический процесс редукции конечных элементов (что в свою очередь связано с характером и положением в слове германского силового ударения), вызвавший чрезвычайно важные изменения в их грамматической системе. Известно, что стимулирование в английском языке аналитических тенденций и уклонение этого языка от синтетического строя ставится в прямую связь с тем фактом, что редуцированные окончания оказались неспособными выражать с необходимой ясностью грамматические отношения слов. Так, чисто конкретный и чисто фонетический процесс вызвал к жизни новые не только морфологические, но и синтаксические явления. Такого рода взаимовлияния элементов, входящих в разные «ярусы» или «однородные системы», могут быть при этом разнонаправленными и идти как по восходящей (т. е. от фонем к элементам морфологии и лексики) линии, так и по нисходящей. Так, по мнению Й. Вахека [68] 68, разная судьба парных звонких конечных согласных в чешском (а также словацком, русском и др.), с одной стороны, и в английском, с другой стороны, обусловлена потребностями высших планов соответствующих языков. В славянских языках они, в силу нейтрализации, оглушились, а в английском противопоставление *p* — *b*, *v* — *f* и т. д. сохранилось, хотя противопоставление по звонкости сменилось противопоставлением по напряженности. В славянских языках (чешском и др.) появление новых омонимичных пар слов,

обусловленных оглушением конечных звонких согласных, не вносило сколько-нибудь значительных трудностей понимания, так как в предложении они получали четкую грамматическую характеристику и модель предложения в этих языках при этом функционально не перегружалась. А в английском языке, именно в силу функциональной перегруженности модели предложения, уничтожение противопоставления конечных согласных и возникновение в результате этого большого количества омонимов привело бы к значительным затруднениям процесса общения.

Во всех подобных случаях мы имеем дело с установлением связей в индивидуальном порядке между элементами разных «ярусов» — фонетического и лексического.

Закономерные отношения устанавливаются, таким образом, не только между однородными членами языковой системы, но и между разнородными. Это значит, что системные связи языковых элементов образуются не только в пределах одного «яруса» (например, только между фонемами), но и отдельно между представителями разных «ярусов» (например, фонетическими и лексическими единицами). Иными словами, закономерные связи элементов системы языка могут быть разнонаправленными, что не исключает, конечно, особых форм системных отношений элементов языка в пределах одного «яруса».

Но, отвлекаясь от отдельных непоследовательностей в определении понятия системы, мы можем отметить у всех них одну общую, указанную Соссюром черту. Эту черту при определении языка через понятие системы никак нельзя оставлять без внимания. Понятие системы статично по самой своей природе. Оно несет на себе печать разделения языка на две разные плоскости — диахронию и синхронию, разделения, которое занимает в лингвистической теории Соссюра столь видное место. Сам Соссюр, как это отмечалось выше, всячески подчеркивал статичность как основу системного характера языка. Отсюда его деление на лингвистику эволюционную и лингвистику статическую, строящуюся на понятии системы, которая, как он говорил, «всегда моментальна». Понятие системы приложимо фактически только к языку, внезапно остановившемуся в своем развитии — к его синхроническому аспекту ^[69] 69. Но язык вне развития — это мертвый язык, столь же мертвый, как и сорванный и засушенный цветок, лишенный своего аромата, своих природных

живых красок и — самое главное — своего естественного роста, а вместе с ним и способности менять свою форму, краски, порождать новые побеги и ро⁶³стки. Поскольку же самой формой существования языка является развитие, постольку определение языка как системы оказывается недостаточным. Нет надобности от него отказываться совсем. Являясь до некоторой степени искусственным ^[70] 70, оно все же может быть использовано в приложении к тому состоянию относительного равновесия, в котором пребывает язык на каждом данном этапе своего развития. Собственно на статическом в своей основе понятии системы языка строится нормативное описание правил его функционирования. Но характеристика языка через понятие системы в целях определения действительной природы языка оказывается односторонней, недостаточной и неадекватной. Кроме того, следует отметить и то, что определение языка как системы искусственно сближает его со знаками. Как мы видели выше, неспособность к продуктивному развитию, статичность является одной из самых существенных черт знаковых систем. Понятно, почему Соссюр делал упор на определение языка через понятие системы: для него язык был не просто системой, но системой знаков. Знаковость и системность взаимно поддерживали друг друга в ходе его рассуждений. Но когда выясняется, что язык не является чисто знаковой системой, тогда его подлинная природа вступает и в логическое и в фактическое противоречие с определением языка как системы, само равновесие которой обуславливается ее неподвижностью. Видимо, в данном случае необходимо иное определение, и таким определением является с недавних лет широко применяемый в науке о языке термин «структура».

Как об этом свидетельствуют уже и приведенные выше выдержки из книги А. А. Реформатского, этот термин без должного разграничения употребляется наряду с термином «система» в качестве своеобразного синони⁶⁴ма последнего. Такое беспорядочное чередование этих двух терминов чрезвычайно распространено в лингвистской литературе. Сам А. А. Реформатский считает необходимым провести их разграничение, указывая и принципы этого разграничения. «Понятия структуры и системы, — пишет он, — требуют специального рассмотрения, несмотря на то, что эти термины постоянно употребляются, но без должной терминологической

четкости. Эти два термина часто синонимизируют, что только запутывает вопрос. Целесообразнее их четко различать: система — это связь и взаимосвязанность по горизонтали, структура — это вертикальный аспект. Система — единство однородных элементов, структура — единство разнородных элементов. Весь язык — система через структуру» [71] 71.

Не останавливаясь еще раз на своеобразии понимания А. А. Реформатским терминов «структура» и «система», в частности, в применении их к языку (об этом уже говорилось выше), следует признать чрезвычайно своевременным требование их уточнения и расчленения.

Понятие структуры отнюдь не ново для науки о языке; еще В. Гумбольдт указывал на структурность как на одну из самых существенных черт природы языка. Однако в центр внимания языковедов это понятие встало только в последние годы в связи с возникновением ряда лингвистических направлений, не совсем точно объединяемых в одну общую школу лингвистического структурализма. И именно потому, что это понятие фактически связывается с далеко не однородными методами лингвистического исследования, оно часто получает противоречивое истолкование. Подробно этот вопрос будет рассмотрен ниже в разделе о методе, однако уже сейчас следует внести необходимые предварительные уточнения, чтобы избежать возможных недоразумений.

Понятие структуры, широко применяемое в наши дни в различных науках, обычно имеет в виду не такие образования, которые состоят из некоторой механической (хотя, может быть, и упорядоченной и даже закономерно взаимосвязанной) совокупности элементов, позволяющих изучать себя изолированно, но целостные единства,<65> элементы которых связаны внутренней взаимообусловленностью таким образом, что само существование этих элементов и их качественные особенности обуславливаются строением данного целостного единства. Каждый элемент структуры, сам по себе автономный, будучи изолирован от структуры и рассмотрен вне внутренних связей, существующих в ней, лишается тех качеств, которые придает ему его место в данной структуре, почему изолированное его изучение не дает правильного представления о его действительной природе. Входя в состав структуры, всякий элемент приобретает, таким образом,

«качество структурности» (Structurqualitdt). Но не только его качественные особенности, но и формы развития испытывают прямое воздействие законов, управляющих функционированием и развитием структуры целостного единства. Тем самым как характер самих элементов структуры, так и формы их взаимоотношений на каждом данном этапе их функционирования (в синхронии) оказываются обусловленными прошлыми этапами своего существования (диахрония) [72] 72.

Вышеприводимый пример из истории окончаний болгарских прилагательных, показывающий связь и взаимодействие элементов языка в процессе их развития, фактически говорит не столько в пользу тезиса о системном характере языка, сколько подтверждает структурную его организацию в описанном выше смысле. Он наглядно демонстрирует взаимодействие синхронического (функционирование) и диахронического (развитие) аспектов языка. Уместно будет привести и другие примеры.<66>

А. Мартине, говоря о важности структурального подхода к диахроническим явлениям [73] 73 подтверждает свой тезис посредством приложения к исторической морфологии установленного фонологией понятия приметы (marque). На ряде примеров он наглядно показывает, как в динамике противопоставлений форм, имеющих приметы и лишенных их (маркированных и немаркированных), формируются элементы системы языка со своими внутренними (синхроническими) отношениями. Так, в глагольной парадигме наиболее архаичных индоевропейских языков обычно выделяют «первичные» и «вторичные» окончания, первые из которых характерны для форм настоящего времени, а вторые — для различных форм прошедшего времени. В языках, обладающих согласованием форм, указанное различие осуществляется посредством присоединения *i* ко «вторичным» окончаниям, когда нужно получить «первичные». Это соотношение иллюстрируют санскритские формы действительного залога *a-bharat* «он носил» и *bharati* «он несет», но данное противопоставление затемняется в соответствующих формах среднего залога *a-bharata*, *bharate*, происхождение которых возводится к **e-bhereto*, **bhereta-i* с *a* вместо *o* перед добавочным *i*. В отношении греческих форм на —, -, -, которые и легли в основу реконструкции **bheretai* и других форм на *a*, было, однако, установлено, что они

могли получить этот звук по аналогии с окончанием первого лица среднего залога — *ai*. Таким образом, оказывается возможным установить следующую первоначальную систему отношений:

*e-bhere-t *bhere-t-i

*e-bhere-to *bhere-to-i

Данная система подтверждает существование элемента (приметы) *i* с функцией обозначения настоящего времени. Следует отметить, что хеттское спряжение, во многом обладающее особыми чертами, в данном случае является хорошей иллюстрацией этого элемента и его действительной семантической природы.<67>

Аугмент, как например начальное *a* в *a-bherat*, *a-bherata*, в качестве признака прошедшего времени с давних пор носил факультативный характер (хотя некоторые языки сделали его затем обязательным). Следовательно, можно противопоставлять формы прошедшего времени *bheret, *bhereto формам настоящего времени *bhereti, *bheretoi. Создается совершенно необычное положение: настоящее время, которое мыслится нами как основное и употребляется также и тогда, когда нет причины употреблять какое-либо иное, оказывается маркированным *i*, а прошедшее время, когда к лексическому значению глагола добавляется еще и другое значение — определенной временной реальности, не имеет никакой положительной приметы для выражения этого добавочного значения.

Исходя из принципов структурального анализа мы вправе умозаключить, что временные формы, обозначавшие исторически прошлые события (имперфект, аорист), первоначально не имели собственно временной дифференциации, устанавливавшей соотношенность происшедшего факта с настоящим или будущим временем. По-видимому, кроме того, существовала еще другая форма, которая позволяла отнести данный факт не только к моменту, но возможно и к месту называния его в речевом акте. Эта форма, которую можно было бы назвать настоящим *hicetnunc*, возникла тогда, когда глагольная форма стала сопровождаться дейктическим элементом *i*, т. е. гласной, постоянно встречающейся при выражении того, что относится к настоящему, и при этом в двойном смысле данного слова — настоящим во времени и пространстве. Это тот самый элемент, который, например, актуализирует греческое *в* и усиливает *в*. Таким образом, первоначально это только экспрессивная форма из тех,

которыми часто склонны злоупотреблять и которые вследствие этого утрачивают свое интенсифицирующее значение, сохраняя в то же время формальные показатели. Точно так же глагольная форма, снабженная частицей *i*, постепенно теряя свое эмоциональное значение, приобретает значение того неясного настоящего времени, годного на все случаи, каким является наше настоящее время и какое мы обнаруживаем во всех древнейших текстах. Противопоставляясь этой форме, форма без *i* стала обозначать прошедшее<68> время, используя, таким образом, нулевую морфему в качестве приметы своего нового содержания [74] 74.

Как показывает данный пример, обращенный в прошлое структуральный анализ делает возможным реконструкцию не только динамики внутренних отношений элементов языка, но и самих элементов языка — по тем следам, которые остаются в языке от структурных отношений исчезнувших элементов. Блестящим образцом такого рода структуральной реконструкции является определение Ф. де Соссюром системы гласных индоевропейских языков [75] 75, проложившей дорогу ларингальной теории. Богатый материал по диахронической фонологии (т. е. приложению структурального принципа к фонематическим изменениям) содержится во второй части книги А. Мартине «Принцип экономии в фонетических изменениях» [76] 76. Собственно, весь научный пафос этой книги составляет тезис о необходимости структурного подхода к эволюционным процессам в языке.

Перечисленные характеристики понятия структуры показывают, по какой линии должно идти отграничение его от понятия системы. В отличие от системы, само образование которой предполагает статическое состояние входящих в нее элементов, структура — понятие динамическое и более широкое, нежели понятие системы. Оно обуславливает не только состояние, но и (это в первую очередь) формы развития элементов, взаимосвязанных в целостном единстве. И именно потому, что язык находится в непрерывном развитии, что самой формой его существования является развитие, определение языка как структуры дает более правильное и адекватное представление о его истинной природе, чем определение языка через понятие системы.

В современном зарубежном языкознании ряд лингвистов, исходящих в своих теоретических построениях из понятия структуры, отношений, существующим внутри структуры, приписывают ведущую роль. Их интересуют нереальные элементы, составляющие данную структуру, а только отношения между ними. Первичными для лингвистов этого направления являются сами отношения («чистые отношения»), а реальные языковые элементы — вторичными. Роль подобных «вторичных» элементов сводится только к обнаружению отношений. С наибольшей четкостью этот тезис выражен создателем глоссематики — Луи Ельмслевом. «Реальными языковыми единицами, — пишет он, — являются отнюдь не звуки или письменные знаки и не значения; реальными языковыми единицами являются представленные звуками или знаками и значениями элементы соотношений. Суть не в звуках или знаках и значениях, как таковых, а во взаимных соотношениях между ними в речевой цепи и в парадигмах грамматики. Эти именно соотношения и составляют систему языка, и именно эта внутренняя система является характерной для данного языка в отличие от других языков, в то время как проявление языка в звуках, или письменных знаках, или значениях, остается безразличным для самой системы языка и может изменяться без всякого ущерба для системы» [77] 77.

Такое понимание природы языка лишает его всех продуктивных качеств и всех потенций к развитию и фактически находится в полном противоречии с действительным положением вещей. В этом убеждают и приводившиеся выше языковые примеры. Очень веским доказательством неправомерности подобного определения природы языка является и то обстоятельство, что на его основе не удастся сделать ни одного описания реального и живого языка (но такие описания, несомненно, возможны для искусственных знаковых систем). Это лишний раз указывает на различия, существующие между языком и знаковыми системами.

Однако можно пойти даже дальше и допустить возможность подобного рода описания языка — выделить в нем некоторую совокупность отношений, существующих между его элементами, и противопоставить ее как характерную черту данного языка совокупности отношений, выделенных в другом языке. Но такое описание возможно только для языка в статическом состоянии, в

отвлечении от ряда его самых характерных черт (в частности, продуктивного качества его элементов) и, <70> таким образом, будет совершенно неадекватным. Исходя из подобных предпосылок мы, следовательно, будем иметь дело со статичным в своей основе понятием системы, а не с динамическим понятием структуры, которое, в силу уже своей динамичности, не может опираться на мертвую схему «чистых отношений». Картина языка, составленная на основе системного принципа «чистых отношений», в такой же степени может претендовать на воссоздание его действительных качеств, как и безжизненная фотография человека на воспроизведение его чувств, мыслей, характера и всей многогранности внутренних склонностей и черт, составляющих его духовный облик.

Из всего этого явствует, что в действительности в структуре языка мы имеем дело не с «чистыми отношениями», а с отношениями реальных языковых элементов, каждый из которых обладает своими совершенно реальными качествами в зависимости от своего характера: звук (фонема) — фонетическими свойствами, грамматическая категория — своими функциями, лексическая единица — смысловым содержанием, значением. Эти реальные качества и составляют основу отношений, образуя взаимозависимый комплекс формы и субстанции.

«Сходство и различие фактов действительности (в том числе и фактов языка), — настоятельно отмечает В. М. Жирмунский, — определяет отношение между ними и создает систему, а не система и отношения создают те факты и элементы, из которых они строятся» [\[78\]](#)

78. Реальность элементов языка (фонемы во всей совокупности своих фонетических качеств или конкретные лексические значения) во всяком случае делает структуру динамической, так как именно в ней заложено продуктивное свойство языка. Фактически эта продуктивность представляет собой другую сторону того явления, которое мы называем мотивированностью всех новых элементов в развитии языка. Ведь новые языковые факты, новые языковые элементы возникают не из пустоты, а вырастают из существующих элементов с их реальными качествами. Так, рождение нового слова <71> *заочник (-ица)* с его звуковым обликом, морфологической структурой, отнесенностью к определенному разряду слов (часть речи), лексическим значением, — со всем тем, что и составляет реальное качество языкового элемента, обусловлено или мотивировано

существующей в русском языке системой фонем и их дистрибуцией, наличием определенных префиксальных и суффиксальных средств, а также лексической единицы с конкретным значением и пр. Если не было бы всей этой реальной в своих качествах совокупности элементов, не было бы, возможно, и создания новых элементов языка.

Опасность смешения понятий системы и структуры в применении к языку заключается в том, что динамические качества языка характеризуются формулами, способными выражать только статические состояния. Происходит подмена одних явлений качественно иными, вследствие чего подлинная природа языка подвергается искажению.

Но когда говорится о динамических качествах структуры языка, не надо делать вывод, что стимул к развитию языка имманентно заложен в самой структуре, в тех отношениях взаимообусловленности ее компонентов, которые образуют целостное единство. Такое представление означало бы совершенно превратное понимание особенностей структуры языка. Логически оно должно привести к заключению о первичности самих отношений, на чем настаивает Л. Ельмслев. В действительности движущие развитие языка силы заложены в реальных свойствах, составляющих структуру элементов, которые как элементы языка всегда оцениваются с точки зрения своей функциональной значимости, т. е. с точки зрения того, насколько они способны служить целям, ради которых существует язык — быть средством общения и орудием мысли. Эти функции и заставляют язык находиться в состоянии непрерывного развития, а структурная организация языка выступает в данном случае в качестве механизма, который обеспечивает его деятельность и притом в формах, обусловленных конкретным характером данной его структурной организации.

Сказанное можно проиллюстрировать следующим хорошо известным в языкознании примером. Акад. Л. В. Щерба на своих занятиях любил демонстрировать «предложение», составленное из бессмысленных слов, но⁷² наглядно показывающее грамматическую структуру русского предложения: *Глокая куздра штеко будланула бокрѣнка*. Разбирая это «предложение», можно выделить подлежащее (*куздра*), установить, что оно выражается именем существительным женского рода в единственном числе и

именительном падеже; сказуемое (*будланула*) определяется как глагол совершенного вида в прошедшем времени и т. д. [79] 79. Весь этот разбор оказывается возможным силу того обстоятельства, что «предложение» построено точно в соответствии со структурными особенностями русского языка, а члены его несут формальные показатели соответствующих частей речи. Можно с полным правом утверждать, что в этом «предложении» в более или менее чистом виде изображены отношения, существующие между грамматическими элементами структуры русского языка. Оно является воплощением неотягченных никакими лексическими значениями чистых грамматических отношений, приближаясь к тем схемам, которые, по мысли Л. Ельмслева, должны изображать качественные особенности конкретных языков. Ввиду того, что данное «предложение» опирается на структурные качества русского языка, являясь как бы их порождением и выражением, его, очевидно, можно истолковывать как абсолютно «правильное» образование русского языка. К такой точке зрения склоняется, например, А. А. Реформатский, который пишет в этой связи: «...если слова не «отражают» действительности или ложно ее отражают, но грамматические свойства их правильны, то и предложение получается правильное, например Кентавр выпил круглый квадрат» [80] 80.

Но это, конечно, совсем не так. Искусственные образования типа глокой куздры хотя и способны демонстрировать отношения, существующие в структуре языка, являются в действительности в такой же степени фактами языка, как и выражение этих отношений с помощью математической формулы или графического рисунка. Такие образования не способны стать фактом языка в силу того простого обстоятельства, что они ничего не выражают, ничего не обозначают, ничего не сообщают. Они<73> находятся вне связи с суждением, в отрыве от которого не может существовать предложения. Иными словами, они не удовлетворяют тем основным требованиям, которые категорически обязательны для всех элементов языка. С точки зрения своей функциональной значимости они, следовательно, равны нулю [81] 81.

И именно потому, что в плане языковом (т. е. как средство общения и орудие мышления) они не обладают никакими реальными качествами и. поэтому не могут служить основой для установления

структурных отношений, они фактически находятся за пределами языка. Такие образования подобны бесплотным теням, населяющим идеальные, но находящиеся вне мира действительности Елисейские поля. Сама по себе структура, понимаемая как совокупность «чистых отношений», не способна породить их естественным путем — она не располагает для этого никакими реальными данными, а из ничего нельзя создать что-либо, поэтому-то *глокая куздра* и остается не чем иным, как лингвистическим гомунклюсом.

Таким образом, язык есть структура, в которой закономерные отношения между ее компонентами устанавливаются на основе реальных качеств этих компонентов. Эти реальные качества компонентов структуры являются основой для ее дальнейшего развития, которое осуществляется в соответствии с особенностями данной языковой структуры. Между структурой языка и реальными качествами ее компонентов устанавливаются, следовательно, отношения взаимозависимости.

Подводя итог всему предшествующему ходу рассуждения, мы на основании выведенных в его процессе положений можем формулировать теперь определение языка. Язык есть использующее знаковый⁷⁴ принцип (не в абсолютном смысле) структурно организованное образование, служащее для человеческого общения и выступающее одновременно в качестве орудия мышления. Это структурное образование находится в состоянии непрерывного развития (развитие является формой его существования), обусловленного потребностями указанных двух его функций, и через них связано с человеческим обществом. Тем самым язык оказывается явлением общественного порядка и в качестве такового обладает специфическими качествами, которые не перекрываются одними знаковыми характеристиками. На выявление этих специфических качеств, на их отношение друг к другу и на определение их роли в исполнении языком его назначения и должно быть направлено исследование природы языка.

Каким бы логически последовательным ни было заключение о действительной природе языка, до тех пор, пока оно носит по преимуществу умозрительный характер и не проверено фактами языка, его нельзя считать бесспорным и доказанным. Оно может иметь только предварительное, рабочее значение. Именно поэтому в

последующих разделах некоторые из основных категорий языка (так же как и науки о языке) будут рассмотрены в аспекте приведенного выше подхода к определению природы языка. Это не только позволит проверить фактическим материалом действенность рабочего определения, но и одновременно даст возможность критически пересмотреть некоторые теории, существующие в современном языкознании.<75>

Метод

Если рассматривать ретроспективно науку о языке, то ее история предстает перед нами как непрерывная борьба за специальный метод. В силу того обстоятельства, что язык чрезвычайно многообразное явление, он допускает разные подходы к своему изучению и фактически первоначально изучался в контексте разных наук: философии — в классической древности, в эмпирическом аспекте — у древних индийцев, в своеобразном комплексе изучения народной литературы, религиозных установлений и эмпирических приемов — у арабов эпохи халифата, в связи с логикой и философией истории — в Европе XVI–XVIII вв. Начало XIX в., которое в языкознании знаменуется созданием сравнительно-исторического метода, частично синтезировало эти разные научные традиции в изучении языка и тем самым разные подходы. Сам сравнительно-исторический способ рассмотрения явлений языка был также заимствован лингвистикой у других наук и многие свои общие положения — такие, например, как тезис о едином пранароде, распавшемся затем на ряд племен, — наука о языке разрабатывала и развивала в тесном содружестве с другими культуроведческими науками. Иногда, как это имеет место в случае с Я. Гриммом, разработка единого тезиса в плане различных наук осуществлялась даже одним и тем же ученым. Как известно, Я. Гримм является одним из основоположников не только сравнительно-исторического метода в языкознании, но и так называемого сравнительно-мифологического метода в литературоведении. Заслуга основоположников сравнительно-исторического метода в языкознании заключается, однако, в том, что общее положение о сравнительном и историческом изучении отдельных явлений они воплотили в системе конкретных научных приемов, согласованных со специфическими особенностями исследуемого объекта (т. е. языка) и ориентированных на разрешение собственно языковых проблем.

По самому своему характеру и общей направленности сравнительно-исторический метод пригоден для разрешения ограниченного круга лингвистических вопросов. Л. В. Щерба ограничивал сравнительно-исторический (или просто сравнительный, как он называл его) метод кругом специальных задач, характер которых явствует из следующих его слов: «Сущность сравнительного метода прежде всего состоит в совокупности приемов, доказывающих историческую идентичность или родство слов и морфем в тех случаях,

когда это не очевидно... Кроме того, сравнительный метод состоит из особой серии приемов, которые через изучение фонетических чередований и соответствий позволяют восстановить в той или другой мере историю звуков данного языка» [82]. Другие языковеды определяют рабочие возможности сравнительно-исторического метода еще уже. «Сравнительно-исторический метод в языкознании в специальном смысле этого термина, — пишет, например, А. И. Смирницкий, — есть научный прием восстановления (реконструкции) не зафиксированных письменностью прошлых языковых фактов путем планомерного сравнения материально соответствующих друг другу более поздних фактов двух или нескольких конкретных языков, известных по письменным памятникам или непосредственно по живому употреблению в устной речи» [83].

Обязательной предпосылкой применения сравнительно-исторического метода является наличие в сравниваемых языках генетически близких элементов, так как конструирующий принцип этого метода составляет идея о генетических связях языков. Уже Ф. Бопп указывал, что сравнительно-исторический метод есть не самоцель, а орудие проникновения в «секреты» развития языка. Говоря о задачах своего главного труда, посвященного сравнительной грамматике индоевропейских языков, он пишет в предисловии к нему, что намеревается «дать сравнительное и охватывающее все родственные случаи описание организма указанных в заглавии языков, провести исследование их физических и механических законов и происхождения форм, выражающих грамматические отношения» [84].

Таким образом, с самого начала параллельно с созданием сравнительно-исторического метода происходило и формирование сравнительно-исторического языкознания — два понятия, которые никак нельзя смешивать. Отмечая заслуги Ф. Боппа и в этой области, О. Есперсен пишет, что с помощью сравнительно-исторического метода «Бопп задался целью открыть конечный первоисточник флективных форм, а вместо этого создал сравнительное языкознание» [85].

Сравнительно-историческое языкознание (или компаративистика) в отличие от сравнительно-исторического метода, представляющего собой способ решения конкретной лингвистической задачи, есть совокупность лингвистических проблем, поднятых первоначально в

связи с применением сравнительно-исторического метода. Оно также имеет дело с историческим изучением языков в аспекте их генетических отношений. Но при изучении этих проблем давно уже применяются иные, кроме сравнительно-исторического, методы, в том числе и такие, которые критически направлены против сравнительно-исторического метода. В результате расширилась и проблематика сравнительно-исторического языкознания.

Сравнительно-исторический метод в языкознании оставался основным орудием научного исследования на протяжении всего XIX в. Младограмматики, внесшие в него ряд существенных усовершенствований, направленных на вскрытие закономерностей в процессах развития языка, сделали с его помощью ряд весьма важных открытий. Но к концу XIX в. и на рубеже нового столетия все отчетливее стала чувствоваться ограниченность сравнительно-исторического метода. «Все многообразие проблем языка, поднятых во времена Ф. Боппа и А. Шлейхера, — пишет в этой связи Ф. Шпехт, — было сведено только к фонетике и морфологии, а в этих рамках львиная доля исследований относилась только к вокализму, так что И. Шмидт имел право сказать в своей вступительной речи в Берлинской Академии наук в 1884 г., что ныне вся сравнительная грамматика растворилась в изучении гласных» [86].

Расширение лингвистической проблематики, частично за счет унаследованной от более ранних периодов развития языкознания и затем отошедшей на задний план, частично в связи с возникновением новых потребностей и интересов, потребовало создания и введения в научную практику новых специальных методов. И они возникли. Некоторые из них более или менее мирно сосуществовали со сравнительно-историческим методом, — к ним, в частности, относится метод лингвистической географии или метод французской социологической школы, — другие же вступили в резкую оппозицию по отношению к сравнительно-историческому методу. К этим последним в первую очередь относятся неолингвистика и близкая ей школа К. Фосслера эстетического идеализма в языкознании. Структурализм первоначально также противопоставлял себя «традиционному» языкознанию, но потом занял более мирную позицию.

С различными лингвистическими направлениями обычно связываются определенные и нередко прямо противоположные философские позиции, иногда накладывающие прямой отпечаток не только на трактовку общезыковедческих проблем, но и на методику исследования языка. В качестве примера в данном случае можно сослаться на К. Фосслера, который писал: «Если идеалистическое определение — язык есть духовное выражение — правильно, то тогда история языкового развития есть не что иное, как история духовных форм выражения, следовательно, история искусства в самом широком смысле этого слова. Грамматика — это часть истории стилей или литературы, которая в свою очередь<79> включается во всеобщую духовную историю, или историю культуры» [87]. В соответствии с этой установкой К. Фосслер требовал ликвидации «позитивистской» системы языкознания младограмматиков, превративших совокупность лингвистических дисциплин в «безграничное кладбище... где совместно или поодиночке в гробницах роскошно покоятся всякого рода мертвые куски языка, а гробницы снабжены надписями и перенумерованы» [88], и вместо якобы сослуживших свою службу младограмматических приемов исследования языка выдвигал Новые, соответствующие пониманию языка как явления эстетического.

Такие радикальные требования изменения подхода к изучению языка всегда связаны с выдвижением новой проблематики, с изменением всего направления исследовательской работы, что отчетливо видно и на примере лингвистических теорий К. Фосслера. Его работы много способствовали становлению нового направления изучения языка — лингвистической стилистики — и увязке изучения истории языка с историей культуры данного народа.

Наряду с этим новые методы научного исследования, выдвигаемые, например, неолингвистами или структурализмом, применяются и к традиционной проблематике сравнительно-исторического языкознания, где они сосуществуют с приемами сравнительно-исторического метода, несмотря на то, что некоторые ответвления этих направлений обнаруживают значительную отдаленность своих философских позиций. Это оказывается возможным в силу характера самих лингвистических методов, о чем будет сказано ниже.

Но иногда включение новых исследовательских методов в проблематику сравнительно-исторического языкознания ошибочно

трактуют как совершенствование сравнительно-исторического метода. Так, выдвинутые неолингвистами и представителями структурального языкознания новые рабочие методы, включающие внутреннюю реконструкцию, хронологические и географические коррективы, системное рассмотрение отдельных сторон языка (фонология, морфемика и др.), в том случае, <80> если они применяются к историческому изучению языков, к определению их генетических отношений, взаимовлияний и т. д., зачисляются в общую систему приемов сравнительно-исторического метода. Это делается несмотря на то, что указанные новые методы исходят из предпосылок, диаметрально противоположных тем, на которых строится сравнительно-исторический метод. Подобную ошибку допускает, например, коллективная работа «Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков», имеющая, правда, учебный характер. Это оказалось возможным сделать только посредством полного переосмысления понятия сравнительно-исторического метода, который в отличие от общепринятого понимания истолковывается авторами следующим образом: «Сравнительно-исторический метод понимается нами как система научно-исследовательских приемов, используемых при изучении родственных языков для восстановления картины исторического прошлого этих языков в целях раскрытия закономерностей их развития, начиная от языка-основы» [\[89\]](#) Легко увидеть, что под такую широкую формулировку могут подойти многие из методов, которые знает наука о языке, в том числе и те, которые были порождены в лоне структурализма или неолингвистики.

Вопросы метода в советском языкознании

Вопросы метода в советском языкознании с самого начала его возникновения приняли сложный характер. С одной стороны, сохранялись традиции московской и казанской школ. Представители этих школ, работавшие и в советское время — А. А. Шахматов, Л. В. Щерба, Д. Н. Ушаков, А. М. Селищев, В. А. Богородицкий, Г. А. Ильинский, М. В. Сергиевский и др., а также их ученики — продолжали полностью или главным образом ориентироваться на сравнительно-исторический метод.

С другой стороны, параллельно шли поиски создания основ марксистского языкознания и установления особого, марксистского метода. Однако эти поиски сопровождались уродливыми левацкими извращениями, по⁸¹добными тем, которые были столь характерны для «Пролеткульта» в искусстве. Особенно активно действовали в этом направлении представители группы «Язык — фронт» и школа академика Н. Я. Марра. Используя революционную фразу, они вульгаризаторски переносили социологические категории в область языка. В полемике с Н. Я. Марром, возражая против его вульгаризаторских методов, трезвые мысли были высказаны Е. Д. Поливановым ^[90] но они были подвергнуты резкой критике и охарактеризованы как «рецидив буржуазного языкознания» и «буржуазная контрабанда» ^[91].

Отдельного упоминания заслуживает также объединение лингвистов и литературоведов ОПОЯЗ (Общество изучения теории поэтического языка). Это объединение, существовавшее с 1914 по 1923 г. и ориентировавшееся преимущественно на ленинградских ученых (хотя оно имело отделение и в Москве ^[92]), не оказало сколько-нибудь заметного влияния на формирование советского языкознания. Но некоторые его члены, переселившиеся в Чехословакию и продолжавшие там развивать идеи ОПОЯЗа, способствовали созданию пражского лингвистического кружка и возникновению так называемого пражского структурализма ^[93]. В литературоведении ОПОЯЗ послужил основой для создания формальной школы.

К концу 30-х годов остаются два направления в советском языкознании, проявляющих по отношению друг к другу относительную терпимость: претендующая на положение марксистского языкознания школа акад. Н. Я. Марра и довольно обширная группа языковедов, не разделяющая его взглядов, но и не имеющая единых четких методических позиций. Представители этой второй группы частично продолжали традиции дореволюционного русского языкознания, частично являлись последователями социологической школы Ф. де Соссюра и⁸² частично исповедовали откровенный и воинствующий эклектизм. Особо следует выделить крупнейшего советского языковеда последних десятилетий акад. Л. В. Щербу. Его оригинальное и богатое мыслями научное творчество дает все основания называть его создателем самостоятельной лингвистической школы, хотя вместе с тем его как ученика Бодуэна де Куртене нередко причисляют к казанской школе.

Теории акад. Н. Я. Марра были направлены по преимуществу на исследование широкомасштабных глоттогонических проблем, решавшихся, однако, умозрительным путем на основе социологических схем. Основой его исследовательского метода служил совершенно произвольный четырехэлементный анализ и стадияльные трансформации языка. В настоящее время все ошибки Н. Я. Марра подробно разобраны и поэтому нет надобности возвращаться к ним ^[94].

После смерти Н.Я. Марра советское языкознание возглавил его ученик — акад. И. И. Мещанинов. Считалось, что он продолжал развивать идеи своего учителя, получившие в своей совокупности наименование «нового учения» о языке. Во всяком случае послевоенный период вплоть до 1950 г. прошел под знаком все усиливающегося давления на языковедов, уклонявшихся в своей научной и педагогической практике от марровских установок и, в частности, проявлявших пристрастие к попавшему в полную немилость сравнительно-историческому методу. Очевидно, что на основании одних своих научных достоинств «новое учение» о языке никогда не смогло бы занять господствующего положения в советском языкознании, так как его серьезные недостатки были слишком ясны. Но оно вводило в заблуждение своими социологическими формулировками, особенно отчетливо и эффектно проступавшими на

фоне нейтральных в этом отношении положений традиционной компаративистики. Эти качества и обеспечивали теориям Н. Я. Марра административную поддержку, что в свою очередь привело к установлению в этот период нетерпимого режима в языкознании.

Положение усложнялось тем, что никакого дальней<83>шего развития метода Н. Я. Марра фактически не происходило и по самому его характеру не могло происходить, так как составлявший его основу пресловутый четырехэлементный анализ не имел никаких четких принципов и, помимо самого Н. Я. Марра, почти никем не применялся в исследовательской работе. Марризм исполнял главным образом ограничительные функции, всячески препятствуя тому, как бы советские языковеды не впали в грех компаративизма. Характерно, что акад. И. И. Мещанинов, повторяя наиболее общие формулировки своего учителя, в последующие годы своей исследовательской работы в действительности ушел в сторону от его теоретических положений и во всяком случае от выдвинутого им метода лингвистического исследования. В своих книгах, опубликованных И. И. Мещаниновым в этот период, — «Общее языкознание» (1940), «Члены предложения и части речи» (1945), «Глагол» (1948) — и в ряде статей он: в широком языковом плане ставит вопрос о доминирующей роли синтаксиса при становлении частей речи, о типологии предложения, о происхождении типологических групп языков, о роли понятийных категорий в семантических и грамматических категориях языка и т. д. В этом направлении своей исследовательской работы он смыкался с такими представителями зарубежного языкознания, как К. Уленбек, Э. Сепир, Г. Шухардт, А. Тромбетти, А. Хаммерих, О. Есперсен и др. По самому своему характеру изучаемые И. И. Мещаниновым проблемы, хотя и требовали исторического подхода, нуждались в совершенно новой исследовательской методике уже и потому, что их рассмотрение осуществлялось в широком контексте культуроведческих категорий. Поэтому работы И. И. Мещанинова были посвящены в такой же степени конкретной лингвистической проблематике, как и поискам нового исследовательского метода, пригодного для разрешения новых языковедческих задач. В этих поисках И. И. Мещанинов в какой-то мере пытался опереться и на марризм, как на «материалистическую» науку о языке, но в этом направлении фактически все сводилось у него только к использованию наиболее общих положений. В последующий

за дискуссией 1950 г. период это последнее обстоятельство оказало решающее влияние на оценку научного творчества И. И. Мещанинова. С сожалением следует отметить, что И. И. Мещанинов незаслуженно был поставлен в один ряд с Н. Я. Марром и в связи с этим подвергнут резкой критике [\[95\]](#).

В июне — июле 1950 г. на страницах газеты «Правда» состоялась открывшаяся выступлением проф. А. С. Чикобава лингвистическая дискуссия, которая оказала большое влияние на дальнейшее развитие советского языкознания. К числу положительных результатов, к которым привела эта дискуссия, относится то, что она разоблачила вульгаризаторскую сущность общетеоретических установок Н. Я. Марра и вскрыла его многочисленные ошибки собственно лингвистического характера (или же чрезвычайно произвольные истолкования языковых явлений). Доминирующее положение «нового учения» о языке, державшееся главным образом на административном понуждении, было устранено. Вместе с тем следует отметить, что в ближайшие годы, следовавшие за дискуссией, советская наука о языке не избежала влияния культа личности, проявлявшегося, в частности, в догматическом толковании всех положений, содержащихся в выступлении Сталина в дискуссии по языковедческим вопросам.

Дискуссия, естественно, не могла решить всех вопросов советского языкознания. Не получил полной ясности и вопрос о методе.

После дискуссии 1950 г. в советском языкознании на первых порах в качестве основного метода лингвистического исследования был принят сравнительно-исторический метод, подвергавшийся ранее, в 30—40-е годы, гонениям со стороны марристов. Обращение вновь к этому методу, однако, не было результатом всестороннего обсуждения его научных достоинств (также сопоставительно с другими методами), но обычно подкреплялось простой ссылкой на соответствующее высказывание Сталина в работе «Марксизм и вопросы языкознания»: «Н. Я. Марр крикливо шельмует сравнительно-исторический метод как «идеалистический». А между тем нужно сказать, что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьезные недостатки, все же лучше, чем действительно идеалистический четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению^{<85>} языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать

на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырех элементов». В соответствии с этой цитатой главным критерием, на основании которого устанавливается метод для советского материалистического языкознания, является его характеристика как лучшего, чем четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, и то, что он «толкает к работе, к изучению языков». Легко увидеть, что под эти критерии может подойти очень широкий круг методов, например ареальный или структуральный. Ведь они, конечно, тоже толкают к работе, к изучению языков. Но можно ли только на основе этого довода решать, что именно они являются теми исследовательскими методами, на которые полностью должно опираться советское языкознание?

Если же оценивать сравнительно-исторический метод по существу, то также неизбежно возникает ряд весьма существенных сомнений. Помимо тех объективных его недостатков, которые обычно приводятся, сопровождаясь оговорками о необходимости его совершенствования у него наличествует много и других. Нельзя, например, не признать вескости упреков, которые в последнее время делаются в его адрес зарубежными лингвистами. Так, представитель неолингвистического направления Дж. Бонфанте заявляет, что младограмматическое языкознание, основывающееся на классическом сравнительно-историческом методе, — это языкознание в пустоте, совершенно абстрактное, вне всякой связи с реальной историей народа, это языкознание упрощенных и «закономерных» (регулярных) схем, рассматривающее всякое исключение из этих схем как еще не объясненную регулярность, языкознание, исследующее языковые факты и явления в изоляции от системы языка и допускающее сравнение изолированных явлений в разных языках без учета географических и хронологических факторов и т. д. ^[96] 16.

Следует при этом отметить, что формулирование таким образом недостатков сравнительно-исторического метода отнюдь не является производным от идеалистической позиции Бонфанте. В своем полемическом выступлении он лишь суммирует высказывания многих языковедов разных направлений, и эти критические высказывания вновь повторяются в наши дни (в том числе и в советской лингвистике) при противопоставлении «традиционных» и новейших (структуральных, математических) методов.

Не случайно и то обстоятельство, что сравнительно-исторический метод применяется главным образом в фонетике и морфологии, а в синтаксисе и лексикологии, где, в частности, особенно отчетливо проявляются связи языка с историей, его применение встречается с такими трудностями, которые до настоящего времени остаются непреодолимыми. В этих последних областях с помощью тех приемов, которыми восстанавливаются утраченные языковые факты в истории языков, не удастся достичь сколько-нибудь реальных результатов, и только обращение к структуральным методам исследования языка обеспечивает известные успехи в этом направлении.

Все упомянутые недостатки сравнительно-исторического метода, разумеется, отнюдь не исключают его из научной практики советских языковедов; его применение достаточно оправдано столетней историей его служения науке. В рассматриваемой же связи важно отметить, что критерии, на основании которых сравнительно-исторический метод был выдвинут в советском языкознании на положение ведущего, нуждаются в уточнении, а сам метод — в точной оценке его возможностей и определении границ применения. В связи с этим возникают и другие вопросы. Ведь то или иное частное решение конкретной лингвистической задачи можно осуществить различными специальными методами, и неужели только решение, полученное на основе сравнительно-исторического метода, следует признавать доброкачественным? В том, что это не праздный вопрос, убеждают высказывания, подобные тому, которое делает, например, А. В. Десницкая. В своей интересной и богатой по содержанию книге, посвященной изучению родственных отношений индоевропейских языков и уделяющей много места методологическим основам науки о языке, она пишет: «Марксистское языкознание должно противопоставить подлинно научную, историческую трактовку этой проблемы теориям зарубежных структуралистов, неолингвистов и т. д., провозглашающих отказ от традиций классического сравнительного языкознания» [97] 17, покоящегося, в изложении А.В. Десницкой, целиком на сравнительно-историческом методе.

В связи с вопросом о том, может ли сравнительно-исторический метод служить гарантией такого разрешения лингвистических проблем, которое способно удовлетворить марксистское языкознание, стоит и другой более широкий вопрос: каковы критерии, с помощью

которых следует осуществлять методологическую оценку метода или конкретного решения частной лингвистической проблемы.

В передовой статье журнала «Вопросы языкознания» (1957, № 5) указывается, что конкретной лингвистической работе в Советском Союзе сопутствовал «сложный и трудный, но совершенно необходимый процесс выработки новых теоретических и методологических основ самой науки о языке» [98] 18. Это указание совершенно справедливо. Сложность и трудность данного процесса (а соответственно и поисков указанных критериев), отсутствие здесь необходимой ясности можно проследить на ряде конкретных случаев. Так, например, смешение синтаксиса и морфологии в работах И. И. Мещанинова было подвергнуто критике в нашей научной литературе [99] 19 как методологически порочное, а смешение лексики и морфологии в трудах В. В. Виноградова (при определении основного словарного фонда, куда оказались зачисленными не только словообразовательные суффиксы, но и словообразовательные модели [100] 20) не только не вызвало каких-либо возражений подобного характера, но и нашло широкое распространение в нашей научной и учебной практике. Прямое перенесение социологических категорий в язык у Н.Я. Марра было совершенно правильно расценено как грубая вульгаризация, а требование выискивать в развитии языков «основного закона», <88> по примеру основного экономического закона, преподносилось в передовой статье журнала «Вопросы языкознания» как очередная задача советского языкознания [101] 21 и т. д.

Такого рода противоречивость суждений в значительной мере следует приписать тому, что в советском языкознании еще недостаточно четко определены взаимоотношения между методологическими основами науки о языке и ее специальными методами. Эта нечеткость и делала возможным известную произвольность оценок и применение мировоззренческих категорий в тех случаях, когда это было не оправдано. Именно поэтому данный вопрос требует отдельного рассмотрения.

Взаимоотношение методологических основ науки о языке и ее специальных методов

Прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, необходимо устранить неясности, обусловленные употреблением в языкознании некоторых терминов в отличном от общепринятого значения. Так, с одной стороны, понятия метода и методологии нередко подменяют друг друга, а с другой — метод употребляется в особом, специфическом для науки о языке смысле. Поэтому необходимо с самого начала возможно точнее разграничить эти хотя и взаимосвязанные, но вместе с тем несомненно самостоятельные понятия.

Метод обычно определяется как определенный способ подхода к действительности, способ познания физических и общественных явлений. Так, «Большая советская энциклопедия» (т. 27, второе издание) следующим образом объясняет это понятие: «Метод — способ подхода к действительности, способ изучения, исследования, познания явлений природы и общественной жизни». В этом понимании марксистский метод полностью определяется диалектическим материализмом, т. е. наукой о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Методология же есть учение о методе научного познания мира. Соответственно марксистская методология — это учение о методе научного познания мира, основывающегося на диалектическом материализме.<89>

Но в языкознании понятие метода трактуется по-иному. Можем ли мы, например, говорить о сравнительно-историческом методе в том смысле, в каком понятие метода было объяснено выше? Очевидно, что нет. В языкознании метод — это только некоторая совокупность рабочих приемов, объединенных каким-либо общим принципом и применяемых в лингвистическом исследовании для выполнения частных исследовательских задач. Учение о методе как системе рабочих исследовательских приемов правильнее потому называть не методологией, а методикой.

Приведение используемой в языкознании общеупотребительной терминологии к общепринятому истолкованию повело бы к слишком

крупным преобразованиям, и потому от этого приходится отказаться. Волей или неволей необходимо считаться с установившейся традицией и говорить, например, о сравнительно-историческом методе там, где фактически речь идет о системе исследовательских приемов. Однако важно во избежание путаницы с самого начала точно оговорить содержание терминов «метод» и «методология»: в дальнейшем изложении термин «метод» понимается только как совокупность или система исследовательских приемов, а «методология» — как совокупность философских принципов, определяющих понимание основных категорий языка.

Метод обычно занимает по отношению к методологии подчиненное положение. И это вполне понятно, так как метод как совокупность приемов для систематического, последовательного и наиболее целесообразного проведения исследовательской работы направляется в конечном счете на выполнение тех задач, которые ставит перед ним методология. Когда, например, язык понимался как явление природы (у Ф. Боппа), или как естественный организм (у А. Шлейхера), то и исследование направлялось или на вскрытие «механических» и «физических» законов языка, или на описание «жизненных» процессов языка в период его развития (становления) и в период его умирания (распада).

Понятия метода и методологии в вышеописанном смысле, видимо, еще не исчерпывают факторов, обуславливающих как способ и направление научного исследования, так и конкретные рабочие приемы его проведения. Практика научной работы показывает, что существует еще некая третья величина, которая находится в своеобразном промежуточном положении между двумя вышеописанными. Речь идет о том, что лучше всего назвать общим научным принципом. В зависимости от методологических установок он обуславливает соответствующий аспект изучения предмета и служит общей основой для формирования конкретных рабочих приемов, образующих специальный метод.

Из истории науки известно, что общие научные принципы, объединяющие некоторую совокупность исследовательских приемов в систему, не есть принадлежность одной науки. Так, в частности, сравнительно-исторический принцип изучения явлений был перенесен в языкознание из других наук. Но языковеды, применявшие его к

изучению языка, воплотили его в систему определенных рабочих приемов, направленных на определенную исследовательскую цель. Талантливый русский языковед Н. В. Крушевский, возражая против самого термина «сравнительная грамматика», писал в этой связи: «Название это своим происхождением обязано тому обстоятельству, что первые научные истины, касающиеся языка, были добыты путем сравнения», но «сравнение не есть метод, принадлежащий единственно науке о языке; он свойствен ей постольку же, поскольку свойствен и другим наукам» [102] 22. Об этом же пишет в своем кратком очерке истории языкознания и А. Мейе: «Методическое исследование исторических причин — вот самое оригинальное и новое, чем мы обязаны истекшему столетию. В механике, в физике, в химии методами Архимеда, Галилея, Ньютона добыто было великое множество новых результатов, но сам метод уже достиг своего совершенства и оставалось только применять его со все возрастающей точностью ко всем объектам, которые он позволяет изучать. Метод же исторического объяснения был созданием XIX века... Сравнительная грамматика составляет часть предпринятых в XIX веке систематических исследований исторического развития явлений природы и общества» [103] 23<91>

Подобные явления повторялись в истории науки многократно. Совершенно аналогичную картину мы наблюдаем при становлении тех новых приемов лингвистического исследования, которые исходят из структурального принципа, почему этому направлению в науке о языке и было присвоено наименование структурализма. Структуральный принцип не обладает в языкознании единством в выражающих его конкретных исследовательских приемах и связывается с неоднородными философскими и мировоззренческими категориями. Но как определенный принцип научного исследования он един не только в разных видоизменениях лингвистического структурализма, но и в целых группах наук, и это обстоятельство отмечалось достаточно часто. По утверждению Э. Кассирера, структурализм в лингвистике есть «выражение общей тенденции мышления, которая в последние десятилетия стала в большей или меньшей степени проявляться почти во всех областях науки» [104] 24. Видный чехословацкий филолог Я. Мукаржовский указывает, что понятие структуры имеет широкое хождение в современной психологии познания и во многих других

областях современной науки. «Структурализм, — пишет он, — не мировоззрение, предвосхищающее эмпирические данные и выходящее за их пределы, и не просто метод, т. е. совокупность исследовательских приемов, применяемых только в одной области изучения. Это общий принцип, оправдавший себя в различных дисциплинах — в психологии, лингвистике, литературоведении, теории и истории искусства, социологии, биологии и т. д.» [\[105\]](#) 25.

В чем же заключается структуральный принцип? Ответ на этот вопрос стремятся (среди прочих ученых) дать французские философы Клапред и Лалланд. Первый из них пишет: «Сущность этой концепции состоит в том, что явления необходимо рассматривать не как сумму элементов, которые прежде всего нужно изолировать, анализировать и расчленить, но как целостности, состоящие из автономных единиц, проявляющие внутреннюю взаимообусловленность и имеющие свои собственные законы. Из этого следует, что форма существования каждого элемента зависит от структуры целого и от законов, им управляющих» [\[106\]](#) 26.

Согласно Лалланду, термин структура употребляется ныне в науке «в специальном и новом смысле слова... для обозначения целого, состоящего, в противоположность простому сочетанию элементов, из взаимообусловленных явлений, из которых каждое зависит от других и может быть таковым только в связи с ним» [\[107\]](#) 27. Один из пионеров лингвистического структурализма В. Брёндаль утверждает, что этот принцип уже прочно вошел в науку о языке. Приводя определение Лалланда, он пишет: «Именно в таком смысле Соссюр говорит о системах, где все элементы поддерживают друг друга, а Сепир — о модели лингвистических целых. Заслуга Трубецкого заключается в создании и разработке структуралистического учения о фонологических системах» [\[108\]](#) 28.

Изложенные соображения дают основания для отграничения всех трех понятий друг от друга и, в частности, общего научного принципа от методологии, с одной стороны, и от специального метода, с другой. Одно направление такого рода отграничения совершенно очевидно. Едва ли необходимы доказательства для утверждения того, что сравнительное, сопоставительное или историческое изучение явлений не есть собственно методологические категории. Другое дело, на что уже указывалось выше, что общий научный принцип в

методологических заданиях может обуславливать соответствующий аспект изучения предмета. Так, методологическими категориями советского языкознания, так же как и других наук, являются категории диалектического материализма, а, например, сравнительно-исторический принцип обуславливает лишь тот или иной аспект изучения предмета. Совершенно при этом очевидно, что одна и та же методологическая основа допускает использование разных общих научных принципов. Если уж на то пошло, то сравнительное и историческое изучение есть уже комбинация нескольких научных принципов. Эту комбинацию⁹³ можно, конечно, расширить и установить, например, типологически-сравнительно-исторический принцип [109] 29.

На первый взгляд представляется более сложным провести разграничение между общим научным принципом и специальным методом. Но это обманчивое впечатление. Выше такое разграничение частично уже проводилось при разборе различий между сравнительно-историческим *языкознанием* и сравнительно-историческим *методом*. В дополнение можно привести некоторые общие соображения. В одном случае мы говорим об общем и не получающем конкретного выражения принципе, в другом — о совокупности конкретных рабочих приемов (специальные методы). Общий научный принцип может применяться ко многим наукам, а специальный метод потому и называется специальным, что он есть достояние одной науки. Например, ни метод лингвистической географии, ни метод внутренней реконструкции, ни собственно сравнительно-исторический метод не могут найти себе применения за пределами науки о языке. Правда, определенный научный принцип — будь то сравнительно-исторический или, структуральный — тесно связан со специальным методом, так как служит основой для системы исследовательских приемов и известным образом организует их. Не тот же структуральный принцип получает неодинаковое воплощение в системе рабочих приемов, например, в биологии или физике, с одной стороны, и в социологии или лингвистике, с другой стороны. Более того, один и тот же общий науч⁹⁴ный принцип даже в пределах одной науки может находить свое выражение в разных системах рабочих исследовательских приемов или в различных специальных методах. Это может происходить под влиянием как методологических

установок, так и характера изучаемого материала. Так, структуральный принцип фактически воплощается в трех разных методических системах — глоссематики, функциональной лингвистики (Пражский лингвистический кружок) и дескриптивной лингвистики. Это разделение в значительной степени следует объяснять методологическими причинами. Но, с другой стороны, такие языки, как индейские языки Америки, которые «не имеют истории» (т. е. памятников, отражающих прошлые этапы их развития), исключают использование сравнительно-исторического метода. А такие изолированные языки, как японский или баскский, не имеющие генеалогических связей с другими языками, допускают историческое, но не сравнительное (в специально лингвистическом смысле) изучение. Здесь мы уже сталкиваемся с влиянием языкового материала на выбор метода.

Как уже указывалось, ни общий научный принцип, ни метод *сами по себе* не являются категориями методологическими. Но и специальные методы и общие научные принципы, однако, всегда соединяются с определенными философскими взглядами и по самому своему существу могут находиться в согласии с этими философскими взглядами, быть иногда более или менее нейтральными по отношению к ним или даже находиться в известном противоречии с ними. Наиболее целесообразным и наиболее способствующим научному исследованию следует признать такое положение, когда общий научный принцип и связанная с ним конкретная система рабочих приемов научного исследования (метод) находятся в согласии с методологией и следуют за ней.

В истории языкознания можно обнаружить разные типы указанных отношений. В частности, нередки случаи, когда между методологией и методом складываются обратные отношения, когда ведущим оказывается не методология, а метод, или, точнее говоря, когда метод поглощает методологию. Это имеет место в тех случаях, когда метод универсализируется и превращается в единственно возможный подход к изучению языка.<95>

Так было, например, со сравнительно-историческим методом у младограмматиков, не мысливших себе в языкознании иных задач, кроме тех, которые возможно решить с его помощью. Именно в результате такого подхода исследовательская проблематика в области

науки о языке чрезвычайно сузилась и фактически свелась к историческому изучению фонетики и морфологии, где только и можно было проследить действие фонетических законов и процессов аналогии. В соответствии с этим для младограмматиков язык рисуется только как психофизиологическое явление. Универсализация метода лингвистической географии в неолингвистике также привела к тому, что через его посредство стали определяться общие категории языка, что несомненно входит в компетенцию методологии. Отсюда и определение сущности языка, которое в неолингвистике фактически производится методическими средствами. «Называя изоглоссами, — пишет, например, В. Пизани, — элементы, находящиеся в обладании членов данной лингвистической общности в данный момент времени, мы можем определить язык как систему изоглосс, соединяющих индивидуальные лингвистические акты» ^[110] 30. Посредством такого определения язык превращается в совокупность некоторых элементов (изоглосс), являющихся техническими приемами в методике исследовательской работы лингвистической географии. В наши дни основатель глоссематики Л. Ельмслев развивает на основе структурального принципа свое учение о методе, сущность которого он объясняет следующими словами: «...я со всяческой скромностью, но вместе с тем со всею твердостью подчеркнул бы, что считаю и буду считать... структурный подход к языку как схеме взаимных соотношений своей главной задачей в области науки». И несколько ниже уточняет: «...лингвистика описывает схему языковых соотношений, не обращая внимания на то, чем являются сами элементы, входящие в эти соотношения» ^[111] 31. Язык, по его мнению, должен изучаться как «замкнутая в себе<96> специфическая структура» ^[112] 32. Разработанная Л. Ельмслевом исследовательская методика в идеале и должна привести к выведению формул чистых отношений, свойственных разным языкам. Эта методика, односторонне подчеркивающая характерные для различных языков структурные отношения его элементов и ничего, кроме этих отношений, не видящая, представляет сам язык в виде абсолютно бесплотного образования. Отрешенный от реальных форм существования, язык «чистых отношений» становится во всем подобным содержанию, выраженному математическими формулами.

Во всех таких случаях методы, пригодные для выполнения конкретных исследовательских задач или для изучения определенных аспектов языка, покрывают все поле научного лингвистического исследования, в результате чего метод приобретает ведущее положение и фактически становится методологическим началом.

Изложенные факты создают предпосылки для решения вопроса об определении положения разных лингвистических методов в советском языкознании, и, в частности, структуральных и сравнительно-исторического методов. Удобнее начать с последнего вопроса. Могут ли советские языковеды ограничиваться использованием одного единственного метода и, в частности, сравнительно-исторического? Даже если учитывать несомненные научные заслуги сравнительно-исторического метода, его нельзя делать единственным орудием исследовательской работы советских языковедов. Такое ограничение неминуемо привело бы к тому, что он, универсализировавшись, превратился бы из метода в методологию. В этом случае повторилось бы то, что произошло в младограмматическом направлении, и советское языкознание должно было бы принять те же методологические позиции, что и младограмматики. А ведь сравнительно-исторический метод при всех его положительных качествах, будучи порожден культурно-историческими условиями начала прошлого века, никак не может претендовать на выражение в своих рабочих приемах философских принципов диалектического материализма, составляющего основу советской науки.<97>

Кстати говоря, сравнительно-исторический метод не во всех случаях был нейтрален и в своих связях с методологическими основами науки о языке, как это иногда пытаются представить. В руках у некоторых весьма последовательных компаративистов, каким, например, был Г. Хирт, сравнительно-исторический метод получал реакционное идеологическое использование, и Н. Я. Марр в этом случае имел все основания упрекать этот метод в зараженности расистскими идеями.

Но, с другой стороны, препятствует ли что-либо использованию сравнительно-исторического метода в советском языкознании?

Разумеется, нет, но при том условии, что он остается только методом, т. е. системой исследовательских приемов, направленных на выполнение определенных научных задач. Он оправдал себя в

длительной научной практике, и поэтому следует всячески приветствовать его изучение и совершенствование советскими языковедами. Важно только при этом с максимальной точностью определить области его возможного использования. Ограниченный в применении своими потенциальными рабочими возможностями, сравнительно-исторический метод, как и все другие системы исследовательских приемов, оказывается лишенным методологических качеств. Именно это обстоятельство (при наличии положительных рабочих свойств) и делает его приемлемым также и для советского языкознания, так как при этом никакое противоречие с методологическими основами материалистической науки о языке не может иметь места.

С этих позиций следует подходить к оценке и других, методов, применяемых в лингвистическом исследовании. Если только они обладают реальными рабочими качествами и способствуют разрешению тех или иных конкретных проблем, они должны быть взяты на вооружение советскими языковедами и занять свое место в системе советского языкознания. Это, в частности, касается и структурализма, к которому иногда относятся с известным предубеждением.

Критическое отношение к структурализму обуславливается двумя причинами. Структурализм, как уже указывалось, не представляет собой единого монолитного направления. Фактически он находится сейчас в процессе становления и как рабочий принцип, исходящий из структурного характера языка, он получает воплощение в разных системах рабочих приемов, некоторые из которых связываются с идеалистическими методологическими основами. В частности, совершенно неприемлемо для советского языкознания понимание структуры и существующих в ней отношений как явлений первичного и определяющего характера, а материальных качеств компонентов структуры как производных от этих отношений и поэтому несущественных. Именно по этому пути идет, например, глоссематика, которую обычно также включают в структурализм. Подобного рода ответвления структурального изучения языка, связанные с такими философскими концепциями, как прагматизм и логический позитивизм, совершенно неприемлемы для советской науки, и частично именно по этой причине структурализм в целом

вызвал к себе в советской лингвистической литературе отрицательное отношение [113] 33.

В данном случае жертвой критики, в действительности направленной на методологические основы глоссематики, оказался целиком структуральный подход к изучению языков как особый рабочий принцип [114] 34.

Критика методологических основ идеалистической системы языкознания, разумеется, не только правомерна, она необходима, но в данном случае эта критика была (и притом в значительной мере голословно) распространена на все системы рабочих исследовательских приемов, которые были основаны на структуральном принципе. В результате такого фронтального отрицания был закрыт путь к реалистической оценке действительных недостатков и достижений новых исследовательских методов, а вместе с тем и к выяснению такого кардинального вопроса, как установление того, в какой мере все эти методы действительно сочетаются и согласуются с концепциями прагматизма или логического позитивизма. Ведь структурализм не заключается в одной глоссематике, существуют и иные его направления, которые базируются на иных методологических основах. А если же говорить о структурализме только как о системе исследовательских приемов, исходящих из структурного характера языка, то он сам по себе, так же как и сравнительно-исторический метод, оказывается лишенным методологических качеств, а это обеспечивает ему место и в системе советского языкознания.

Другим фактором, вызвавшим отрицательное отношение к структурализму также и среди зарубежных языковедов, являются его универсалистские тенденции, в соответствии с которыми он или проявляет нетерпимость по отношению к другим методам, или же включает в лингвистику только те проблемы, решение которых доступно структуральным методам. Эти качества также характерны для глоссематики, и против них направлена критика виднейшего представителя неолингвистики — В. Пизани. Он указывает, что в этом отношении структурализм «в своих поисках общей морфологической схемы для всякого языкового выражения напоминает *Grannmairegenerale* XVIII в. и повторяет ошибки таких ученых, как, например, Марти, который создавал абстрактные, предшествующие

языковому воплощению схемы» [115] 35. Пизани же отмечает ограниченные возможности глоссематики как лингвистического метода. «Во всяком случае, — пишет он, — нужно настойчиво подчеркнуть, что глоссематика не исчерпывает всю науку о языке: она может быть средством к пониманию явления, называемого «языком», но она не может сказать нам, как совершается этот вид деятельности человека, почему языки изменяются, каково отношение языка к другим видам деятельности человека и т. д.» [116] 36.

Критику В. Пизани следует признать абсолютно справедливой. К ней можно было бы добавить и иные критические замечания как принципиального, так и частного характера, которые в изобилии встречаются, например, в книге Б. Сиертсеми [117] 37 или в очень основательной статье Э. Хаугена [118] 38. Вообще не следует полагать, что зарубежные языковеды встретили глоссематические построения Л. Ельмслева с энтузиазмом. До этого очень далеко. Но все это говорит не против структурального подхода как общего научного принципа, а о том, в какой тупик ложно ориентирующая методология может завести несомненно здоровый принцип. Пример с глоссематикой с большой очевидностью свидетельствует о важности методологического фактора, о его ведущей роли, а также о самой настоятельной необходимости уметь разграничивать разные теоретические планы, направляющие исследовательскую работу (методологические основы, общий научный принцип, специальный метод) и отслаивать все порочное и ненужное, сохраняя рациональное зерно [119] 39. Если этого не делать, то легко вместе с водой выплеснуть и ребенка.

Возвращаясь к структуральному принципу, как таковому, мы не можем не отметить, что он выработал большое разнообразие исследовательских приемов, доказавших свою пригодность для применения в самых разнообразных областях науки о языке, в том числе и в традиционной проблематике сравнительно-исторического языкознания. Так, замечательная работа молодого Соссюра о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках, представляющая блестящий образец исследования в области сравнительно-исторического языкознания, несомненно, покоится на структуральном подходе к изучению языковых явлений.

Структуральный принцип лежит в основе приема так называемой внутренней реконструкции, получающей в науке о языке все более широкое применение. Полноценное историческое изучение фонетических систем языков едва ли теперь мыслимо вне фонологического учения Трубецкого — одного из основателей структуралистического Пражского лингвистического кружка. Своеобразную и интересную систему приемов формального описания языков, также основывающегося на структуральном принципе, разработала американская школа дескриптивной лингвистики, исходившая из практических потребностей изучения местных языков [120] 40. Если приемы дескриптивной лингвистики ограничить по примеру других исследовательских методов определенными рамками использования, то они также несомненно могут быть полезны в научной практике языковедов [121] 41. Следует отметить, что области применения структуральной методики изучения еще далеко не исчерпаны и она все более и более расширяет границы своего использования [122] 42.

Все это говорит в пользу того, что структуральная техника лингвистического исследования может и должна встать в ряд с другими рабочими методами также и в системе советского языкознания. Необходима только предварительная непредубежденная критическая ее оценка и точное определение областей применения. Эту оценку следует производить не на основе административных распоряжений, отмечающих практическую важность структуральных методов (что иногда делается в советском языкознании), а на основе исследовательской практики и теоретического осмысления ее результатов. Практическая же значимость не есть еще теоретическая оценка, и безоглядное следование за критерием утилитарности равносильно приятию философии прагматизма. <102>

В этой связи нельзя не вспомнить следующее соображение М. Коэна: «Ввиду признания структурного характера языка, лингвистика может быть только «структуралистической». Следует работать так, чтобы она была структуралистической на здоровой основе» [123] 43.

Приходится, однако, признать, что в советском языкознании структуральной лингвистике явно не повезло в том смысле, что как положительная, так и негативная ее оценка строится преимущественно на умозрительных заключениях и находит свое выражение в

голословных декларациях. Что же касается исследовательской практики, которая только и может дать объективные данные для суждения о достоинствах и недостатках любого метода, то в ней структурализм у нас почти еще не нашел своего отражения. Правда, в нашем распоряжении находится уже значительный зарубежный опыт применения структуральных методов как для описания различных языков, так и для решения отдельных проблем. Но в этих работах структуральные методы объединяются с разными методологическими позициями (что, кстати говоря, и не дает возможности рассматривать структурализм как единое лингвистическое направление), отнюдь не всегда приемлемыми для советского языкознания. Это обстоятельство очень путает картину действительных исследовательских качеств структурных методов и затрудняет определение в них здоровой основы, в частности, на базе лишь теоретических выкладок.

Исходя из вышеизложенных предпосылок, советское языкознание надо представлять себе как сочетание методологических принципов, покоящихся на общих законах научного познания диалектического материализма, с системой разнообразных приемов научного исследования, пригодных к разрешению многообразных проблем изучения языка и не находящихся при этом в противоречии с указанными методологическими принципами.

Методология должна определять общие и основные категории языка, такие, как природа и сущность языка, его функции, связь языка с мышлением и историей народа, характер закономерностей развития языка (применение общего понятия закономерности к процессам<103> развития языка), отношение языкознания к другим наукам и т. д. Советские языковеды располагают марксистским истолкованием многих из этих основных категорий языка и тем самым имеют возможность опираться на твердые методологические основы. Дальнейшее более углубленное познание основных категорий языка требует широкого обобщения языкового материала и должно проводиться в тесном сообществе с философами.

Но изучение этих общих категорий языка отнюдь не исчерпывает всей научной проблематики науки о языке. Фактически они образуют только одну дисциплину, которую в зависимости от того, в каком преимущественном аспекте проводится исследование данных проблем (философском или собственно лингвистическом), именуют или

философией языка, или общим языкознанием. А за пределами этой методологической по своему характеру дисциплины и рядом с ней располагаются собственно лингвистические дисциплины — фонетика (и даже отдельно — экспериментальная, историческая, описательная и прочая фонетика), лексикология, семасиология, этимология, морфология, синтаксис, топонимика и т. д. Каждая из этих дисциплин изучает частные проблемы науки о языке и использует разные исследовательские методы. В одном случае возможно применение разных методических приемов для изучения одной и той же проблематики. Так, например, при изучении взаимоотношений языков используются и сравнительно-исторический метод, и ареальный метод неолингвистики. В исторической фонетике несомненно оправдало себя комбинированное использование сравнительно-исторического и структурального метода и т. д. В другом случае сам характер проблемы исключает возможность использования различных методов и вносит в эти отношения определенные ограничения. Так, сравнительно-исторический метод фактически не получил применения в изучении синтаксиса, лексикологии и семасиологии. Видимо, невозможно использование структурального метода в топонимике или ономасиологии.

Следовательно, при решении частных и специальных задач отдельных собственно лингвистических дисциплин могут использоваться различные исследовательские приемы, воплощающие неодинаковые общие рабочие прин<104>ципы, и это решение может быть неоднозначным. При том непереносимом условии, что как одно, так и другое решение проблемы не находится в противоречии с марксистским пониманием основных категорий языка (т. е. методологическими основами советской науки о языке), ни одно из них не может быть отвергнуто на основании лишь того факта, что одно достигнуто приемами сравнительно-исторического метода, а другое с помощью приемов структуральной лингвистики. Правильность того или иного решения покажет дальнейшее более углубленное исследование проблемы, но пока оно не произведено, решения, достигнутые на основе различных систем исследовательских приемов, являются равноправными. Как показывает при этом опыт лингвистического исследования, применение разных методов для решения одной проблемы не только не мешает научному познанию

явления, но в конечном счете только способствует этой цели. Прекрасным примером плодотворного сочетания разных исследовательских методов для изучения единого комплекса проблем может служить сравнительно-историческое языкознание, в котором ныне успешно сочетаются структуральный метод, сравнительно-исторический метод и метод неолингвистики.

Ясное дело, что сам термин «сравнительно-исторический» в этом случае следует толковать в более широком смысле, который подсказывается последними этапами развития науки о языке. В частности, сравнительность не обязательно должна ограничиваться языками одной генетической группы, но может применяться как к отдельным неродственным языкам («сопоставительное» изучение), так и к целым группам языков (типологическое изучение).

Описанные формы взаимоотношений методологических основ науки о языке с используемыми ею методами (т. е. исследовательскими приемами) ни в коем случае не преуменьшают значения методологии и ее ведущего положения. Следует еще раз подчеркнуть, что в конечном счете задачи науки о языке, ее проблематика неизбежно и всегда определяется соответствующим пониманием основных категорий языка что и предполагает использование конкретных исследовательских приемов.

Частные решения конкретных лингвистических проблем в свою очередь способствуют уточнению основных¹⁰⁵ категорий языка и их более углубленному познанию. Это обстоятельство с новой стороны характеризует формы взаимоотношений между философскими принципами науки о языке и достигнутыми частными решениями.

Из всего изложенного явствует, как важно в науке о языке различать методологические и методические категории и понятия, так как подмена одних другими приводит к неправильной оценке отдельных явлений, их места в системе данной науки и в конечном счете к неправильной ориентации исследовательской работы. Когда методологические категории низводят на положение методических, то это дезорганизует науку. Но, с другой стороны, когда то или иное возможное решение частной проблемы возводят в ранг методологически незыблемого, то это не только создает трудности в адекватном решении данной проблемы, но и приводит к парализующему научное развитие догматизму. С сожалением следует

отметить, что указанное разграничение не всегда проводится с необходимой четкостью и нередко отдельные положения науки о языке получают неправильную квалификацию отмеченного характера.

В пояснение сказанному приведем конкретные примеры. Для этой цели обратимся к таким собственно лингвистическим проблемам, как классификация лексики по разным категориям и определение общей сущности грамматических явлений.

Наука о языке использует многочисленные классификационные принципы для распределения словарного состава языков по определенным группам: литературную и диалектную лексику, общенародную и специальную (профессиональную), активную и пассивную, неологизмы и архаизмы, нейтральную и стилистически окрашенную и пр. В последние годы в советском языкознании значительное место занимала лексическая классификация, выделявшая две категории: основной словарный фонд и словарный состав языка. Основной словарный фонд определяется как главная часть словарного состава языка, которая менее обширна, чем последний; ядро основного словарного фонда составляют все корневые слова, составляя базу для образования новых слов; он характеризуется также устойчивостью и длительностью существования. Все прочие слова, не входящие в основной словарный фонд, относятся к широкой и аморфной <106> категории словарного состава языка. Эта категория, надо полагать, не обладает указанными характеристиками.

Данным лексическим категориям было приписано методологическое значение, их связывали с марксистским пониманием природы языка. Так, например, акад. В. В. Виноградов писал по этому поводу: «Учение... о словарном составе языка и об основном словарном фонде закладывает новые глубокие марксистские основы исторической лексикологии и истории словообразования. Это учение является ярким образцом применения метода материалистической диалектики к анализу лексики (словаря) языка. Оно органически вытекает из марксистского понимания отношения языка к надстройке и базису, отношения языка к производству» [\[124\]](#) 44.

Между тем эти категории и, в частности, понятие основного словарного фонда относятся к числу таких, которые находятся вне методологических принципов в науке о языке, и в том или ином виде фигурируют в работах многих ученых от Расмуса Раска до

современного американского лингвиста и антрополога Морриса Сводеша. В самом советском языкознании этого вопроса ранее касались Л. П. Якубинский [125] 45 и В. И. Абаев [126] 46.

Р. Раск писал о «наиболее существенных, материальных, необходимых и первичных словах, составляющих (наряду с грамматикой) основу языка» [127] 47. Минувя длинный ряд ученых, употреблявших это понятие, и переходя к нашему времени, мы обнаруживаем у В. И. Абаева утверждение, что «существует некий основной лексический фонд, охватывающий круг необходимых в любом человеческом обществе понятий и отношений, без которых трудно себе мыслить человеческую речь, если не считать самых ранних, начальных стадий глоттогонии, о которых мы можем смутно догадываться и которые характеризовались, по-видимому, беспредельным полисемантизмом. Этот строго ограниченный круг насущных и необходимых для всякого языка слов образует то, что<107> можно назвать основным лексическим минимумом» [128] 48. В. И. Абаев следующим образом описывает состав «основного лексического фонда»: «Сюда относятся основные местоимения, первые числительные, основные анатомические и космические названия, основные термины родства и социальные термины, глаголы, выражающие самые насущные, элементарные действия и состояния» [129] 49. Легко увидеть, что это перечисление охватывает как раз те слова, которые в качестве примеров приводились позднее во всех многочисленных советских работах, посвященных этому вопросу.

М. Сводеш на аналогичных принципах составляет свой «основной словарь» (fundamental vocabulary), который он использует в своем методе лексикостатистики, или глоттохронологии. В списки слов «основного словаря» исследуемых им языков, состоявших первоначально из 215 слов, а затем уменьшенных до 100, М. Сводеш включает лексику, обозначающую единые для всех человеческих обществ и представленные во всех языках значения. Эти значения выражаются во всех языках посредством простых лингвистических форм (т. е. корневыми морфемами или словами) и принадлежат не к каким-либо специализированным областям словарного состава языка (известным только в профессиональных и ученых кругах), но

наличествуют в обычной речи каждого взрослого члена данного общества [\[130\]](#) 50.

Таким образом, выделение понятия основного словарного фонда отнюдь не является «образцом применения метода материалистической диалектики к анализу<108> лексики», и, следовательно, никак не может составлять методологических основ советского языкознания. Это понятие возникло очень давно, имеет широкое хождение во многих лингвистических работах и никакой специальной связи с марксистским пониманием вопросов языкознания не имеет. Советские работы, посвященные изучению этого понятия на материале различных языков, показали его большую неточность и неуловимость. В эту категорию включали не только слова, но и словообразовательные средства и даже словообразовательные модели (В. В. Виноградов), морфемы (Н. Т. Сауранбаев), фразеологические речения (С. И. Ожегов). Одно и то же слово относилось к разным категориям — словарного состава или основного словарного фонда — по своим значениям (А. Д. Григорьева и Е. М. Мельцер) или употреблением (А. Д. Григорьева и П. Я. Черных). Эту категорию стремились установить с помощью различных критериев — на основе понятийных или предметных признаков, словообразовательной продуктивности, длительности или частоты употребления, исконности, устойчивости, общеупотребительности, особенностей морфологической структуры и т. д. [\[131\]](#) 51. Но как только переходили к более или менее углубленному исследованию языкового материала, тотчас создавались непреодолимые трудности, возникали противоречия с априорно установленными критериями. Характерно, что критический разбор принципов отбора «основного словаря» в теории М. Сводеша, сделанный Хойером [\[132\]](#) 52 применительно к туземным индейским языкам, также показал их несостоятельность. Это понятие фактически оказалось неприменимым в данных условиях, по-видимому, главным образом в виду отсутствия в этих языках исторической перспективы, которая хоть в какой-то степени способствует установлению данной лексической категории.

Не вынося никакого окончательного суждения относительно существования данной проблемы, можно бесспорно констатировать, что целесообразность выделения основ<109>ного словарного фонда как особой лексической категории может быть решена только дальнейшим

исследованием и, следовательно, возможны как положительные, так и отрицательные выводы. Но рассматривать ее в качестве одной из основ марксистского языкознания явно неправильно. Это только частная проблема, любое из решений которой никак не отразится на системе марксистского языкознания.

В этой связи следует полностью согласиться с коллективной запиской «Теоретические вопросы языкознания», ставящей своей целью дать оценку современному состоянию науки о языке и наметить дальнейшие пути ее развития. В записке отмечается, что после дискуссии 1950 г. «некоторые советские языковеды слишком долго не решались выйти за ограниченный круг проблем, затронутых в работе И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», и вместе с тем старались (без достаточных к тому оснований) «развивать» каждое конкретное, даже лишенное методологического значения положение этой работы» [\[133\]](#) 53.

Подобное же методологическое значение приписывалось и определению грамматики как совокупности правил об изменении слов, имеющих в виду не конкретные слова (т. е. с конкретным лексическим значением), а вообще слова без какой-либо конкретности. Грамматика в соответствии с этим определением абстрагируется от частного и конкретного и ориентируется на то общее, что лежит в основе изменений слов и сочетании слов в предложениях. Этим своим качеством грамматика якобы напоминает геометрию, орудующую также отвлеченными построениями.

Но это определение не содержит в себе ничего методологического. Об абстрактном («геометрическом») характере грамматических категорий и значений сравнительно с лексическими в сущности говорят все языковеды, когда касаются этих вопросов. Было бы бессмысленно приводить бесконечные цитаты в доказательство того, что на противопоставления грамматического лексическому, как отвлеченного и абстрактного частному и конкретному, строится вся традиция изучения этих явлений. Для примера можно ограничиться только высказываниями таких классиков русского языкознания, как А. А. Шахматов и А. А. Потебня. А. А. Шахматов писал по этому поводу: «Грамматическими формами называются те видоизменения, которые получает слово в зависимости от формальной (не реальной) связи его с другими словами. Формальные и реальные

связи между словами устанавливаются их значениями: реальному значению слова соответствует отдельное представление в мышлении, отличное от других представлений; между тем формальное значение слова познается только по связи одних слов с другими... Реальные значения слов каждого языка так же разнообразны, как разнообразны представления, возникающие в мышлении в результате знакомства с внешним миром. Формальные значения слов, напротив, ограничиваются вообще немногочисленными категориями» [134] 54. В другой своей работе А. А. Шахматов уточняет: «Грамматическое значение языковой формы противопоставляется реальному ее значению. Реальное значение слова зависит от соответствия его как словесного знака тому или иному явлению внешнего мира; грамматическое значение слова это то его значение, какое оно имеет в отношении к другим словам» [135] 55. Ту же мысль высказывает А. А. Потебня: «... слово заключает в себе указание на известное содержание, свойственное только ему одному, и вместе с тем указание на один или несколько общих разрядов, называемых грамматическими категориями, под которые содержание этого слова подводится наравне с содержанием многих других. Указание на такой разряд определяет постоянную роль слова в речи, его постоянное отношение к другим словам. «Верста»... и всякое другое слово с теми же суффиксами, будучи существительным, само по себе не может быть сказуемым, будучи именительным, может быть только подлежащим, приложением или частью сложного сказуемого и т. д. Из ближайших значений двоякого рода, одновременно существующих в таком слове, первое мы<111> назовем частным и лексическим, значение второго рода — общим и грамматическим» [136] 56.

При том, что грамматическая абстрактность традиционно противопоставляется лексической конкретности, не может не вызвать возражения слишком категорический разрыв между грамматическими и лексическими явлениями, характерный для вышеприведенной и якобы методологической по своему содержанию формулировки.

Факты языка показывают, что грамматика далеко не всегда относится с бесстрастным, «геометрическим» равнодушием к «конкретной» природе слов, т. е. к его лексической семантике. Известно, что в русском языке (как и во многих других) ряд словообразовательных суффиксов соединяется со словами определенной семантики. Например, суффиксы — *ёныш* и — *ёнок* (*-онок*) соединяются только с основами имен существительных, обозначающих животных (*гусёныш, утёныш, змеёныш; козлёнок, котёнок, орлёнок; волчонок, галчонок* и т. д.). В соответствии с подобной дифференциацией словообразовательных суффиксов в русском языке имеются, с одной стороны, *клубника, земляника, черника, ежевика, костяника*, а, с другой стороны, *телятина, козлятина, курятина, медвежатина*, но невозможны образования вроде *клубнятина* или *козляника*. Грамматическая категория вида в русском глаголе также может получать различное выражение в зависимости от лексической семантики. Так, глаголы несовершенного вида, обозначающие процессы действия или состояния, не связанные с результатом или с отдельными моментами их течения, не имеют соответствующих образований совершенного вида (непарные глаголы): *бездействовать, отсутствовать, присутствовать, содержать, соответствовать, состоять*. Некоторые глаголы в зависимости от конкретного лексического использования выступают то в несовершенном виде, то в совершенном (двувидовые глаголы): *исследовать, миновать, женить, молвить, атаковать, организовать, минировать* и пр. Например, со значением несовершенного вида: *Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине* (Пушк.); *Со всех сторон атакуют совершенно посторонние болезни* (Салт.). Со значением совершенного вида только формы будущего времени: *Поверь мне, что он женится на Чебоксаровой и увезет ее в Чебоксары* (А. Остр.); *Сегодня же его найдут и арестуют, — сказала барыня и всхлинула* (Чех.) [137] 57. Группа бесприставочных глаголов, обозначающих движение, имеет двоякие образования несовершенного вида — кратный и некротный: *бегать* и *бежать, бродить* и *брести, возить* и *везти, водить* и *вести, ездить* и *ехать* и пр. [138] 58. Еще отчетливее зависимость «грамматических правил» от лексической («конкретной») семантики слов проступает в языках, проводящих деление знаменательных слов по

многочисленным классам: включение слов в тот или иной класс, характеризующийся особыми парадигмами, проводится на основе только семантических признаков.

Все подобные примеры, число которых можно было бы бесконечно увеличить, свидетельствуют о том, что «геометрическое» определение природы грамматики во всяком случае нельзя признать исчерпывающим и универсальным. Это обстоятельство со своей стороны подчеркивает его отнюдь не методологический характер.

Едва ли есть надобность доказывать, что если возводить в незыблемую догму частные решения подобного рода конкретных лингвистических вопросов и придавать им значение методологических категорий, то это может сказаться далеко не благоприятным образом на развитии науки.

Математическая лингвистика?

В течение последнего столетия языкознание всегда приводилось как пример науки, развивавшейся стремительно и очень быстро достигшей методической зрелости. Уже в середине прошлого столетия молодая наука уверенно заняла место в кругу наук, обладавших тысячелетней традицией, а один из виднейших ее представителей — А. Шлейхер — имел смелость полагать, что своими трудами он подводит уже итоговую линию.^[113] История лингвистики, однако, показала, что такое мнение было слишком поспешно и неоправданно. В конце века языкознание претерпело первое большое потрясение, связанное с критикой младограмматических принципов, за которыми последовали и другие. Следует при этом отметить, что все кризисы, которые мы можем вскрыть в истории науки о языке, как правило, не расшатывали ее основ, но, наоборот, способствовали укреплению и в конечном счете приносили с собой уточнение и усовершенствование методов лингвистического исследования, расширяя вместе с тем и научную проблематику.

Но рядом с языкознанием жили и развивались также и другие науки, в том числе и большое количество новых. Особенно бурное развитие в наше время получили физические, химические и технические (так называемые «точные») науки, а над всеми ними воцарилась их теоретическая основа — математика. Точные науки не только сильно потеснили все гуманитарные науки, но в настоящее время стремятся «привести их в свою веру», подчинить своим обычаям, навязать им свои исследовательские методы. При создавшемся положении, используя японское выражение, можно сказать, что ныне языковеды-филологи оскверняют собой самый краешек циновки, где торжествуя и привольно расположились точные науки во главе с математикой.

Не целесообразнее ли с точки зрения общенаучных интересов капитулировать перед математикой, целиком отдаться во власть ее методов, к чему уже откровенно призывают некоторые голоса ^[139] 59, и тем самым, быть может, обрести новую силу? Чтобы ответить на эти вопросы, надо сначала посмотреть, на что претендует математика в данном случае, в какой области лингвистики находят свое применение

математические методы, в какой мере они согласуются со спецификой языкового материала и способны ли они дать или даже только подсказать ответы на те вопросы, которые ставит перед собой наука о языке.

С самого начала следует отметить, что и среди энтузиастов нового, математического направления в лингвистических исследованиях нет единства мнений относительно его целей и задач. Акад. А. А. Марков, первым применивший математические методы к языку, Болдрини, Юл, Мариотти рассматривают языковые элементы как подходящий иллюстративный материал для построения количественных методов, или для статистических теорем, совершенно не задаваясь вопросом, представляют ли интерес результаты такого исследования для лингвистов [140] 60. Росс полагает, что теория вероятностей и математическая статистика представляют инструмент или, как ныне предпочитают говорить, математическую модель для проверки и подтверждения тех лингвистических выводов, которые допускают числовую трактовку. Тем самым математические методы мыслятся лишь как вспомогательные средства лингвистического исследования [141] 61. На гораздо большее претендует Хердан, который в своей книге не только подытожил и систематизировал все попытки математического изучения языковых проблем, но и попытался дать им четкую ориентацию в отношении дальнейшей работы. Изложение всего материала своей книги он ориентирует на «понимание литературной статистики (так он называет изучение текстов методами математической статистики. — В. З.) как неотъемлемой части лингвистики» [142] 62, а сущность и задачи этого нового раздела в языкознании формулирует в следующих словах: «Литературная статистика в качестве количественной философии языка применима ко всем отраслям лингвистики. По нашему мнению, литературная статистика есть структуральная лингвистика, поднятая на уровень количественной науки или же количественной философии. Таким образом, одинаково неправильно определять ее результаты как не относящиеся к области лингвистики или же трактовать ее как вспомогательное средство для исследования» [143] 63.

Едва ли целесообразно вдаваться в теоретизирования относительно того, правомерно ли в данном случае говорить о возникновении новой отрасли лингвистики и решать вопрос о ее претензиях, не

обратившись сначала к рассмотрению уже фактически сделанного в этой области, и к выяснению того, в каком направлении идет применение новых методов ^[144] 64. Это поможет нам разобраться и в разногласии мнений.

Применение математического (или, точнее говоря, статистического) критерия для решения лингвистических вопросов является отнюдь не новым для науки о языке и в той или иной мере уже давно используется языковедами. Ведь, по сути говоря, такие традиционные понятия лингвистики, как фонетический закон (и связанное с ним — исключение из закона), продуктивность грамматических элементов (например, словообразовательных суффиксов) или даже критерии родственных отношений между языками в известной степени строятся на относительных статистических признаках. Ведь чем резче и отчетливее статистическое противопоставление наблюдаемых случаев, тем больше у нас оснований говорить о продуктивных и непродуктивных суффиксах, о фонетическом законе и исключениях из него, о наличии или отсутствии родственных отношений между языками. Но если в подобных случаях статистический принцип использовался более или менее стихийно, то в дальнейшем он стал применяться сознательно и уже с определенной целеустановкой. Так, в наше время большое распространение получили так называемые частотные словари лексики и выражений отдельных языков ^[145] 65 или даже значений разноязычных слов с «общей направленностью на действительность» ^[146] 66. Данные этих словарей используются для составления учебников иностранных языков (тексты которых строятся на наиболее употребительной лексике) и словарей-минимумов. Специально лингвистическое использование статистические исчисления нашли в методе лексикостатистики или глоттохронологии М. Сводеша, где на основе статистических формул, учитывающих случаи исчезновения из языков слов основного фонда, оказывается возможным установить абсолютную хронологию расчленения языковых семейств ^[147] 67.

В последние годы случаи применения математических методов к языковому материалу значительно умножились и в массе подобного рода попыток наметились более или менее определенные направления. Обратимся <117> к последовательному их рассмотрению, не вдаваясь в детали.

Начнем с того направления, которому присвоено наименование стилостатистики. Речь в данном случае идет об определении и характеристике стилистических особенностей отдельных произведений или авторов через посредство количественных отношений используемых языковых элементов. В основе статистического подхода к исследованию стилистических явлений лежит понимание литературного стиля как индивидуального способа владения средствами языка. При этом исследователь совершенно отвлекается от вопроса о качественной значимости исчисляемых языковых элементов, сосредоточивая все свое внимание только на количественной стороне; смысловая сторона исследуемых языковых единиц, их эмоционально-экспрессивная нагрузка, так же как и их удельный вес в ткани художественного произведения — все это остается вне учета, относится к так называемым избыточным явлениям. Таким образом, художественное произведение выступает в виде механической совокупности, специфика построения которого находит свое выражение лишь через числовые отношения ее элементов. На все отмеченные обстоятельства представители стилостатистики не закрывают глаза, противопоставляя методам традиционной стилистики, несомненно включающим элементы субъективности, одно единственное качество математического метода, которое, по их мнению, окупает все его недостатки — объективность достигнутых результатов. «Мы стремимся, — пишет, например, В. Фукс, — ...охарактеризовать стиль языкового выражения математическими средствами. Для этой цели должны быть созданы методы, результаты которых должны обладать объективностью в такой же мере, как и результаты точных наук... Это предполагает, что мы, во всяком случае первоначально, будем заниматься только формальными структурными качествами, а не смысловым содержанием языковых выражений. Таким образом мы получим систему порядковых отношений, которая в своей совокупности представит собой основу и исходный пункт математической теории стиля» [\[148\]](#) 68. <118>

Простейшим видом статистического подхода к изучению языка писателей или отдельных произведений является подсчет употребляемых слов, так как богатство словаря, видимо, должно определенным образом характеризовать и самого автора. Однако результаты подобных подсчетов дают несколько неожиданные в этом

плане результаты и никак не способствуют эстетическому познанию и оценке литературного произведения, что не в последнюю очередь входит в число задач стилистики. Вот некоторые данные относительно общего количества слов, употребляемых в ряде произведений:

Библия (латинская). 5649 слов

Библия (древнееврейская). . 5642 слова

Демосфен (речи). 4972 слова

Саллюстий. 3394 слова

Гораций. 6084 слова

Данте (Божественная комедия) 5860 слов

(сюда входит 1615 имен собственных и географич. названий)

Тассо (Неистовый Орланд). . 8474 слова

Милтон. 8000 слов (прибл. дан.)

Шекспир. 15000 слов

(приблизительно, по другим данным 20 000 слов)

О. Есперсен указывает, что словарь Золя, Киплинга и Джека Лондона значительно превышает словарь Милтона, т. е. число в 8000 [149] 69. Подсчет словаря речей президента США В. Вилсона установил, что он богаче, чем у Шекспира. К этому следует добавить данные психологов. Так, Терман на основе наблюдений над большим количеством случаев установил, что словарь среднего ребенка составляет около 3600 слов, а в 14 лет — уже 9000. Средний взрослый употребляет 11700 слов, а человек «повышенной интеллигентности» до 13500 [150] 70. Таким образом, подобные числовые данные сами по себе не дают никаких оснований для выявления стилистических качеств произведений и только «объективно» констатируют употребление разного количества слов разными авторами, что, как показывают приведенные подсчеты, не связано с относительной художественной ценностью их произведений.

Несколько по-иному строятся подсчеты относительной частоты употребления слов у отдельных авторов. В этом случае учитывается не только общая сумма слов, но и частота употребления отдельных слов. Статистическая обработка полученного таким образом материала заключается в том, что слова с равной частотой употребления группируются по классам (или рангам), что приводит к установлению частотной дистрибуции всех употребляемых данным автором слов. Частным случаем такого рода подсчетов является определение

относительной частотности специальных слов (например, романской лексики в произведениях Чосера, как это было сделано Мерсандом [151] 71). Относительная частотность употребляемых авторами слов содержит такие же объективные сведения о стиле отдельных авторов, как и вышеприведенные суммарные подсчеты, с той только разницей, что в результате получаются более точные числовые данные. Но она используется и для датировки отдельных произведений одного и того же автора на основе предварительно произведенного подсчета относительной частоты употребления им слов в разные периоды его жизни (по датированным самим автором произведениям). Другим видом использования данных подобных подсчетов является установление подлинности авторства произведений, относительно которых этот вопрос представляется сомнительным [152] 72. В этом последнем случае все строится на сравнении статистических формул частоты употребления в подлинных и спорных произведениях. Нет надобности говорить об очень большой относительности и приблизительности результатов, полученных такими методами. Ведь относительная частота употребления меняется не только с возрастом автора, но и в зависимости от жанра, сюжета, а также и исторической среды действия произведения (ср., например, «Хлеб» и «Петр I» А. Толстого). <120>

Углубляя вышеописанный метод, стилостатистика в качестве стилевой характеристики стала прибегать к критерию стабильности относительной частоты наиболее употребительных слов. Применяемый в данном случае метод можно проиллюстрировать статистической обработкой рассказа Пушкина «Капитанская дочка», произведенной Есселсоном и Эпштейном в Институте славянских языков при Детройтском университете (США) [153] 73. Обследованию был подвергнут весь текст рассказа (около 30000 случаев употребления слов), а затем отрывки, содержащие около 10000 и 5000 случаев употребления. Далее, с целью определения стабильности относительной частоты употребления слов, у 102 наиболее употребительных слов (с частотой от 1160 раз до 35) было произведено сравнение расчетной относительной частоты (сделанной на основе выборочных отрывков) с действительной. Например, союз «и» во всем рассказе употреблялся 1 160 раз. В отрывке, содержащем 5 000 случаев употреблений всех слов, следует ожидать, что этот союз

будет использоваться $5\,000 \times 1\,160 : 30\,000$, или округло 193 раза, а в отрывке, содержащем 10 000 случаев употреблений всех слов, он предположительно используется $10\,000 \times 1\,160 : 30\,000$, или 386 раз. Сравнение полученных с помощью подобного рода расчетов данных с фактическими показывает очень незначительное отклонение (в пределах 5 %). На основе подобных расчетов было установлено, что в данном рассказе Пушкина предлог «к» используется в два раза чаще, чем «у», а местоимение «ты» в три раза чаще, чем «их» и т. д. Таким образом, несмотря на все перипетии сюжета, как на протяжении всего рассказа, так и в отдельных его частях, наблюдается стабильность относительной частоты употребления слов. То, что наблюдается в отношении некоторых (наиболее употребительных) слов, предположительно применимо и по отношению ко всем использованным в произведении словам. Отсюда следует, что стиль автора можно характеризовать определенным соотношением изменчивости средней частоты употребления слова к общей для данного языка частоте его употребления. Это соотношение и рассматривается в качестве объективной количественной характеристики стиля автора.

Аналогичным образом исследуются и иные формальные элементы структуры языка. Так, например, В. Фукс подверг сопоставительно-статистическому рассмотрению метрические особенности произведений Гёте, Рильке, Цезаря, Саллюстия и др. [\[154\]](#) 74

Критерий стабильности относительной частоты употребления слов, уточняя технику количественной характеристики стиля, ничего принципиально нового не вносит сравнительно с выше разобранными более примитивными способами. Все методы стилостатистики дают в конечном счете одинаково беспристрастные, скользящие по поверхности языка и цепляющиеся только за сугубо внешние признаки «объективные» результаты. Количественные методы, видимо, не способны ориентироваться на качественные различия исследуемого материала и фактически нивелируют все изучаемые объекты.

Там, где необходима максимальная конкретизация, предлагаются максимально обобщенные критерии; качественные характеристики выражаются языком количества. Здесь не только логическое противоречие, но и несогласие с природой вещей. В самом деле, что получится, если мы попытаемся получить сравнительную

стилистическую (т. е., следовательно, качественную) характеристику произведений Александра Герасимова и Рембрандта на основании количественного отношения красной и черной краски на их полотнах? Видимо, абсолютная несуразица. В какой мере вполне «объективные» квантитативные сведения о физических данных человека способны дать нам представление о всем том, что характеризует человека и составляет его истинную сущность? Очевидно, ни в какой. Они могут служить лишь индивидуальным признаком, отличающим одного человека от другого, вроде отпечатка извилин на большом пальце руки. Аналогичным образом обстоит дело и с квантитативными характеристиками литературного стиля. Если внимательно разобраться, то они дают столь же скудные данные для суждения о действительных стилистических<122> качествах языка автора, как и описание извилин на пальце для изучения психологии человека.

Ко всему сказанному следует добавить, что в прошлом в так называемой формальной школе литературоведения уже делалась попытка квантитативного исследования стиля писателей, когда производились подсчеты эпитетов, метафор, ритмо-мелодических элементов стиха. Однако эта попытка не получила своего дальнейшего развития.

Другое направление применения математических методов для изучения языковых явлений можно объединить под именем лингвостатистики. Оно стремится вторгнуться в основные вопросы теории языка и таким образом получить признание в собственно лингвистической сфере. Для ознакомления с этим направлением лучше всего обратиться к уже упоминавшейся работе Хердана, по выражению одного из ее многочисленных рецензентов, «чудовищно претенциозной книге» [\[155\]](#) 75, получившей, однако, широкий отклик среди языковедов [\[156\]](#) 76. Ввиду того, что Хердан (на что уже указывалось выше) стремился собрать в своей книге все наиболее существенное в области применения математических методов к лингвистической проблематике, в его книге мы фактически имеем дело не столько с Херданом, сколько с целым направлением. Как показывает само название книги — «Язык как выбор и вероятность», — основное ее внимание направлено на выяснение того, что в языке предоставлено свободному выбору говорящего и что обусловлено имманентной структурой языка, точно так же, как и на

определение количественного соотношения элементов первого и второго порядка. Книга Хердана дает почти исчерпывающую информацию о всех работах в этой области, проведенных представителями разных специальностей^{<123>} (философами, лингвистами, математиками, техниками), но не ограничивается этим и включает много оригинальных наблюдений, соображений и выводов самого автора. В качестве суммирующего труда она дает хорошее представление о применяемых квантитативных методах, и о достигаемых с их помощью результатах. Вопросы, которые мы условно объединяем в раздел лингвостатистики, трактуются во второй и четвертой частях книги.

Из множества случаев применения методов математической статистики к изучению лингвистических вопросов мы остановимся на наиболее общих, которые одновременно можно рассматривать и как наиболее типичные. Используя данные других авторов — Болдрини ^[157] 77, Матезиуса ^[158] 78, Мариотти ^[159] 79, Ципфа ^[160] 80, Диуэй ^[161] 81 и др., а также приводя собственные исследования, определяющие относительную частоту распределения фонем, букв, длины слов (измеряемую количеством букв и слогов), грамматических форм и метрических элементов в латинском и греческом гекзаметре, Хердан устанавливает факт стабильности относительной частоты языковых элементов как общую характеристику всех лингвистических структур. Он выводит следующее правило: «Пропорции лингвистических элементов, принадлежащих тому или иному уровню или сфере лингвистического кодирования — фонологии, грамматике, метрике, — остаются более или менее постоянными для данного языка, в данный период его развития и в пределах достаточно обширных и беспристрастно проведенных наблюдений» ^[162] 82. Это правило, которое Хердан называет основным законом языка, он стремится определенным образом истолковать и расширить. «Он, — пишет Хердан об этом законе, — является выражением факта, что даже здесь, где человеческой воле и свободе выбора предоставлены^{<124>} широчайшие рамки, где сознательный выбор и беззаботная игра живо чередуются друг с другом, в целом существует значительная стабильность... Наши исследования обнаружили еще один фактор общего порядка: далеко идущее сходство между членами одного языкового коллектива наблюдается не только в системе фонем, в

словаре и в грамматике, но также и в отношении частоты употребления конкретных фонем, лексических единиц (слов) и грамматических фонем и конструкций; другими словами, сходство не только в том, что используется, но также и в том, как часто используется» [163] 83. Такое положение обусловливается понятными причинами, но это дает повод для новых выводов. При исследовании различных текстов или отрезков данного языка, например, обнаруживается, что относительные частоты использования данной конкретной фонемы (или других речевых элементов) разными людьми остаются в основном одними и теми же. Это и приводит к истолковыванию индивидуальных форм речи как некоторых колебаний постоянной вероятности употребления рассматриваемой фонемы в данном языке. Таким образом получается, что в своей речевой деятельности человек подчинен определенным законам вероятности в отношении количества используемых лингвистических элементов. А тогда, когда мы наблюдаем огромное количество лингвистических элементов в большой совокупности текстов или речевых отрезков, у нас создается впечатление причинной зависимости в том смысле, что в данном случае имеет место также детерминирование и в отношении использования определенных лингвистических элементов. Другими словами, оказывается допустимым утверждать, что то, что с интуитивной точки зрения представляется причинным отношением, в квантитативном плане является вероятностью [164] 84. При этом очевидно, что чем больше совокупность обследуемых текстов или речевых отрезков, тем отчетливее будет проявляться стабильность относительной частоты употребления языковых элементов также и в индивидуальном использовании (закон больших чисел). Отсюда делается новый общий вывод о том, что язык есть массовое явление и должен трактоваться как таковое.

Указанные выводы, достигнутые на основании частотных исчислений фонетических элементов, слов и грамматических форм, которые в совокупности составляют язык, применяются затем к «статистической интерпретации» проводимого Соссюром деления на «язык» (lalangue) и «речь» (laparole). По Соссюру, «язык» есть совокупность лингвистических привычек, которые делают возможным общение между членами данного языкового коллектива. Это социальная реальность, «массовое явление», обязательное для всего

говорящего на данном языке народа. Хердан, как указывалось, доказывает, что члены единого языкового коллектива сходятся друг с другом не только тем, что используют одни и те же фонемы, лексические единицы и грамматические формы, но и тем, что все эти элементы употребляются с одинаковой частотой. Таким образом, статистическое определение «языка» принимает у него следующую форму: «язык» (lalangue) есть совокупность общих лингвистических элементов плюс их относительная вероятность употребления.

Такое определение «языка» является исходным и для соответствующего статистического истолкования «речи», которая, согласно Соссюру, представляет собой индивидуальное высказывание. Противопоставляя «язык» как явление социальное «речи» как явлению индивидуальному, Соссюр писал: «Речь есть индивидуальный акт воли и понимания, в котором надлежит различать: 1. комбинации, при помощи которых говорящий субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной мысли; 2. психофизический механизм, позволяющий ему объективировать эти комбинации» [165] 85. Поскольку «язык» в лингвостатистике рассматривается как совокупность элементов с определенной относительной вероятностью их употребления, постольку он включает в себя в качестве существеннейшей характеристики статистическую совокупность или ансамбль (популяцию) и может рассматриваться в этом аспекте. В соответствии с этим «речь» превращается в отдельную выборку, взятую из «языка» как статистической совокупности. Вероятность в данном случае обуславливается отношением «речи» к «языку» (в их «квантитативном» понимании), а распределение относительной частоты употребления разных элементов языка истолковывается как результат коллективного «выбора» (choice) в определенный хронологический период существования языка. Понимая, что такая трактовка различий «языка» и «речи» строится все же на совершенно иных основаниях, чем у Соссюра, Хердан пишет в этой связи: «Эта, видимо, незначительная модификация концепции Соссюра имеет то важное следствие, что «язык» (lalangue) ныне приобретает существенную характеристику в виде статистической совокупности (популяции). Эта популяция характеризуется определенными относительными частотами или вероятностями колебаний, имея в виду, что каждый лингвистический элемент

относится к определенному лингвистическому уровню. В этом случае «речь» (laparole) в соответствии со своим значением оказывается термином для определения статистических выборок, взятых из «языка» как статистической совокупности. Становится очевидным, что выбор (choice) выступает здесь в виде отношения «речи» к «языку», являясь отношением взятой наудачу выборки к статистической совокупности (популяции). Сам порядок распределения частоты, в качестве отложения речевой деятельности языкового коллектива в течение столетий, представляет собой элемент выбора (choice), но не индивидуального выбора, как в стиле, а коллективного выбора. Употребляя метафору, мы можем здесь говорить о выборе, сделанном духом языка, если мы понимаем под этим принципы лингвистической коммуникации, находящиеся в соответствии с комплексом психических данных членов конкретного языкового коллектива. Стабильность серий есть результат вероятности (chance)» [\[166\]](#) 86.

Частным случаем приложения изложенного принципа является отграничение в языке нормативных явлений от «исключений» (отклонений). В лингвостатистике утверждается, что статистический метод позволяет устранить существующую в данном вопросе нечеткость и установить ясные критерии для разграничения указанных явлений. Если под нормой понимается статистическая совокупность (в вышеуказанном смысле), а исключением (или ошибкой) — отклонение от частот, показываемых статистической совокупностью, то количественное решение вопроса напрашивается само собой. Здесь все сводится к статистическим отношениям между «популяцией» и «отклонением». Если частоты, наблюдаемые в отдельной выборке, отклоняются от вероятностей, обусловленных статистической совокупностью, более, чем это определяется серией выборочных подсчетов, то мы имеем основание заключать, что демаркационная линия между «тем же самым» (нормой) и «не тем же самым» (исключением) оказывается нарушенной.

Количественные различия между «языком» и «речью» используются и для разграничения языковых элементов двух типов: грамматических и лексических. Исходным моментом для решения этой задачи, представляющей с лингвистической точки зрения часто большие трудности, является предположение, что степень величины частотности грамматических элементов иная, чем у лексических

единиц. Это якобы связывается с «обобщенностью» грамматических элементов, чем они отличаются от понятий, фиксированных лексическими единицами. Кроме того, грамматические элементы якобы, как правило, значительно меньше по своему объему: в качестве самостоятельных слов (к ним причисляются местоимения, предлоги, союзы и служебные слова) они обычно состоят из малого количества фонем, а в виде «связанных форм» — из одной или двух фонем ^[167] 87. Чем меньше лингвистический элемент, тем менее способна его «длина» (количественный момент) служить в качестве определяющей характеристики и тем большее значение приобретает для этой цели «качество» фонем. Какие же методы предлагаются для решения рассматриваемой проблемы? Она решается посредством обращения к чисто квантитативному понятию грамматической <128> нагрузки, «Предположим, — пишет в этой связи Хердан, — что нас интересует сравнение в указанном отношении двух языков. Каким образом мы определяем с известной степенью объективности «грамматическую нагрузку», которую несет язык? Ясно, что эта нагрузка будет зависеть от положения демаркационной линии, отграничивающей грамматику от лексики. Первое соображение, которое может прийти при этом нам в голову, заключается в том, чтобы определить, насколько «сложна» грамматика данного языка. Ведь «сложность» — качественная характеристика, а понятие «грамматической нагрузки» является количественной характеристикой. Правда, нагрузка до известной степени зависит от сложности, но не целиком. Язык может быть награжден чрезвычайно сложной грамматикой, но в деятельности языка получает применение только сравнительно небольшая ее часть. Мы определяем «грамматическую нагрузку» как совокупность грамматики, которую несет язык, когда он находится в действии, что тотчас переводит нашу проблему в область структуральной лингвистики в том смысле, в каком эта дисциплина была определена Соссюром. В последующем изложении применяются квантитативные методы определения различия языков в зависимости от того, где проходит граница, разделяющая грамматику от лексики» ^[168] 88. Иными словами, различия языков в данном случае должны быть сведены к различиям числовых отношений между грамматическими и лексическими элементами.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы рисуют следующую картину. В английском языке (учитывались лишь «грамматические слова»: местоимения, или, как они также именуются, «заместители», предлоги, союзы и вспомогательные глаголы) в отрезке, включающем 78633 случая употребления всех слов (1027 различных слов), было обнаружено 53 102 случая употребления грамматических элементов, или, точнее говоря, «грамматических слов» (149 различных слов), что составляет 67,53 % при 15,8 % различных слов. Таковы данные Диуэй [169] 89. Другие данные показывают иное процентное соотношение: 57,1 % при 5,4 % различных слов [170] 90. Такое значительное расхождение объясняется различием письменного и устного языка. Письменные формы языка (первые данные) используют якобы больше грамматических элементов, чем устные (второй случай). В «Божественной комедии» Данте (по итальянскому оригиналу) Мариотти установил 54,4 % случаев употребления «грамматических слов».

Другой и, видимо, более совершенный способ определения грамматической нагрузки языка заключается в подсчете фонем, входящих в грамматические элементы. В данном случае учитываются не только самостоятельные грамматические слова, но и связанные формы. Здесь возможны различные варианты. Например, определение относительной частоты употребления отдельных согласных фонем в грамматических элементах и сопоставление их с частотой суммарного употребления этих же фонем (итоговые данные такого соотношения в английском языке дают пропорцию 99,9 % к 100000 — суммарного употребления); или подобное же сопоставление согласных по отдельным классификационным группам (лабиальные, палатальные, велярные и прочие фонемы). Итоговое соотношение здесь принимает форму пропорции 56,47 % (в грамматических элементах) к 60,25 % (в суммарном употреблении); или такое же сопоставление начальных согласных фонем (в этом случае получилось соотношение 100,2 % в грамматических словах к 99,95 — в суммарном употреблении). Возможны и иные более сложные статистические операции, которые, однако, в результате дают подобные же количественные выражения исследуемой проблемы.

Приведенные количественные данные служат основанием для общего вывода. Он сводится к тому, что распределение фонем в

грамматических элементах обуславливает характер распределения (в числовом, конечно, выражении) фоном в языке в целом. А это в свою очередь позволяет заключить, что употребление грамматических элементов в наименьшей степени зависит от индивидуального выбора и составляет ту часть лингвистического выражения, которая контролируется вероятностью. Этот умозрительный вывод подтверждается подсчетом грамматических форм в русском языке, сделанным Есселсоном [171] 91. Исследованию было подвергнуто 46896 слов, взятых из 11 источников (произведения Грибоедова, Достоевского, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Гаршина, Белинского, Амфитеатрова, Гусева-Оренбургского, Эренбурга, Симонова и Н. Островского). Они были разделены на разговорные слова (17 756 слов, или 37,9 %) и неразговорные (29140 слов, или 62,1 %). Затем вся совокупность слов была подразделена на 4 группы в зависимости от их грамматического характера: в 1-ю группу вошли существительные, прилагательные, прилагательные в функции существительных, местоимения и склоняемые числительные; во 2-ю группу — глаголы; в 3-ю группу — отглагольные причастия, причастия в функции прилагательных и существительных и деепричастия; в 4-ю группу — неизменяемые формы наречия, предлоги, союзы и частицы. Суммарные результаты (приводятся также таблицы с данными по отдельным авторам) дают следующее соотношение:

1-я группа	
2-я группа	
3-я группа	
4-я группа	
Сумма	
разговорн.	
51,9 %	
29,7 %	
1,5 %	
16,9 %	
100,0 %	
неразговорн.	
57,1%	
24,8%	
6,0%	

12,1 %

100,0%

Хердан следующими словами характеризует рассмотрение полученных таким образом количественных данных: «Они оправдывают вывод, что грамматические элементы следует рассматривать в качестве фактора, обуславливающего вероятность лингвистического выражения. Такой вывод позволяет избежать обременительной квалификации каждого употребляемого слова. Совершенно очевидно, что, поскольку грамматика и лексика не хранятся в водонепроницаемых оболочках, ни та и ни другая не являются чистым «выбором» (choice) или чистой «вероятностью» (chance). И грамматика и лексика содержат оба элемента, хотя и в значительно варьирующихся пропорциях» [172] 92. <131>

Большой раздел книги Хердана посвящен исследованию в языке двухплановости или двойственности (duality), причем само понятие двойственности основывается им на математических характеристиках.

Так, теоремы в проективной геометрии можно располагать в два ряда, так что каждая теорема одного ряда может быть получена из некоторой теоремы другого ряда посредством замены друг на друга слов *точка* и *прямая*. Например, если дано положение: «любые различные точки принадлежат одной и только одной прямой», то мы можем из него вывести соотнесенное ему положение: «любые две различные прямые принадлежат одной и только одной точке». Другим методом определения двойственности является нанесение по оси абсцисс и оси ординат разных планов исследуемого явления. Так, как это, например, делает Юл [173] 93, по оси абсцисс отсчитываются различные частоты употребления, а по оси ординат — количество лексических единиц, у которых определяется частотность и т. д. Так трактуется понятие двойственности, якобы в равной мере применимое и к лингвистическим исследованиям.

Под определенное таким образом понятие двойственности, которое во всех случаях фактически имеет характер бинарного кода и которое также считается самой существенной чертой языковой структуры, подводятся чрезвычайно разнокачественные явления, допускающие противоположение по двум планам: распределение употребления слов соответственно характеру лексических единиц и распределение лексических единиц соответственно частоте употребления слов;

письменную и разговорную формы речи; лексические и грамматические элементы; синонимы и антонимы; фонема и ее графическое изображение; определяемое и определяющее (соссюровские *signifiant* и *signifié*) и т. д.

После квантитативного исследования двойственности того или иного частного, языкового явления или ограниченного «текста», как правило, делается вывод, которому приписываются качества лингвистической универсальности. Характер подобных выводов и способ их обоснования можно проследить на примере<132> исследования двойственности слова и понятия (фактически же речь идет о соотношении длины слова и объема понятия — надо иметь в виду, что чрезвычайно свободное употребление лингвистических и иных терминов в подобных работах часто весьма затрудняет понимание). Важно при этом отметить, что в качестве материала, послужившего источником наблюдений данного вида лингвистической двойственности, были использованы: международная номенклатура болезней (около 1000 названий) и общий регистр заболеваний по Англии и Уэллсу за 1949 г. В этом случае делается следующий общий вывод: «Каждое понятие, обозначающее общую идею, имеет то, что можно назвать «сферой» или «объемом». Оно позволяет через свое посредство думать о многих предметах или других понятиях, находящихся внутри его «сферы». С другой стороны, все предметы, необходимые для определения понятия, составляют то, что называется его «содержанием». Объем и содержание взаимно соотносимы — чем меньше содержание и соответственно чем более абстрактно понятие, тем больше его сфера или объем, т. е. тем больше объектов подводится под него. Это можно рассматривать как аналогию (в понятийной сфере) принципам кодирования, соответственно которым длина символа и частота употребления взаимозависимы» [174] 94.

Принцип двойственности применяется и к частным проблемам. Например, при установлении эквивалентности значений слов двух разных языков. В результате изучения англо-немецкого словаря Мюре — Зандерса с применением математического метода итераций делается вывод, что вероятность употребления английского слова с одним или больше значениями в немецком переводе остается постоянной для каждой начальной буквы во всем словаре [175] 95. Рассмотрение порядка расположения слов в китайских словарях

приводит к заключению, что он носит таксономический характер, так как количество черт в иероглифе указывает его место (как самостоятельного радикала или определенного подкласса, подчиняющегося радикалу). Таксономия представляет собой соподчиняющий принцип классификации, применяющийся в зоологии и ботанике. Хердан утверждает, что^{<133>} основы китайской лексикографии также строятся на принципах таксономии ^[176] 96 и т. д.

Делая общую оценку данного направления применения математических методов к изучению лингвистических проблем (т. е. лингвостатистики), необходимо, видимо, исходить из того положения, которое было сформулировано Эттингером: «Математика может быть эффективно использована на службе лингвистики только тогда, когда языковедам будут ясны реальные границы ее применения, так же как и возможности используемых математических моделей» ^[177] 97. Иными словами, о математической лингвистике речь может идти тогда, когда математические методы докажут свою пригодность для решения тех собственно лингвистических задач, которые в своей совокупности составляют науку о языке. Если же этого нет, хотя при этом, возможно, и открываются новые аспекты научного исследования, то в таком случае можно говорить о чем угодно, но только не о лингвистике — в данном случае имеются в виду не разные виды прикладной лингвистики (о ней еще будет речь ниже), а научное, или теоретическое, языкознание. Исходя из этой позиции, следует отметить, что с точки зрения лингвиста многое в лингвостатистике вызывает сомнение и даже недоумение.

Обратимся к разбору только двух примеров (чтобы не загромождать изложения), оговорившись, что весьма существенные возражения можно сделать по каждому из них. Вот перед нами количественное разграничение грамматических и лексических единиц. Оказывается, для того, чтобы произвести такое разграничение, необходимо уже заранее знать, что относится к области грамматики, а что — к лексике, так как «грамматическая нагрузка» языка (т. е. совокупность употребляемых в речи грамматических элементов), как указывается в приводившейся выше цитате, «зависит от демаркационной линии, отграничивающей лексику от грамматики». Не зная, где пролегает эта линия, нельзя, следовательно, и провести указанного разграничения. В чем же тогда смысл количественного

способа разграничения лексического от грам<134>матического? Впрочем, что касается Хердана, то он особенно не задумывается над этим вопросом и смело классифицирует языковые элементы, относя к грамматическим элементам «связанные формы», под которыми, судя по изложению, следует понимать внешнюю флексию, и «грамматические слова», куда относятся предлоги, союзы, вспомогательные глаголы и местоимения — последние в силу того, что они являются «заместителями». Но если говорить только об этом качестве местоимений и на этом основании относить их к грамматическим элементам, то тогда к ним, очевидно, следует отнести и такие слова, как «вышеупомянутый», «названный», «данный» и т. д., так как они тоже выступают в качестве заместителей. В связи с применяемым в лингвостатистике способом выделения грамматических элементов естественно возникает вопрос, как же поступать в этом случае с такими «не имеющими вида» грамматическими явлениями, как порядок слов, тоны, нулевые морфемы, парадигматические отношения (часть этих явлений, кстати говоря, находит отражение и в тех языках, которые исследуются математическими методами)? Как проводить разграничение в языках с богатой внутренней флексией (как, например, в семитских языках), где она осуществляет не только грамматическую модификацию корня (радикала), но и сообщает ему лексическое существование, так как корень без перегласовок не имеет реального существования в языке? Что следует понимать под грамматической сложностью языка, каким критерием она определяется? Если количественным моментом, который в этом случае всячески подчеркивается, то тогда одним из самых сложных в грамматическом отношении языков окажется английский, обладающий такими конструкциями, как *I shall have been calling* или *He would have been calling*. В этих предложениях только *call* можно отнести к лексическому, а все остальное, следовательно, надлежит считать грамматическим. Какие существуют основания связывать частотность употреблений грамматических элементов с обобщенностью или абстрактностью значений грамматических слов? Ведь совершенно очевидно, что относительно большая частота употребления грамматических элементов определяется их функцией в построении предложений, а что касается абстрактности значений, то очень просто найти

большое<135> количество лексических элементов, которые легко в этом отношении могут соревноваться с грамматическими элементами, во многом уступая им в частотности (например, *бытие, существование, протяженность, пространство, субстанция* и т. д).

Подобного же рода несуразности встают перед нами и в случае с определением двойственности (duality) слова и понятия. Надо обладать чрезвычайно своеобразным пониманием структурной сущности языка, чтобы подвергать ее исследованию, пользуясь номенклатурой болезней и больничным регистром заболеваний, что, как указывалось выше, послужило исходным материалом для весьма ответственных лингвистических выводов. Не останавливаясь на совершенно неясном употреблении таких не имеющих лингвистического бытия терминов, как сфера, объем и содержание понятия (кстати говоря, при этом грубо путаются лексическое значение слова и обозначаемое научным термином понятие), обратимся к заключению, которое в этом случае делается. Как указывалось выше, мы имеем дело с утверждением, что «объем и содержание взаимно соотносимы». Весь ход рассуждения, который дает основание для такого вывода, так же как и способ математического оперирования языковыми фактами, отчетливо показывает, что в этом случае совершенно не учитывается одно весьма существенное качество языка, которое опрокидывает все проводимые расчеты: способность выражать одно и то же «содержание» лингвистическими единицами разного «объема», несомненно обладающими к тому же разной относительной частотой употребления. Так, одно и то же лицо мы можем обозначить как Петров, мой знакомый, он, москвич, молодой человек, сотрудник университета, брат моей жены, человек, которого мы встретили на мосту, и т. д. В свете подобных фактов сомнения вызывают не только частные выводы, которым, однако, как указывалось, придается универсальное значение, но и целесообразность применения самих квантитативных методов к подобного рода лингвистическим проблемам.

Но иногда лингвистам предлагаются выводы, справедливость которых не вызывает никакого сомнения. Таковым является «основной закон языка», заключающийся в том, что в языке наблюдается определенная стабильность его элементов и относительной частоты их упо<136>требления. Беда подобного рода открытий заключается,

однако, в том, что они давно известны лингвистам. Ведь совершенно очевидно, что если бы язык не обладал известной стабильностью и каждый член данного языкового коллектива свободно варьировал элементы языка, то не было бы возможно взаимное общение и само существование языка стало бы бессмысленным. А что касается распределения относительной частоты употребления отдельных элементов языка, то она нашла свое выражение в языкознании в виде выделения категорий пассивной и активной лексики и грамматики, чему так много уделял внимания Л. В. Щерба. В данном случае статистические методы могут оказать помощь лингвистам только в распределении конкретных языковых элементов по разрядам относительной частоты их употребления, но не имеют никаких оснований претендовать на открытие каких-то новых закономерностей, представляющих ценность для теоретической лингвистики.

С другой стороны, лингвостатистика предлагает ряд действительно «оригинальных» выводов, которые чрезвычайно показательны для характера научного мышления ее адептов. Так, сложными статистическими методами исследуется «политическая лексика» в трудах Черчилля, Бенеша, Халифакса, Штреземана и других, причем в подсчетах для неанглоязычных авторов используются переводы их работ на английский язык. Результаты подсчетов представлены в виде многочисленных таблиц, математических формул и уравнений. Лингвистическая интерпретация квантитативных данных в этом случае сводится всего лишь к тому, что употребление Черчиллем «политической лексики» является наиболее типичным (?) для данной группы авторов и что использование Черчиллем слов в тех случаях, когда он касается политических вопросов, типично для английского речевого коллектива [\[178\]](#) 98.

В другом случае после соответствующих статистических манипуляций делается вывод, что Гитлер в словоупотреблении нацистской Германии нарушил двойственность между «языком» и «речью» в квантитативном понимании этих терминов. Частным случаем уничтожения этой двойственности является буквальное понима¹³⁷ние метафорических оборотов (например, «сыпать соль в открытые раны»). Нацистская Германия заклеила себя таким количеством бесчеловечных поступков, что едва ли есть надобность уличать ее и в этом лингвистическом злодействе [\[179\]](#) 99. К нарушению лингвистической двойственности ведет, по утверждению Хердана, и определение Марксом языка как непосредственной действительности мысли, а закон диалектики о переходе явления в свою противоположность есть, по его мнению, неправильно понятый лингвистический закон двойственности языка [\[180\]](#) 100. Подобного рода интерпретации говорят сами за себя.

Наконец, общим недостатком, свойственным всем приведенным случаям квантитативного способа изучения лингвистического материала и тем самым приобретающим уже методологический характер, является подход к языковым элементам как к механической совокупности абсолютно независимых друг от друга фактов, в соответствии с чем, если при этом и вскрываются какие-либо закономерности, то они относятся только к числовым отношениям распределения автономных фактов, вне их системных зависимостей.

Правда, Дж. Уотмоу всячески стремится уверить, что именно математика лучше, чем любой вид лингвистического структурного анализа, способна вскрыть структурные особенности языка. «Современная математика, — пишет он, — занимается не измерением и исчислением, точность которых по самой своей природе ограничена, но в первую очередь структурой. Вот почему математика в высшей степени способствует точности изучения языка — в такой степени, на какую не способно раздельное описание, еще более ограниченное по своей природе... Так же как в физике математические элементы используются для описания физического мира, поскольку предполагается, что они соответствуют элементам физического мира, так и в математической лингвистике математические элементы предположительно должны соответствовать элементам мира речи» [\[181\]](#) 101. Но такая постановка вопроса отнюдь не спасает положения, так как в лучшем случае она может ^{<138>} дать анализ языка либо как физической структуры, что для языка еще далеко не достаточно, и в конечном счете носит все тот же механистический характер, либо как логико-математической структуры, а это переносит язык в иную и во многом чуждую ему плоскость [\[182\]](#) 102. Не лишне при этом отметить, что успехи математической лингвистики Уотмоу предвидит только в будущем, а что касается их реальных результатов, то он дает им оценку в следующих словах: «...почти вся работа, выполненная по настоящее время Херданом, Ципфом, Юлом, Гиро (Guiroux) и другими, находится отнюдь не за пределами критики как со стороны лингвистики, так и математики; она в значительной мере отдает любительщиной» [\[183\]](#) 103. Таким образом, если не пытаться предсказывать будущее математических методов в лингвистических исследованиях, а постараться по заслугам оценить то, чем мы располагаем на сегодняшний день, то по необходимости придется признать, что математика фактически пока ограничивалась в области языкознания лишь «измерением и подсчетом», а качественного анализа языка, вникающего в его структуру, не смогла дать. ^{<139>}

Постараемся все же быть максимально объективными. В известной своей части квантитативные данные, видимо, могут быть использованы лингвистикой, но лишь в качестве вспомогательных и по преимуществу в проблемах, имеющих практическую направленность. В отношении же большей части квантитативных способов изучения

отдельных лингвистических явлений, несомненно, оправдан общий вывод Р. Брауна: «Их можно рассматривать так, как их рассматривает Хердан, но каков смысл всего этого?» ^[184] 104. Представим себе, что мы задаем вопрос: «Что собой представляют деревья в этом саду?». И в ответ получаем: «В этом саду сто деревьев». Разве это ответ на наш вопрос и разве действительно он имеет смысл? А ведь в отношении многих лингвистических вопросов математические методы дают именно такого рода ответы.

Однако существует широкая область исследовательской деятельности, использующая по преимуществу математические методы и в то же время ориентирующая их на языковой материал, где целесообразность такого объединения не вызывает никакого сомнения. «Смысл» этой исследовательской деятельности, ее значимость обуславливается теми целями, к которым она стремится. Она уже апробирована практикой. Речь в данном случае идет о проблемах, связанных с созданием информационных машин, конструкций для машинного перевода письменных научных текстов, автоматизацией перевода устной речи с одного языка на другой и со всем тем комплексом задач, которые объединяются в лингвистических вопросах кибернетики. Всей совокупности подобных проблем обычно присваивают общее наименование прикладной лингвистики. Тем самым она отграничивается от так называемой математической лингвистики, включающей те направления работы, которые выше были обозначены как стилостатистика и лингвостатистика, хотя отнюдь не избегает статистической обработки лингвистического материала. Пожалуй, наиболее важной чертой прикладной лингвистики, отделяющей ее от математической лингвистики, как она обрисовывалась выше, является то, что первая имеет обратную направленность: не математика для лингвистики, но лингвистика^{<140>} (формализованная математическими методами) для широкого комплекса практических задач.

Нет надобности раскрывать содержание отдельных проблем, включающихся в ныне чрезвычайно широкую область прикладной лингвистики. В противоположность математической лингвистике, эти проблемы активно обсуждаются в советской лингвистической литературе и справедливо начинают занимать все более видное место в научной проблематике исследовательских институтов ^[185] 105. Таким

образом, они уже достаточно известны нашей лингвистической общественности. Это обстоятельство, однако, не освобождает нас от необходимости подвергнуть их осмыслению, в частности, с точки зрения принципов науки о языке. Это несомненно поможет устранению недоразумений, которые все чаще и чаще возникают между представителями весьма далеких друг от друга наук, принимающих участие в работе над проблемами прикладной лингвистики, и наметит пути их сближения, с одной стороны, и разграничения областей исследования, с другой стороны. Само собой разумеется, что нижеследующие соображения будут представлять точку зрения лингвиста, и необходимо, чтобы математики не только постарались ее усвоить, но в связи с поднимающимися вопросами дали им свою трактовку.

Лингвиста-теоретика никак не может удовлетворить то обстоятельство, что во всех случаях исследования явлений языка в тех целях, которые ставятся прикладной лингвистикой, основой их служит математическая модель. В соответствии с этим наблюдения над явлениями языка и получаемые при этом результаты выражаются в терминах и понятиях математики, т. е. посредством математических уравнений и формул. Обратимся для наглядности к примеру. Кондон [186] 106 и Ципф [187] 107 установили, что логарифмы частоты (f) употребления слов в тексте большого объема располагаются почти на прямой линии, если на диаграмме соотнести их с логарифмами ранга или разряда (r) этих слов. Уравнение $f = c \cdot r$, где c является константой, отражает это отношение в том ограниченном смысле, что $c \cdot r$ для заданного значения r с большой приближенностью воспроизводит наблюдаемую частоту. Отношение между f и r , выраженное математической формулой, является моделью для отношений между наблюдаемыми значениями частоты употребления и ранга, или разряда, слов. Таков один из случаев математического моделирования. [188]

Вся теория информации целиком базируется на математической модели процесса коммуникации, разработанной К. Шенноном [189] 108. Она определяется как «математическая дисциплина, посвященная способам вычисления и оценке количества информации, содержащейся в каких-либо данных, и исследованию процессов хранения и передачи информации» (БСЭ, т. 51, стр. 128).

Соответственно и основные понятия теории информации получают математическое выражение. Информация измеряется битами или двоичными единицами (код, которому уподобляется и язык, с двумя условными равно вероятными сигналами передает одну двоичную единицу информации при передаче каждого символа). Избыточность определяется как «разность между теоретически возможной передающей способностью какого-либо кода и средним количеством передаваемой информации». Избыточность выражается в процентах к общей передающей способности кода» [190] 109 и пр. Точно так же и для машинного перевода необходима алгоритмическая разработка отображения элементов одного языка в другом и т. д. [191] 110. Таковы другие случаи моделирования.

Использование моделей вне всякого значения может оказать весьма существенную помощь, в частности, по всей вероятности, при решении тех задач, которые ставит перед собой прикладная лингвистика. Однако для теоретического языкознания весьма существенным является то обстоятельство, что абстрактная модель, как правило, не воспроизводит всех особенностей действительного явления, всех его функциональных качеств. Так, архитектор, перед тем как построить дом, может создать его модель, воспроизводящую во всех мельчайших деталях проектируемый дом, и это помогает ему решить ряд практических вопросов, связанных с постройкой самого дома. Но такая модель дома, какой бы она точной ни была, лишена той «функции» и того назначения, ради чего строятся вообще все дома — она не способна обеспечить человека жильем. Аналогичным образом обстоит дело и с языком, где модель не всегда способна воспроизвести все его качества. В данном же случае дело усложняется еще и тем, что для построения модели используются не собственно лингвистические, а математические мерилы. «Математические модели... — пишет А. Эттингер, — играют чрезвычайно важную роль во всех областях техники, но поскольку они являются орудием синтеза, их значение для лингвистики, являющейся в первую очередь исторической и описательной дисциплиной, естественно имеет ограниченный характер» [192] 111.<143>

Математическое моделирование языка фактически применимо только к его статическому состоянию, которое для языковеда является условным и в действительности находится в прямом противоречии с

основным качеством языка, самой формой существования которого является развитие. Само собой разумеется, статическое изучение языка отнюдь не исключается и из языкознания и является основой при составлении нормативных грамматик и словарей, описательных грамматик, практических грамматик и словарей, служащих пособием для практического изучения иностранных языков, и т. д. Однако во всех таких работах, имеющих по преимуществу прикладной характер, языковеды идут на сознательное ограничение поля исследования и отнюдь не закрывают глаза на другие аспекты языка ^[193] 112. При статическом рассмотрении языка, в частности, совершенно пропадают из поля зрения исследователя такие качества языка, связанные с его динамическим характером, как продуктивность, зависимость от форм мышления, широкое взаимодействие с культурными, социальными, политическими, историческими и прочими факторами. Только в плане синхроническом можно язык рассматривать как систему условных знаков или кодов, что, однако, оказывается совершенно неправомерным, как только мы становимся на более подходящую для языка динамическую точку зрения. Именно в процессах развития проявляются такие качества языка, как мотивированность, не имеющая стабильных границ многозначность слов, неавтономность значения слова и его звуковой оболочки, связанные с контекстом творческие потенции слова, а это все находится в резком противоречии с основными характеристиками кода или знака ^[194] 113. Очевидно, в прикладной лингвистике также можно отмысливаться от всех этих качеств языка и в практических целях довольствоваться, так сказать, «моментальным снимком» языка, который все же способен дать достаточно приближенное представление о механизме его функционирования. Однако каждый такой «моментальный снимок», если его рассматривать как факт языка, а не как факт системы условных кодов, должен быть включенным в бесконечный процесс движения, в котором язык всегда пребывает ^[195] 114. Его нельзя изучать вне тех конкретных условий, которые характеризуют это движение, накладывающее свой отпечаток на данное состояние языка и обуславливающее потенции дальнейшего его развития. Здесь существует такая же разница, как между моментальной фотографией человека и его портретом, написанным кистью истинного художника. В произведении художника перед нами обобщающий образ человека

во всем своеобразии не только его физического облика, но и внутреннего духовного содержания. По художественному портрету мы можем прочесть и прошлое запечатленного на нем человека и определить, на что он способен в своих поступках. А моментальная фотография, хотя и способна дать более точное изображение внешности оригинала, лишена этих качеств и нередко фиксирует и случайный прыщ, вскочивший на носу, и¹⁴⁵ совершенно нехарактерную позу или выражение, что в конечном счете приводит к искажению и оригинала.

Следует оговориться, что способ «моментальных снимков» можно, конечно, применять и к фактам развития языка. Но в этом случае мы в действительности будем иметь дело только с отдельными состояниями языка, которые при квантитативной своей характеристике оказываются связанными не в большей мере, чем сопоставительная квантитативная характеристика разных языков. Подобного рода квантитативная «динамика» ничего органического не будет заключать в себе, и связь отдельных состояний языка будет покоиться только на сопоставлении числовых отношений. Если и в этом случае прибегать к аналогии, то можно сослаться на рост ребенка. Его развитие, разумеется, можно представить в виде динамики числовых данных о его весе, росте, изменяющихся отношений объема частей его тела, но все эти данные абсолютно отрешены от всего того, что в первую очередь составляет индивидуальную сущность человека — его характера, склонностей, привычек, вкусов и т. д.

Другой негативной стороной математического «моделирования» языка является то обстоятельство, что оно не может служить тем общим принципом, на основе которого можно осуществить всестороннее и всеобъемлющее — систематическое описание языка. Только лишь математический подход к явлениям языка, например, не даст возможности ответить даже на такие коренные вопросы (без которых немыслимо само существование науки о языке), как: что такое язык, какие явления следует относить к собственно языковым, как определяется слово или предложение, каковы основные понятия и категории языка и пр. Прежде чем обратиться к математическим методам исследования языка, необходимо уже заранее располагать ответами (хотя бы и в форме рабочей гипотезы) на все эти вопросы. Нет надобности закрывать глаза на то, что во всех известных нам

случаях исследования языковых явлений математическими методами все указанные понятия и категории неизбежно приходилось принимать таковыми, как они были определены традиционными или, условно говоря, качественными методами.

Эту особенность математических методов в их лингвистическом применении отметил Спанг-Хансен, когда писал: «Следует иметь в виду, что наблюдаемые факты, получающие количественное выражение... не имеют ценности, если они не составляют части описания, а для лингвистических целей это должно быть систематическое описание, тесно связанное с качественным лингвистическим описанием и теорией» [196] 115. В другом выступлении Спанг-Хансена мы встречаем уточнение этой мысли: «До тех пор, пока не будет доказана возможность построения количественной системы, и до тех пор, пока существует общепринятая качественная система для данной области исследования, частотные подсчеты и иные числовые характеристики с лингвистической точки зрения не имеют никакого смысла» [197] 116. Подобные же идеи высказывает и Удалль, несколько неожиданно связывая их с разработкой, общетеоретических основ глоссематики: «Когда лингвист считает или измеряет все то, что он считает и измеряет, само по себе определяется не количественно; например, слова, когда они подсчитываются, определяются, если они вообще определяются, в совершенно иных терминах» [198] 117. <147>

Таким образом оказывается, что как в теоретическом отношении, так и в практическом их применении, математические методы находятся в прямой зависимости от лингвистических понятий и категорий, определенных традиционными, филологическими, или, как говорилось выше, качественными методами. В плане прикладного языкознания важно осознание этой зависимости, а следовательно, и знакомство со всей совокупностью основных категорий традиционной лингвистики.

Нет, правда, никаких оснований упрекать представителей точных наук, работающих в области прикладной лингвистики, в том, что они не используют данных современной лингвистики. Это не соответствует действительному положению вещей. Они не только отлично знают, но и широко используют в своей работе установленные лингвистами системы дифференциальных признаков, свойственные

разным языкам, дистрибуцию и аранжировку языковых элементов в пределах конкретных языковых систем, достижения акустической фонетики и т. д. Но в этом случае необходима весьма существенная оговорка. Фактически представители точных наук пользуются данными только одного направления в языкознании — так называемой дескриптивной лингвистики, которая сознательно отграничилась от традиционных проблем теоретического языкознания, далеко не покрывает собой всего поля лингвистического исследования, с собственно лингвистической точки зрения обладает существенными методическими недостатками, что и привело ее к вскрывшемуся в последнее время кризису ^[199] 118, и, кроме того, имеет сугубо практическую направленность, соответствующую интересам прикладной лингвистики. К дескриптивной лингвистике применимы все те оговорки и упреки, которые выше были сделаны в адрес статического рассмотрения языка. Подобный односторонний подход дескриптивной лингвистики может, следователь<148>но, оправдываться только теми задачами, которые ставит перед собой прикладная лингвистика, но он далеко не исчерпывает всего содержания науки о языке.

В процессе разработки вопросов прикладного языкознания могут возникнуть и фактически уже возникли новые теоретические проблемы. Некоторые из этих проблем тесно связаны с конкретными задачами прикладного языкознания и направлены на преодоление тех трудностей, которые возникают при разрешении этих задач. Другие проблемы имеют прямое отношение к теоретическому языкознанию, позволяя в новом аспекте взглянуть на традиционные представления или открывая новые области лингвистического исследования, новые понятия и теории. К числу этих последних, например, относится проблема создания «машинного» языка (или языка-посредника), которая самым тесным образом связана со сложным комплексом таких кардинальных вопросов теоретического языкознания, как взаимоотношение понятий и лексических значений, логики и грамматики, диахронии и синхронии, знаковой природы языка, сущности лингвистического значения, принципов построения искусственных языков и т. д. ^[200] 119. В этом случае особенно важно наладить взаимопонимание и содружество в общей работе представителей лингвистических дисциплин и точных наук. Что

касается лингвистической стороны, то речь в данном случае, видимо, должна идти не о том, чтобы уже заранее ограничивать усилия, например, конструкторов переводческих машин» и пытаться установить рабочие возможности подобных машин стихами Н. Грибачева или прозой В. Кочетова [\[201\]](#) 120. Машина сама найдет границы своих возможностей, а рентабельность — пределы ее использования. Но языковеды в качестве своего вклада в общее дело должны внести свое знание особенностей структуры языка, ее многогранности, внутренних перекрещивающихся отношений ее элементов, а также широких и многосторонних связей языка с физическими, физиологическими, психическими и логическими явлениями, специфическими закономерностями функционирования и развития языка. Вся совокупность этих знаний необходима конструкторам соответствующих машин, чтобы не блуждать в неверных направлениях, но сделать поиски целеустремленными и четко ориентированными. Даже и тот весьма краткий обзор случаев применения математических методов к лингвистической проблематике, который был сделан в настоящем очерке, убеждает, что такие знания отнюдь не будут лишними для представителей точных наук.

На основании всех изложенных соображений можно, очевидно, прийти к некоторым общим выводам.

Итак, математическая лингвистика? Если под этим понимается применение математических методов в качестве универсальной отмычки для решения всех лингвистических проблем, то такие претензии следует признать абсолютно неправомерными. Все, что было сделано в этом направлении, пока очень мало или даже совсем не способствовало решению традиционных проблем науки о языке. В худшем случае применение математических методов сопровождается очевидными нелепостями или же с лингвистической точки зрения является абсолютно бессмысленным. В лучшем случае математические методы могут быть использованы в качестве вспомогательных приемов лингвистического исследования, будучи поставлены на службу конкретным и ограниченным по своему характеру лингвистическим задачам. Ни о какой «квантитативной философии языка» при этом не может быть и речи. На самостоятельность науки о языке в свое время посягали и физика, и

психология, и физиология, и логика, и социология, и этнология, но не смогли подчинить себе языкознание. Случилось обратное — языкознание воспользовалось достижениями этих наук и в нужной для себя мере стало пользоваться их помощью, обогатив тем самым арсенал своих исследовательских приемов. Теперь, видимо, наступила очередь математики. Следует надеяться, что это новое содружество также будет способствовать укреплению науки о языке, совершенствованию его рабочих приемов, увеличению их многообразия. О математической лингвистике, следовательно, правомерно в такой же степени говорить, как и о физической лингвистике, физиологической лингвистике, логической лингвистике, психологической лингвистике и<150> т. д. Таких лингвистик нет, есть только одна лингвистика, с пользой для себя реализующая данные других наук в качестве вспомогательных исследовательских средств. Таким образом, нет никаких оснований отступать перед натиском новой науки и с легкостью уступать ей завоеванные позиции. Здесь очень уместно вспомнить слова А. Мартине: «Быть может, это и соблазнительно — присоединиться путем использования нескольких удачно выбранных терминов к тому или иному крупному движению мысли, или заявить какой-нибудь математической формулой о строгости своего рассуждения. Однако лингвистам уже пришло время осознать самостоятельность их науки и освободиться от того комплекса неполноценности, который заставляет их связывать любое свое действие с тем или иным общенаучным принципом, в результате чего контуры действительности всегда делаются лишь более расплывчатыми, вместо того, чтобы стать более четкими» [\[202\]](#) 121.

Следовательно, математика сама по себе и языкознание само по себе. Это отнюдь не исключает их взаимной помощи или дружеской встречи в совместной работе над общими проблемами. Такого рода местом приложения согласных усилий двух наук и является весь широкий круг проблем, входящих в прикладное языкознание и обладающих большой народнохозяйственной значимостью. Следует пожелать только, чтобы в своей совместной работе обе науки проявили максимум взаимопонимания, что, несомненно, будет способствовать и максимальной плодотворности их сотрудничества.<151>

Развитие языка

Научное изучение процессов развития направляется на вскрытие в этих процессах определенных закономерностей. Обнаруженные посредством эмпирического изучения материала (в историческом плане) закономерности выражаются в известных формулах — законах. Характер подобных законов может быть различным и зависит от специфики изучаемых явлений, но вместе с тем последние должны обладать некоторыми общими характеристиками, которые философия диалектического материализма предполагает обязательными для каждого закона.

Понятие закона в языкознании не только не имеет четкого определения, но нередко истолковывается противоречивым образом. Есть все основания полагать, что такое положение обусловливается в первую очередь тем обстоятельством, что все то, что обычно принято называть лингвистическими законами, не рассматривают с точки зрения указанных общих характеристик, обязательных для любого закона. Именно поэтому представляется необходимым вопрос о развитии языка рассмотреть сначала с этой стороны.

Лингвистические законы

Понятие лингвистического закона, получившего широкое хождение в лингвистической школе младограмматиков, несомненно, было подготовлено предшествовавшей деятельностью представителей натурализма в языкознании — А. Шлейхера и М. Мюллера, которые рассматривали язык как природный организм и стремились подвести отдельные периоды развития языка под стадии роста живого организма. Вдохновляемая успехами естественных наук XIX в. и стремясь соперничать с ними в методической точности, сравнительная грамматика старается опереться на законы, становится наукой законополагающей. Универсализируя исторический подход к изучению языка, младограмматики наивысшую и единственную законную цель науки видели в установлении в эволюции языка регулярных процессов, которые после подведения их под известные формулы и определения наличия специфических условий (места, времени, сочетания элементов) объявлялись законами. Так как упор в такого рода исследованиях делался на фонетику, где регулярные «единообразия, возникающие в известном языке и в известное время и имеющие силу только для этого языка и времени» [203] 1 (что и составляет сущность подобного закона) обнаруживаются с наибольшей наглядностью, то история языка превращалась в возможно более детальное перечисление по преимуществу фонетических законов. Примером подобных фонетических законов может служить смягчение в русском языке гортанных в позиции перед *ы* (*кы, гы, хы* > *ки, ги, хи*), которое происходило в XII–XIV вв., или отвердение шипящих и *ц*, которое закончилось к XVI–XVII вв. Эти законы перечисляются вне всякой связи друг с другом и с другими сторонами языка.

Если понятие закона применялось к другим сторонам языка, например к морфологии, то сущность подобного морфологического закона оставалась такой же, как и в фонетическом законе; он представляет все ту же формулу регулярного соответствия — только на этот раз морфологических форм. Специфические особенности грамматики сравнительно с фонетикой при этом совершенно не учитываются. «То, что справедливо по отношению к фонетике, —

пишет А. Мейе, — справедливо также и по отношению к морфологии. Подобно тому как артикуляционные движения должны быть снова комбинированы<153> всякий раз, как произносится слово, точно так же и все грамматические формы, все синтаксические сочетания бессознательно создаются снова для каждой произносимой фразы соответственно навыкам, установившимся во время усвоения языка. Когда эти привычки изменяются, все формы, существующие только благодаря существованию общего типа, по необходимости тоже изменяются. Когда, например, по-французски под влиянием *tu aimes* «ты любишь», *il aime(t)* «он любит» стали говорить в 1-м лице *j'aime* «я люблю» вместо прежнего *j'aim* (отражающего лат. *amo*), все глаголы того же спряжения получили также — *e* в 1-м лице: распространение — *e* на первое лицо является морфологическим законом и притом столь же строгим, как любой «фонетический закон». Морфологические нововведения сравнительно с фонетическими изменениями не оказываются ни более капризными, ни менее регулярными; и формулы, которыми мы располагаем, выражают только соответствия, а не самые действия, вызывающие эти нововведения» [204]

2. В этом определении морфологического закона опять-таки отсутствует указание на закономерную связь явлений, обусловленных структурным характером языка.

Иное понимание закономерности языковых явлений представлено в универсальных законах глоссематики. Если лингвистические законы младограмматиков формулировались для отдельных языков и тем самым учитывали особенности конкретных языков, то представители этого направления языкознания стремятся установить формулы отношения между элементами языковых структур, которые были бы пригодны для всех языков и для всех этапов их развития.

Другим видом подобных же универсальных или панхронических законов фактически являются в значительной мере априорные теоретические построения некоторых языковедов. К числу таких панхронических законов принадлежит, по сути говоря, бинарная теория Р. Якобсона. Сущность этой теории заключается в том, что все фонологические противопоставления расчленяются на бинарные противопоставления, в соответствии с чем, например, система гласных *i — e — a* членится на<154> (*i — e*): (*— a*) и далее на *i*: *e* и: *a*. Принцип бинарности распространяется им и на морфологические явления [205]

3. Аналогичный характер носит попытка Р. Якобсона классифицировать противопоставления в зависимости от порядка, в каком они усваиваются детьми по мере овладения языком. Р. Якобсон утверждает, что этот порядок точно противоположен тому, в котором больные, страдающие афазией, теряют способность пользоваться фонологической системой. Установленная данным способом последовательность якобы такова, что ни в одном языке не может существовать более или менее всеобъемлющего противопоставления, если в этом языке нет противопоставлений, предшествующих ему в указанной последовательности [206]

4. Речь, следовательно, в данном случае идет о том, что порядок усвоения детьми различных звуковых типов характеризуется закономерным постоянством, обусловленным распространением этих типов в различных языках. Всеобщие законы соединения (комбинаций) фонем стремился установить Б. Трнка. В качестве такого универсального закона он выдвигает положение, в соответствии с которым в пределах одной морфемы не могут стоять два члена одной коррелятивной пары [207]

5. Н. Трубецкой многочисленными примерами доказывает несостоятельность этого закона [208]

6, но не отказывается от самой идеи установления всеобщих законов комбинации фонем и в качестве такового со своей стороны выдвигает закон несовместимости различительной долготы с различительным ударением [209]

7. Не вдаваясь в<155> подробный анализ такого рода всеобщих законов, нельзя не согласиться с мнением А. Мартине, отмечающего следующее их негативное качество: «Указанные формулировки, которым хотят придать характер «панхронических законов», заслуживают критики в особенности потому, что, будучи облечены в форму прорицаний, они навязываются исследователю и скрывают действительные отношения между изучаемыми объектами» [210]

8.

Оригинальное понимание лингвистического закона представлено в Пражской лингвистической школе. «Законы, управляющие высказываниями в данном языке, — пишут по этому поводу Б. Трнка и др., — как и законы естественных наук, следует считать законами абстрактными, но действующими и поддающимися контролю. По своему характеру они — в отличие от законов естествознания, действующих механически, — являются нормирующими

(нормотетическими) и, следовательно, имеют силу только для определенной системы и в определенное время. Если эти законы закрепляются, например, в грамматике, они оказывают обратное нормирующее влияние на индивидуумы, усиливая обязательность и единство языковой нормы. Нормирующий характер языковых законов не исключает возможности того, что некоторые из них действуют для ряда языков или даже для всех языков в исторически доступные для исследования эпохи (ср., например, закон минимального контраста смежных фонем в слове). Все языки мира имеют, помимо своих особенностей, и основные сходства; сходства эти следует подвергать научному анализу и сводить к научным законам» [211] 9. Как явствует из приведенной цитаты, в этом случае само понятие закона подвергается значительному переосмыслению и фактически сводится к понятию нормы. Поскольку же норма может быть производным от целенаправленной деятельности человека, при таком понимании лингвистического закона он теряет качество объективности.

Таким образом, понятие закона в языкознании не однозначно, под него подводятся разные процессы и явления, которые в своем проявлении часто не имеют ничего закономерного. Именно в силу этого обстоятельства само употребление термина «закон» в языкознании сопровождается обычно оговорками, суть которых сводится к тому, что лингвистические законы — это законы особого порядка, что их нельзя сопоставлять ни с какими другими законами, что само применение этого термина к языковым процессам носит условный характер и пр.

Так, например, о фонетических законах Йоз. Схрайнен пишет: «... языковые регулярности или параллельные ряды в языковых изменениях, происходящих в определенных границах места и времени, называют звуковыми законами. Но с физическими или химическими законами они не имеют ничего общего; они собственно и не «законы» в обычном смысле слова, но скорее звуковые правила, покоящиеся на определенных тенденциях или исторических процессах» [212] 10. Такую же характеристику фонетических законов дает и Г. Хирт: «О звуковых законах в смысле природных законов, по сути говоря, не может быть и речи» [213] 11. Тем не менее всякого рода регулярные процессы или соответствия традиционно продолжают именоваться в языкознании законами.

Понятие лингвистического закона не получило достаточно четкого определения и в советской науке о языке [214] 12. Теория акад. Н. Я. Марра, занимавшая в советском<157> языкознании в течение некоторого времени господствующее положение, отвлекала наших лингвистов от изучения специфики законов развития языка. В соответствии с общим вульгаризаторским характером своей теории Н. Я. Марр подменил лингвистические законы социологическими. Он стремился, как он сам об этом писал, «ослабить значение внутренних законов развития языка, как такового, перенося центр тяжести не только в семантике, но и в морфологии на обусловленность языковых явлений социально-экономическими факторами» [215] 13.

Именно как противопоставление этой установке Н. Я. Марра после дискуссии 1950 г. в советском языкознании получило широкое хождение понятие внутреннего закона развития языка [216] 14, а перед советскими языковедами была поставлена задача изучения внутренних законов развития конкретных языков. Такая направленность лингвистического исследования должна была бы быть охарактеризована положительным образом [217] 15.

К сожалению, советские языковеды на первых порах при определении сущности понятия внутреннего закона развития языка, т. е. по сути дела лингвистического закона в собственном смысле, исходили не из наблюдения над процессами развития языка, а из догматического истолкования работ Сталина [218] 16, хотя вместе с тем в ряде работ этот вопрос рассматривался и в собственно лингвистическом плане [219] 17.<158>

Современное понимание задач советского языкознания совершенно не снимает с повестки дня проблему внутренних законов языка, если под ними понимать специфические для языка формулы закономерных процессов. При таком понимании этого вопроса вполне оправданным представляется и определение лингвистических законов как «внутренних», но это определение не должно давать повода к выделению лингвистических законов в особую группу, ставить их вне обязательных характеристик закона вообще.

При определении внутреннего закона развития языка как лингвистического следует исходить из того общего понимания закона, которое дано в философии диалектического материализма.

Основными характеристиками, которые должны быть представлены также и в лингвистических законах, являются, следовательно, следующие.

Законы природы и общества имеют объективный характер. Следовательно, и закономерности развития языка нужно изучать не в аспекте индивидуально-психологическом, как это, например, делали младограмматики при объяснении возникновения в языке новых явлений, и не как зависящие от человеческой воли, что утверждал Н. Я. Марр, ратовавший за искусственное вмешательство в развитие языков. Поскольку язык представляет собой общественное явление особого порядка, обладающее своей спецификой, постольку свойственные ему особые, внутренние закономерности развития следует изучать как объективные законы, в которых и раскрывается специфика данного явления.

Закон берет наиболее существенное во внутренних отношениях явлений. Так как в формуле закона представлена в обобщенном виде свойственная явлениям закономерность, то сама закономерность оказывается шире закона, она не покрывается целиком его формулой. Но, с другой стороны, закон углубляет познание закономерности, обобщая частные явления и обнаруживая в них элементы общего. Поэтому и лингвистический закон всегда шире отдельного частного явления. Это можно проиллюстрировать следующим примером. В древнерусском языке начиная с XI в. можно обнаружить явление исчезновения слабого глухого *ъ* в начальном предударном положении (например, *кънезь* > *князь*). Этот фонетический процесс осуществлялся с полной регулярностью, и его, таким образом, вполне можно отнести к числу классических фонетических законов, как их понимали младограмматики. Но в действительности это только частное явление, укладывающееся в общую закономерность развития фонетической стороны русского языка. Эта закономерность состоит в общем прояснении глухих гласных *ъ* и *ь* в сильном положении (ср., например, *сънь* — *сон*, *дънь* — *день*) и падении их в слабом положении, причем это падение проходило не только в начальном предударном положении, но и в других позициях, включая открытый конечный слог. Эта общая закономерность выступает в истории русского языка в многообразии частных изменений, внутренняя сущность которых остается, однако, одной и той же. Общая формула этого закона не

охватывает всех особенностей конкретных случаев его проявления. Например, известные отклонения обнаруживает фонетическое развитие слова *грек*. «В старину, — пишет проф. П. Я. Черных, — до падения глухих, слово *грек* произносилось с *ь* после *р*: *грѣкъ*, прилагательное *грѣчѣскій* (например, *народ*). Это прилагательное должно было звучать в литературной речи *гр'ѣцк'ий* (из *гр'ѣч'ск'ий*), и, действительно, мы говорим: *грецкие орехи* и т. п. Под влиянием, однако, краткой формы этого прилагательного *гр'ѣч'эск* (из *грѣчѣскъ*) в эпоху падения глухих появилось '*э* в суффиксе — *эск*- и в слове *гр'ѣчэск'ий*, причем такое произношение этого слова (с суффиксом — '*эск*-) стало нормальным в литературном языке» [220] 18.

С другой стороны, формулирование закона углубляет и расширяет познания частных и конкретных явлений, так как он устанавливает в них общую природу, определяет те общие тенденции, по которым проходило развитие фонетической системы русского языка. Зная эти законы, мы располагаем возможностью представить развитие языка не как механическую сумму отдельных и ничем не связанных друг с другом явлений, но как закономерный процесс, отражающий внутреннюю взаимосвязь фактов развития языка. Так, в разобранном примере все отдельные случаи прояснения и падения глухих представляются не как разрозненные случаи фонетических изменений, а как многообразное проявление единой по своей сущности закономерности, которая обобщает все эти частные явления. Тем самым закон отражает наиболее существенное в процессах развития языка.

Другой характерной чертой закона является то, что он определяет повторяемость явлений при наличии относительно постоянных условий. Эту черту закона не следует принимать в слишком суженном значении, и вместе с тем понятие лингвистического закона нельзя строить только на ней.

Так, например, если взять один частный процесс сужения долгого гласного *о*: *и*:, который происходил в английском языке в период между XV и XVII вв., то он осуществлялся с большой регулярностью и происходил повсюду, где наличествовали одни и те же условия. Например, в слове *tool* — «инструмент» (*to*: *l* > *tu*: *l*), в слове *moon* — «луна» (*mo*: *n* > *mi*: *n*), в слове *food* — «пища» (*fo*: *d* > *fu*: *d*), в слове *do* — «делать» (*do*: > *du*:) и т. д. Однако сам по себе этот процесс, несмотря

на то, что он обнаруживает повторяемость явлений при наличии постоянных условий, не является еще лингвистическим законом в собственном смысле этого слова. Если бы оказалось возможным ограничиться только одним признаком регулярной повторяемости явления, то тогда бы можно было целиком принять и старое понимание закона, как он формулировался младограмматиками. У такого хотя и регулярного, но частного явления отсутствуют другие признаки закона, которые указывались выше. Явление одного порядка должно быть поставлено в связь и соотнесено с другими явлениями, что позволит выявить в них элементы общей для данного языка закономерности. И самую повторяемость явлений необходимо рассматривать в плане общей этой закономерности, строящейся на основе частных и конкретных явлений. Изучение истории английского языка позволило установить, что разбираемый случай перехода *o: > u:* есть частное проявление общей закономерности, в соответствии с которой все долгие гласные английского языка в указанный период сужались, а наиболее узкие (*i:* и *u:*) дифтонгизировались. Закономерную повторяемость и следует соотносить с этим общим процессом,¹⁶¹ оказавшимся ведущим для фонетической стороны английского языка на определенном этапе ее развития и принимавшим многообразные конкретные формы. Регулярная повторяемость каждого такого случая в отдельности (например, указанного перехода *o: > u:*) есть только частный случай проявления закономерности. Регулярности этого порядка носят наиболее наглядный характер, так как они единообразны, но, рассматриваемые по отдельности, вне связи с другими регулярными явлениями, они не дают возможности проникнуть в сущность закономерности фонетического развития языка.

Иное дело — повторяемость явлений, связанная с законом. Она может принимать многообразные формы, но сущность этих форм будет единая и именно та, которая определяется данным законом. Так, если обратиться к приведенному выше примеру из истории английского языка, то это значит, что переходы *: > e: > i:* (ср. слово *beat* — «бить»; *b: tq > be: t > bi: t*), *e: > i:* (ср. слово *meet* — «встречать»: *me: t > mi: t*), *o: > u:* (ср. слово *moon* — «луна»: *mo: n > mu: n*) и т. д. являются хотя и многообразными по своей конкретной форме, но едиными в

своим принципе явлениями, повторяемость которых воспроизводит одну и ту же закономерность: сужение долгих гласных.

От взаимоотношений закона и конкретных случаев его проявления следует отличать возможность взаимоподчинения различных закономерностей развития языка. Наряду с закономерностями указанного характера в развитии языков можно вскрыть закономерности относительно узкого охвата, которые служат основанием для закономерностей более общего порядка. В этом случае изменения более общего порядка осуществляются на основе ряда изменений более ограниченного охвата, являясь порой их следствием. Например, такой важный и сыгравший большую роль в развитии грамматического строя закон, как закон открытых слогов, установившийся еще в общеславянском языке-основе и продолжавший действовать в ранние периоды развития отдельных славянских языков, сложился на основе ряда разновременных фонетических изменений. К ним относятся процессы монофтонгизации дифтонгов (раньше всех монофтонгизировались дифтонги на *и*, затем дифтонг *oi* и далее дифтонги с плавными сонантами), упрощение различных<162> групп согласных и т. д. В данном случае мы имеем дело уже с взаимоотношениями отдельных закономерностей, координирующих процессы в разных сторонах языка.

Указанная характеристика законов развития языка может дать повод к замечанию, что все определенные выше регулярные явления изменения системы языка представляют собой нечто более сложное, нежели законы: это скорее общие тенденции развития языка, чем отдельные законы. С этим возражением, основанным на традиционном понимании лингвистических законов, надо считаться. Отношение к подобному возражению может быть только двоякого порядка. Или следует признать всякое, даже единичное и изолированное явление в процессах развития языка закономерным — и именно к такому пониманию толкает утверждение А. Мейе, что закон не перестает быть законом, если даже он засвидетельствован только единичным примером. В этом случае следует отказаться от всех попыток обнаружить в процессах развития языка те общие черты, которые характеризуют всякий закономерный процесс, и признать, что лингвистические законы — это законы «особого порядка», характер которых определяется одним единственным положением: не может

быть следствия без причины. Или же надо стремиться выявить в процессе развития языка указанные общие черты всякого закономерного процесса. В этом втором случае придется произвести известную дифференциацию фактов развития языка и даже новое их осмысление. Но зато языкознание тогда сможет оперировать общими для всех наук категориями и перестанет в своей области считать, например, упавшее с дерева яблоко «особым» и отдельным законом. Предпочтительно, очевидно, идти этим вторым путем. Во всяком случае на него будет ориентировано дальнейшее изложение этого вопроса.

Общие и частные законы языка

Среди других явлений общественного порядка язык обладает рядом качеств, которые выделяют его из них. К числу этих качеств языка относится его структурный характер, наличие определенного физического аспекта, допускающего изучение языка физическими методами, включение элементов знаковости, особые формы взаимоотношений с психической деятельностью человека и реальным миром действительности и т. д. Вся совокупность качеств, характеризующая язык, особая среди прочих общественных явлений, свойственная только языку специфика обуславливает формы или закономерности его развития. Но человеческий язык получает чрезвычайно многообразное выявление. Строевое различие языков приводит к тому, что путь и формы развития каждого языка в отдельности характеризуются индивидуальными особенностями.

Соответственно тому, соотносятся законы языка с языком вообще как общественным явлением особого порядка или же с отдельным и конкретным языком, представляется возможным говорить об общих или частных законах языка.

Общие законы обеспечивают регулярное единообразие процессов развития языка, которое обуславливается общей для всех языков природой, сущностью специфики языка как общественного явления особого порядка, его общественной функцией и качественными особенностями его структурных компонентов. По отношению к прочим общественным явлениям они выступают как характерные для языка, и именно это обстоятельство дает основание называть их его внутренними законами; однако в пределах языка они оказываются всеобщими. Нельзя себе представить развитие языка без участия этих законов. Но хотя формулы таких законов едины для всех языков, они не могут одинаково протекать в разных конкретных условиях. В конкретном своем виде они получают многообразное выражение в зависимости от его структурных особенностей ^[221] 19. Однако какое бы различное воплощение ни получали общие законы развития языка, они остаются общими для всех языков законами, так как они обуславливаются не структурными особенностями конкретных языков, а специфической сущностью человеческого языка вообще как

общественного явления особого порядка, призванного обслуживать потребность людей в общении. <164>

Хотя в истории языкознания проблема определения общих законов языка не получала целеустремленного формулирования, фактически она всегда находилась в центре внимания лингвистов, смыкаясь с проблемой природы и сущности языка. Ведь, например, стремление Ф. Боппа вскрыть в развитии языка физические и механические законы, попытка А. Шлейхера подчинить развитие языка эволюционной теории Ч. Дарвина, а в наши дни включение Ф. де Соссюром языка в «науку, изучающую жизнь знаков внутри жизни общества» [222] 20 (семиологии), так же как и трактовка языка методами математической логики [223] 21, — все это по существу есть не что иное, как разносторонне направленные исследования, стремящиеся определить общие законы языка. Как правило, эти поиски осуществлялись сопоставительным путем или, лучше сказать, с помощью критериев других наук — физики (у Ф. Боппа), естествоведения (у А. Шлейхера), социологии (у Ф. де Соссюра), математической логики (у Хомского) и т. д. Между тем не менее важно безотносительное определение общих законов языка (к сожалению, в этом направлении сделано еще очень мало) с прослеживанием того, как они преломляются в структуре и развитии конкретных языков [224] 22. С этой точки зрения к общим законам языка следовало бы отнести, например, обязательное наличие в нем двух планов — условно говоря, плана «выражения» и плана «содержания», трехчленность формулы основных элементов структуры языка: фонема — слово — предложение, установление развития как формы существования языка (имеются в виду, конечно, «живые» языки) и т. д. К числу этих общих законов, к тому же позволяющих более просто проследить их преломление в конкретных языках, относится и закон неравномерности темпов развития разных структурных элементов языка.

В соответствии с этим законом словарный состав <165> языка и его грамматический строй обладают различной степенью устойчивости, и если, например, словарный состав быстро и непосредственно отражает все изменения, происходящие в обществе, и тем самым является наиболее подвижной частью языка, то грамматический строй изменяется крайне медленно и потому является самой устойчивой частью языка. Но если посмотреть, каким образом осуществляется

этот общий закон в конкретных языках, то тотчас возникнут частные моменты, которые будут относиться не только к формам осуществления данного закона, но даже и к самим темпам развития. Например, если сравнить грамматический строй немецкого и английского языков (близко родственных германских языков) на древнейшей доступной нам стадии их развития и в современном их состоянии, то предстанет следующая картина. В древние периоды своего развития оба эти языка показывают значительное сходство в своей грамматической структуре, которую в очень общих чертах можно охарактеризовать как синтетическую. Современный английский уже значительно отличается по своей грамматической структуре от современного немецкого языка: он является языком аналитической структуры, тогда как немецкий язык в значительной мере продолжает оставаться синтетическим языком. Это обстоятельство характеризует и другую сторону рассматриваемого явления. Грамматический строй немецкого языка ближе к тому состоянию, которое засвидетельствовано в древнейших его памятниках, чем грамматический строй английского языка. В этом последнем произошло гораздо больше изменений, это и дает основание предполагать, что грамматический строй английского языка изменялся более быстрыми темпами на протяжении одного и того же времени, чем грамматический строй немецкого языка.

Изменения, которые произошли в грамматической структуре английского и немецкого, хорошо видны уже из простого сопоставления парадигмы склонения одинаковых по корню слов в разные периоды развития этих языков. Если даже отвлечься от разных типов склонения существительных (слабого — согласного и сильного — гласного) и учитывать только различия форм склонения, связанные с родовой дифференциацией, то и в этом случае будет отчетливо видна структурная близость древне-английского и современного немецкого и значительный отход от обоих этих языков современного английского. Английское существительное не различает ныне не только разных типов (сильного и слабого) или родовых форм, но и вообще не имеет форм склонения (так называемый саксонский родительный чрезвычайно ограничен в употреблении). Напротив того, современный немецкий не только сохранил древнее различие по типам склонений (несколько видоизменив его ныне) и по родам, но и имеет с

древнеанглийским много общего в самих формах парадигмы склонения, что явствует из следующих примеров:

Современный английский

day

(день)

water

(вода)

tongue

(язык)

Древнеанглийский

Ед. число

Именит.

Винит.

Дательн.

Родит.

Мн. число

Именит.

Винит.

Родит.

Дательн.

Мужск. род

dæg

dæg

dege

degas

dages

dages

daga

dagum

Средн. род

weter

weter

wetere

weteres

weter

weter

wetera

weterum

Женск, род

tunge

tungan

tungan

tungan

tungan

tungan

tungena

tungum

Современный немецкий

Ед. число

Именит.

Винит.

Дательн.

Родит

Мн. число

Именит.

Винит.

Родит.

Дательн.

Tag

Tag

Tag(e)

Tages

Tage

Tage

Tage

Tagen

Wasser

Wasser

Wasser

Wassers

Wasser

Wasser

Wasser

Wassern

Zunge
Zunge
Zunge
Zunge
Zungen
Zungen
Zungen
Zungen
<167>

Изменения в обоих языках вместе с тем имели и различные формы, что определяется уже частными законами развития языка. Однако, прежде чем перейти к характеристике этой второй категории законов развития языка, представляется необходимым отметить следующее обстоятельство. Большие или меньшие темпы развития различных языков не дают основания говорить о большей или меньшей развитости языков в сравнительном плане. Так, в частности, тот факт, что английский язык в пределах одного и того же хронологического периода в грамматическом отношении изменился значительно больше, чем немецкий, отнюдь не означает, что английский язык ныне является более развитым, чем немецкий. Судить о большей или меньшей развитости языков по относительно ограниченным периодам их развития было бы нелогично и неоправданно, а для сравнительной оценки применительно к «итоговому» их состоянию на современной стадии развития наука о языке не располагает никакими критериями. Такие критерии, видимо, и невозможны, так как разные языки в соответствии со своими частными законами развиваются особыми путями, процессы их развития принимают различные формы и поэтому, по сути говоря, в данном случае выступают несопоставимые явления.

От общих законов развития языка, как специфического общественного явления, следует отличать законы развития каждого конкретного языка в отдельности, являющиеся характерными для данного языка и отличающие его от других языков. Этой категории законов, поскольку они определяются структурными особенностями отдельных языков, можно также присвоить название частных внутренних законов развития.

Как показывает уже приведенный пример, общие и частные законы развития не отграничиваются друг от друга непроходимой стеной, а наоборот, частные законы сливаются с общими. Это обусловливается тем обстоятельством, что каждый конкретный язык воплощает в себе все особенности языка как общественного явления особого порядка и поэтому может развиваться только на основе общих законов развития языка. Но, с другой стороны, так как каждый конкретный язык обладает отличным структурным строением, особым грамматическим строем и фонетической системой, различной лексикой, характеризуется неодинаковым закономерным сочетанием этих структурных компонентов в системе языка, то формы проявления деятельности общих законов развития в отдельных языках неизбежно видоизменяются. А особые формы развития конкретных языков, как уже говорилось, связываются с частными законами их развития.

Это обстоятельство можно проследить при сопоставительном рассмотрении развития тождественных явлений в разных языках. Для примера можно остановиться на категории времени. Английский и немецкий языки в древние периоды своего развития обладали приблизительно единой системой времен, к тому же очень несложной: они имели только формы настоящего времени и простого прошедшего времени. Что касается будущего времени, то оно выражалось описательно или формами настоящего времени. Дальнейшее развитие обоих языков пошло по линии совершенствования их временной системы и создания специальной формы для выражения будущего времени. Этот процесс, как уже указывалось выше, укладывается в общие законы развития языка, в соответствии с которыми грамматическая структура языка, хотя и медленно, но все же перестраивается, значительно отставая в темпах своего развития от других сторон языка. При этом перестройка не носит характера взрыва, а осуществляется медленно и постепенно, что соотносится с другим общим законом, именно с законом постепенного изменения качества языка путем накопления элементов нового качества и отмирания элементов старого качества. Особенности осуществления названных общих законов в английском и немецком языках мы видели уже в том, что процесс перестройки их грамматической структуры, в том числе и временной системы, проходил с различной степенью энергичности. Но он проходил и в разных формах, несмотря на то, что

в данном случае мы имеем дело с близко родственными языками, обладающими в своей структуре значительным количеством тождественных элементов. Эти различные пути развития (в данном случае форм будущего времени) обуславливаются тем обстоятельством, что в немецком и английском языках действовали разные частные законы развития языка. Первоначальная же структурная близость этих языков, связанная с тем, что Они яв<169>ляются близко родственными, привела к тому, что развитие форм будущего времени хотя и происходило в английском и немецком языках по-разному, однако в своем протекании имеет некоторые общие моменты. В чем же заключается близость и расхождение процессов образования форм будущего времени в данных языках? Ответ на этот вопрос дают конкретные факты истории этих языков.

Общее заключается в том, что формы будущего времени образуются по единой структурной схеме, состоящей из вспомогательного глагола и инфинитива основного глагола, а также в том, что в качестве вспомогательных используются в значительной мере одни и те же модальные глаголы, изменение семантики которых в процессе их превращения во вспомогательные имеет также некоторые общие моменты. В остальном же развитие форм будущего времени обладает различиями, характеризующимися в современном своем состоянии еще и тем, что они функционируют в контексте различных временных систем. Конкретно эти различия проявляются в следующих фактах.

В древнеанглийском языке будущее время обычно выражалось формами настоящего времени. Наряду с этим употреблялись описательные обороты с модальными глаголами *shall* и *will*. Эта аналитическая форма получает значительное распространение в среднеанглийский период. В процессе своей грамматикализации оба глагола несколько видоизменили свою семантику, но вместе с тем вплоть до настоящего времени сохранили многие из своих старых значений. В частности, поскольку оба глагола являются модальными, они сохранили свои модальные значения также и в функции вспомогательных глаголов при образовании форм будущего времени. Вплоть до того времени, когда были закреплены правила их употребления, выбор того или иного глагола определялся их конкретным модальным значением: когда действие ставилось в

зависимость от индивидуальной воли субъекта, употреблялся глагол *will*, когда же необходимо было выразить более или менее объективную необходимость или обязательность действия, использовался глагол *shall*. В библейском стиле чаще употреблялся *shall*. В драматических диалогах предпочтительно употреблялось *will*, оно чаще употреблялось и в разговорной речи, насколько позволяют об этом судить литературные памятники. Впервые нормы употребления глаголов *shall* и *will* во вспомогательной функции были сформулированы Джорджем Мэзоном в 1622 г. (в его «*Grammaire Angloise*»), которые базировались на тех же конкретных модальных значениях, связывающих *shall* с первым лицом, а *will* с остальными лицами. Грамматики нашли употребление *shall* более подходящим для выражения будущего времени от первого лица в силу конкретной модальной семантики этого глагола, обладающего в своем значении оттенком принуждения или личной уверенности, что не согласуется с объективной констатацией будущего времени при большинстве случаев соотнесения действия со вторым или третьим лицом. Здесь более подходящим по своей семантике является глагол *will*. В разговорном стиле современного английского языка выработалась сокращенная форма вспомогательного глагола *will* и именно 'll, которая вытесняет раздельное употребление обоих глаголов. В шотландском, ирландском и американском вариантах английского языка *will* является единой общепринятой формой вспомогательного глагола для образования форм будущего времени.

Итак, образование форм будущего времени в английском языке шло в основном по линии переосмысления модальных значений с использованием аналитических конструкций при постепенном изживании в них дифференциации по лицам. Такой путь развития полностью согласуется со стремлением английского глагола максимально разгрузиться от выражения личных значений.

В немецком языке формы будущего времени развивались параллельно на основе модальных и видовых значений; хотя видовое будущее в конечном счете победило, модальное будущее окончательно не вытеснено из немецкого языка вплоть до настоящего времени. Описательный оборот с модальными глаголами *sollen* и *wollen* встречается уже в первых памятниках древневерхненемецкого периода, достигая широкого употребления в период между XI и

XIV вв. Причем, в отличие от английского языка во всех лицах употреблялся преимущественно глагол *sollen*. Но в дальнейшем эта конструкция начинает вытесняться другой (видовое будущее). В Библии Лютера она употребляется уже редко, а в современном немецком языке, в тех немногочисленных случаях, когда она используется, обладает значительным модальным оттенком.

Зарождение видового будущего следует отнести также к древним периодам развития немецкого языка. Зачатки его, очевидно, надо видеть в преимущественном употреблении для выражения будущего времени форм настоящего времени перфективных глаголов. Но по мере того как вид в качестве грамматической категории изживается в немецком языке, последовательность применения настоящего времени перфективных глаголов в качестве будущего времени нарушается и уже в древневерхненемецком языке употребляются в этих случаях уточняющие обстоятельства. С XI в. происходит становление аналитической конструкции, состоящей из глагола *werden* и причастия настоящего времени, которая первоначально имела видовое значение начинательности, но в XII и XIII вв. уже широко употребляется для выражения будущего времени. В дальнейшем (начиная с XII в.) эта конструкция несколько видоизменяется (*werden*+инфинитив, а не причастие настоящего времени) и вытесняет модальное будущее. В XVI и XVII вв. она фигурирует уже во всех грамматиках как единственная форма будущего времени (наряду с формами настоящего, которые широко применяются в значении будущего времени в разговорной речи и в современном немецком языке). В отличие от английского языка, немецкий, используя для образования форм будущего времени схожую аналитическую конструкцию, сохраняет в ней свойственные всему грамматическому строю немецкого языка синтетические элементы. В частности, глагол *werden*, используемый в немецком в качестве вспомогательного глагола для образования будущего времени, сохраняет личные формы (*ichwerdefahren*, *duwirstfahren*, *erwirdfahren* и т. д.).

Таковы конкретные пути развития тождественного грамматического явления в близко родственных языках, которое, однако, принимает различные формы в соответствии с частными законами развития, действующими в английском и немецком языках.

Характерно, что подобные же различия пронизывают и лексику английского и немецкого языков, обладающих разными структурными типами и различным образом<172> соотносящихся с понятийными комплексами. На это обстоятельство (трактуя его несколько своеобразно) обратил внимание Палмер. «Я полагаю, — пишет он, — что эти различия следует приписать особенностям английского и немецкого языков как орудий абстрактного мышления. Немецкий значительно превосходит английский простотой и прозрачностью своего символизма, что можно показать простейшим примером. Англичанин, желающий говорить о небрачном состоянии вообще, должен употреблять *celibacy* — новое и трудное слово, совершенно отличающееся от *wed*, *marriage* и *bachelor*. Этому противостоит простота немецкого языка: *die Ehe* означает супружество; от этого слова образуется прилагательное *ehe-los* — «незамужний» или «неженатый» (*unmarried*). Из этого прилагательного посредством прибавления обычного суффикса имен существительных абстрактных возникает *Ehe-los-igkeit* — «небрачное состояние» (*celibacy*) — термин, настолько ясный, что может быть понятным даже для уличного мальчишки. А абстрактное мышление англичанина спотыкается о трудности словесного символизма. Другой пример. Если мы говорим о вечной жизни, мы должны обращаться к помощи латинского по своему происхождению слова *immortality* — «бессмертие», совершенно отличного от обычных слов *die* — «умирать» и *death* — «смерть». Немец опять имеет преимущество, так как составные части *Un-sterb-lich-keit* — «бессмертие» ясны и могут быть образованы и поняты всяким членом языкового коллектива, знающим базовое слово *sterben* — «умирать» ^[225] 23.

На основе отмеченных Палмером особенностей английской и немецкой лексики возникла даже теория о том, что в противоположность грамматической структуре немецкая лексика по своему строению более аналитична, нежели английская.

Таким образом, частные законы развития показывают, какими способами и путями совершается развитие того или иного языка. Так как эти способы у разных языков неодинаковы, можно говорить о частных законах<173> развития только конкретных языков. Тем самым законы развития конкретного языка определяют национально-

индивидуальное своеобразие истории данного языка, его качественную самобытность.

Частные законы развития языка охватывают все его сферы — фонетику, грамматику, лексику. Каждая сфера языка может иметь свои законы, почему оказывается возможным говорить о законах развития фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики. Так, например, падение редуцированных в истории русского языка следует отнести к законам развития фонетики этого языка. Становление рамочной конструкции может быть определено как закон развития синтаксиса немецкого языка. Унификация основ в истории русского языка может быть названа законом развития его морфологии. Таким же законом развития морфологии русского языка, проходящим красной нитью через всю его многовековую историю, является прогрессирующее усиление в выражении совершенного и несовершенного видов. Для немецкого языка характерно обогащение словарного состава языка путем создания новых лексических единиц на базе словосложения. Этот способ развития словарного состава немецкого языка, несвойственный другим языкам, например современному французскому, можно рассматривать как один из законов немецкого словообразования.

Однако это не значит, что законы развития конкретных языков механически складываются из законов развития отдельных сфер языка, представляя их арифметическую сумму. Язык не простое соединение некоторого количества лингвистических элементов — фонетических, лексических и грамматических. Он представляет образование, в котором все его детали взаимосвязаны системой закономерных отношений, почему и говорят о структуре языка. А это значит, что каждый элемент структурных частей языка, так же как и сами структурные части, соразмеряет формы своего развития с особенностями всей структуры языка в целом. Следовательно, при наличии отдельных и особых форм развития для фонетической системы языка, для его словарной стороны и грамматического строя, законы развития отдельных его сторон взаимодействуют друг с другом и отражают в себе качественные особенности всей структуры языка в целом.^{<174>} В качестве примера такого взаимодействия можно привести процессы редукции окончаний в истории английского языка. Эти процессы были связаны с возникновением в германских языках силового ударения и закреплением его на корневой гласной. Попавшие

в неударное положение конечные элементы редуцировались и постепенно совершенно отпали. Это обстоятельство отразилось как на словообразовании в английском языке, так и на его морфологии (широкое развитие аналитических конструкций) и синтаксисе (закрепление определенного порядка слов и наделение его грамматическим значением).

В русском языке, с другой стороны, упорное стремление к незакрепленному ударению (чем он отличается от таких славянских языков, как польский или чешский) следует приписать тому обстоятельству, что оно используется в качестве смыслоразличительного средства, т. е. оказывается во взаимодействии с другими сторонами языка (семантика).

Наконец, следует указать на возможную близость частных законов развития разных языков. Это имеет место тогда, когда такими языками являются родственные, имеющие в своей структуре тождественные элементы. Очевидно, что чем ближе стоят друг к другу такие языки, тем больше основания для наличия у них одинаковых частных законов развития.

Ко всему сказанному следует добавить еще следующее. Лингвистические законы не являются той силой, которая двигает развитие языка. Эти силы являются внешними по отношению к языку факторами и носят чрезвычайно разнообразный характер — от носителей языка и их общественных потребностей до разного вида контактов языков и субстратных явлений. Именно это обстоятельство и делает невозможным рассмотрение развития языка в изоляции от его исторических условий. Но, восприняв внешний стимул, лингвистические законы придают развитию языка определенные направления или формы (в соответствии с его структурными особенностями). В ряде случаев и в определенных сферах языка (в первую очередь в лексике и в семантике) конкретный характер внешних стимулов развития языка может вызывать соответствующие конкретные изменения в системе языка. Подробнее этот вопрос рассматривается<175> ниже, в разделе «История народа и законы развития языка»; пока же следует иметь в виду указанную общую зависимость, существующую между законами развития языка и внешними факторами.

Что такое развитие языка

Понятие закона языка связывается с развитием языка. Это понятие, следовательно, может быть раскрыто в своей конкретной форме только в истории языка, в процессах его развития. Но что такое развитие языка? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос отнюдь не однозначен, и его формулирование имеет большую историю, отражающую смену лингвистических концепций.

В лингвистике на первых этапах развития сравнительного языкознания установился взгляд, что известные науке языки пережили период своего расцвета в глубокой древности, а ныне они доступны изучению только в состоянии своего разрушения, постепенной и все увеличивающейся деградации. Этот взгляд, впервые высказанный в языкознании Ф. Боппом, получил дальнейшее развитие у А. Шлейхера, который писал: «В пределах истории мы видим, что языки только дряхлеют по определенным жизненным законам, в звуковом и формальном отношении. Языки, на которых мы теперь говорим, являются, подобно всем языкам исторически важных народов, старческими языковыми продуктами. Все языки культурных народов, насколько они нам вообще известны, в большей или меньшей степени находятся в состоянии регресса» ^[226] 24. В другой своей работе он говорит: «В доисторический период языки образовывались, а в исторический они погибают» ^[227] 25. Эта точка зрения, покоящаяся на представлении языка в виде живого организма и объявляющая исторический период его существования периодом старческого одряхления и умирания, сменилась затем рядом теорий, которые частично видоизменяли взгляды Боппа и Шлейхера, а частично выдвигали новые, но столь же антиисторические и метафизические взгляды. <176>

Курциус писал, что «удобство есть и остается главной побудительной причиной звуковой перемены при всех обстоятельствах», а так как стремление к удобству, экономии речи и вместе с тем небрежность говорящих все увеличиваются, то «убывающее звуковое изменение» (т. е. унификация грамматических форм), вызванное указанными причинами, приводит язык к разложению ^[228] 26.

Младограмматики Бругман и Остгоф развитие языка ставят в связь с формацией органов речи, которая зависит от климатических и культурных условий жизни народа. «Как формация всех физических органов человека, — пишет Остгоф, — так и формация его органов речи зависит от климатических и культурных условий, в которых он живет» [\[229\]](#) 27.

Социологическое направление в языкознании сделало попытку связать развитие языка с жизнью общества, но вульгаризировало общественную сущность языка и в процессах его развития увидело только бессмысленную смену форм языка. «...Один и тот же язык, — пишет, например, представитель этого направления Ж. Вандриес, — в различные периоды своей истории выглядит по-разному; его элементы изменяются, восстанавливаются, перемещаются. Но в целом потери и прирост компенсируют друг друга... Различные стороны морфологического развития напоминают калейдоскоп, встряхиваемый бесконечное число раз. Мы каждый раз получаем новые сочетания его элементов, но ничего нового, кроме этих сочетаний» [\[230\]](#) 28.

Как показывает этот краткий обзор точек зрения, в процессах развития языка, хотя это и может показаться парадоксальным, никакого подлинного развития не обнаруживалось. Больше того, развитие языка мыслилось даже как его распад.

Но и в тех случаях, когда развитие языка связывалось с прогрессом, наука о языке нередко искажала подлинную природу этого процесса. Об этом свидетельствует так называемая «теория прогресса» датского лингвиста О. Есперсена.

В качестве мерила прогрессивности Есперсен использовал английский язык. Этот язык на протяжении своей истории постепенно перестраивал свою грамматическую структуру в направлении от синтетического строя к аналитическому. В этом направлении развивались и другие германские, а также некоторые романские языки. Но аналитические тенденции в других языках (русском или иных славянских языках) не привели к разрушению их синтетических элементов, например падежной флексии. Б. Коллиндер в своей статье, критикующей теорию О. Есперсена, на материале истории венгерского языка убедительно показывает, что развитие языка может происходить и в сторону синтеза [\[231\]](#) 29. В этих языках развитие шло по линии совершенствования наличных в них грамматических элементов.

Иными словами, различные языки развиваются в разных направлениях в соответствии со своими качественными особенностями и своими законами. Но Есперсен, объявив аналитический строй наиболее совершенным и абсолютно не считаясь с возможностями иных направлений развития, усматривал прогресс в развитии только тех языков, которые в своем историческом пути двигались по направлению к анализу. Тем самым прочие языки лишались самобытности форм своего развития и укладывались в прокрустово ложе аналитической мерки, снятой с английского языка.

Ни одно из приведенных определений не может послужить теоретической опорой для выяснения вопроса о том, что следует понимать под развитием языка ^[232] 30.

В предшествующих разделах уже неоднократно указывалось, что самой формой существования языка является его развитие. Это развитие языка обуславливается тем, что общество, с которым неразрывно связан язык, находится в непрерывном движении. Исходя из этого качества языка, следует решать вопрос о развитии языка. Очевидно, что язык теряет свою жизненную силу, перестает развиваться и становится «мертвым» тогда, <178> когда гибнет само общество или когда нарушается связь с ним.

История знает много примеров, подтверждающих эти положения. Вместе с гибелью ассирийской и вавилонской культуры и государственности исчезли аккадские языки. С исчезновением мощного государства хеттов умерли наречия, на которых говорило население этого государства: неситский, лувийский, палайский и хеттский. Классификации языков содержат множество ныне мертвых языков, исчезнувших вместе с народами: готский, финикийский, оскский, умбровский, этрусский и пр.

Случается, что язык переживает общество, которое он обслуживал. Но в отрыве от общества он теряет способность развиваться и приобретает искусственный характер. Так было, например, с латинским языком, превратившимся в язык католической религии, а в средние века исполнявшим функции международного языка науки. Аналогичную роль выполняет классический арабский язык в странах Среднего Востока.

Переход языка на ограниченные позиции, на преимущественное обслуживание отдельных социальных групп в пределах единого

общества — это также путь постепенной деградации, заострения, а иногда и вырождения языка. Так, общенародный французский язык, перенесенный в Англию (вместе с завоеванием ее норманнами) и ограниченный в своем употреблении только господствующей социальной группой, постепенно вырождался, а затем вообще исчез из употребления в Англии (но продолжал жить и развиваться во Франции).

Другим примером постепенного ограничения сферы употребления языка и отклонения от общенародной позиции может служить санскрит, бывший, несомненно, когда-то разговорным языком общего употребления, но затем замкнувшийся в кастовых границах и превратившийся в такой же мертвый язык, каким был средневековый латинский язык. Путь развития индийских языков пошел мимо санскрита, через народные индийские диалекты — так называемые пракриты.

Перечисленные условия останавливают развитие языка или же приводят к его умиранию. Во всех остальных случаях язык развивается. Иными словами, до тех пор пока язык обслуживает потребности существующего общества в качестве орудия общения его членов и при этом обслуживает все общество в целом, не становясь на позиции предпочтения какого-либо одного класса или социальной группы, — язык находится в процессе развития. При соблюдении указанных условий, обеспечивающих само существование языка, язык может находиться только в состоянии развития, откуда и следует, что самой формой существования (живого, а не мертвого) языка является его развитие.

Когда речь идет о развитии языка, нельзя все сводить только к увеличению или уменьшению у него флексий и других формантов. Например, то обстоятельство, что на протяжении истории немецкого языка наблюдалось уменьшение падежных окончаний и частичная их редукция, отнюдь не свидетельствует в пользу мнения, что в данном случае мы имеем дело с разложением грамматического строя этого языка, его регрессом. Не следует забывать того, что язык тесно связан с мышлением, что в процессе своего развития он закрепляет результаты работы мышления и, следовательно, развитие языка предполагает не только его формальное усовершенствование. Развитие языка при таком его понимании находит свое выражение не только в

обогащении новыми правилами и новыми формантами, но и в том, что он совершенствуется, улучшает и уточняет уже имеющиеся правила. А это может происходить посредством перераспределения функций между существующими формантами, исключения дублетных форм и уточнения отношений между отдельными элементами в пределах данной структуры языка. Формы процессов совершенствования языка могут быть, следовательно, различны в зависимости от структуры языка и действующих в нем законов его развития.

При всем том здесь нужна одна существенная оговорка, которая позволит провести необходимую дифференциацию между явлениями развития языка и явлениями его изменения. К собственно явлениям развития языка мы по справедливости можем отнести только такие, которые укладываются в тот или иной его закон (в определенном выше смысле). А так как не все явления языка удовлетворяют этому требованию (см. ниже раздел о развитии и функционировании языка), то тем самым и проводится указанная дифференциация всех возникающих в языке явлений. <180>

Итак, какие бы формы ни принимало развитие языка, оно остается развитием, если удовлетворяет тем условиям, о которых говорилось выше. Это положение легко подтвердить фактами. После норманского завоевания английский язык переживал кризис. Лишенный государственной поддержки и оказавшийся вне нормализующего влияния письменности, он дробится на множество местных диалектов, отходя от уэссекской нормы, выдвинувшейся к концу древнеанглийского периода на положение ведущей. Но можно ли сказать, что среднеанглийский период является для английского языка периодом упадка и регресса, что в этот период его развитие остановилось или даже пошло назад? Этого сказать нельзя. Именно в этот период в английском языке происходили сложные и глубокие процессы, которые подготовили, а во многом и заложили основание тех структурных особенностей, которые характеризуют современный английский язык. После норманского завоевания в английский язык начали в огромном количестве проникать французские слова. Но и это не остановило процессов словообразования в английском языке, не ослабило его, а, наоборот, пошло ему на пользу, обогатило и усилило его.

Другой пример. В результате ряда исторических обстоятельств начиная с XIV в. в Дании широкое распространение получает немецкий язык, вытесняя датский не только из официального употребления, но и из разговорной речи. Шведский языковед Э. Вессен следующим образом описывает этот процесс: «В Шлезвиге еще в средние века в результате иммиграции немецких чиновников, купцов и ремесленников в качестве письменного и разговорного языка городского населения распространился нижненемецкий. В XIV в. граф Герт ввел здесь в качестве административного языка немецкий. Реформация способствовала распространению немецкого языка за счет датского; нижненемецкий, а позже верхненемецкий был введен как язык церкви и в тех областях к югу от линии Фленсбург — Теннер, где население говорило по-датски. В дальнейшем немецкий язык становится здесь и языком школы... Немецким языком пользовались при датском дворе, особенно во второй половине XVII в. Он был широко распространен также в качестве разговорного языка в дворянских и бюргерских<181> кругах» [\[233\]](#) 31. И все же, несмотря на такое распространение немецкого языка в Дании, датский язык, включивший в себя значительное количество немецких элементов и обогатившийся за их счет, оттесненный к северу страны, продолжал свое развитие и совершенствование по своим законам. К этому времени относится создание таких выдающихся памятников истории датского языка, как так называемая «Библия Кристиана III» (1550 г.), перевод которой был выполнен с участием выдающихся писателей того времени (Кр. Педерсена, Петруса Паладиуса и др.), и «Уложение Кристиана V» (1683 г.). Значительность этих памятников с точки зрения развития датского языка характеризуется тем фактом, что, например, с «Библией Кристиана III» связывают начало новодатского периода.

Следовательно, язык развивается вместе с обществом. Как общество не знает состояния абсолютной неподвижности, так и язык не стоит на месте. В языке, обслуживающем развивающееся общество, происходят постоянные изменения, знаменующие развитие языка. В формах этих изменений, зависящих от качества языка, и находят свое выражение законы развития языка.

Иное дело, что темпы развития языка в разные периоды истории языка могут быть различными. Но и это обусловлено развитием

общества. Уже давно было подмечено, что бурные исторические эпохи в жизни общества сопровождаются и значительными изменениями языка и, наоборот, исторические эпохи, не отмеченные значительными общественными событиями, характеризуются периодами относительной стабилизации языка. Но большие или меньшие темпы развития языка — это уже другой аспект его рассмотрения, место которого в разделе «Язык и история».

Функционирование и развитие языка

Функционирование и развитие языка представляют два аспекта изучения языка — описательный и исторический, — которые современное языкознание нередко определяет как независимые друг от друга области исследования. Есть ли основания для этого? Не обусловлено ли такое разграничение природой самого объекта исследования?

Описательное и историческое изучение языка давно применялось в практике лингвистического исследования и столь же давно находило соответствующее теоретическое обоснование [\[234\]](#) 32. Но на первый план проблема указанных разных подходов к изучению языка выступила со времени формулирования Ф. де Соссюром его знаменитой антиномии диахронической и синхронической лингвистик [\[235\]](#) 33. Эта антиномия логически выводится из основного соссюровского противопоставления — языка и речи — и последовательно сочетается с другими проводимыми Соссюром разграничениями: синхроническая лингвистика оказывается вместе с тем и внутренней, статической (т. е. освобожденной от временного фактора) и системной, а диахроническая лингвистика — внешней, эволюционной (динамичной), и лишенной системности. В дальнейшем развитии языкознания противопоставление диахронической и синхронической лингвистик превратилось не только в одну из самых острых и спорных проблем [\[236\]](#) 34, породившую огромную литературу, но стало использоваться в качестве существеннейшего признака, разделяющего целые лингвистические школы и направления (ср., например, диахроническую фонологию и глоссематическую фонематику или дескриптивную лингвистику).

Чрезвычайно важно отметить, что в процессе все углубляющегося изучения проблемы взаимоотношения диахронической и синхронической лингвистик (или доказательства отсутствия всякого взаимоотношения) постепенно произошло отождествление, которое, возможно, не предполагал и сам Соссюр: диахроническое и синхроническое изучение языка как разные операции или рабочие методы, используемые для определенных целей и отнюдь не исключаящие друг друга, стало соотноситься¹⁸³ с самим объектом

изучения — языком, выводиться из самой его природы. Говоря словами Э. Косериу, оказалось не учтенным, что различие между синхронией и диахронией относится не к теории языка, а к теории лингвистики [237] 35. Сам язык не знает таких разграничений, так как всегда находится в развитии (что, кстати говоря, признавал и Соссюр) [238] 36, которое осуществляется не как механическая смена слоев или синхронических пластов, сменяющих друг друга наподобие караульных (выражение И. А. Бодуэна де Куртене), а как последовательный, причинный и непрерывающийся процесс. Это значит, что все, что рассматривается в языке вне диахронии, не есть реальное **состояние** языка, но всего лишь синхроническое его **описание**. Таким образом, проблема синхронии и диахронии в действительности является проблемой рабочих методов, а не природы и сущности языка.

В соответствии со сказанным, если изучать язык под двумя углами зрения, такое изучение должно быть направлено на выявление того, каким образом в процессе деятельности языка происходит возникновение явлений, которые относятся к развитию языка. Необходимость, а также до известной степени и направление такого изучения подсказываются известным парадоксом Ш. Балли: «Прежде всего языки непрестанно изменяются, но функционировать они могут только не меняясь. В любой момент своего существования они представляют собой продукт временного равновесия. Следовательно, это равновесие является равнодействующей двух противоположных сил: с одной стороны, традиции, задерживающей изменение, которое несовместимо с нормальным употреблением языка, а с другой — активных тенденций, толкающих этот язык в определенном направлении» [239] 37. «Временное равновесие» языка, конечно, условное понятие, хотя оно и выступает в качестве обязательной предпосылки для осуществления процесса общения. Через точку этого равновесия проходит множество линий, которые одной своей стороной уходят в прошлое, в историю языка, а другой стороной устремляются вперед, в дальнейшее развитие языка. «Механизм языка, — чрезвычайно точно формулирует И. Л. Бодуэн де Куртене, — и вообще его строй и состав в данное время представляют результат всей предшествующей ему истории, всего предшествующего ему развития, и наоборот, этим механизмом в известное время обуславливается

дальнейшее развитие языка» [240] 38. Следовательно, когда мы хотим проникнуть в секреты развития языка, мы не можем разлагать его на независимые друг от друга плоскости; такое разложение, оправданное частными целями исследования и допустимое также и с точки зрения объекта исследования, т. е. языка, не даст результатов, к которым мы в данном случае стремимся. Но мы безусловно достигнем их, если поставим целью своего исследования взаимодействие процессов функционирования и развития языка. Именно в этом плане будет осуществляться дальнейшее изложение.

В процессе развития языка происходит изменение его структуры, его качества, почему и представляется возможным утверждать, что законы развития языка есть законы постепенных качественных изменений, происходящих в нем. С другой стороны, функционирование языка есть его деятельность по определенным правилам. Эта деятельность осуществляется на основе тех структурных особенностей, которые свойственны данной системе языка. Поскольку, следовательно, при функционировании языка речь идет об определенных нормах, об определенных правилах пользования системой языка, <185> постольку нельзя правила его функционирования отождествлять с законами развития языка.

Но вместе с тем становление новых структурных элементов языка происходит в деятельности последнего, Функционирование языка, служащего средством общения для членов данного общества, устанавливает новые потребности, которые предъявляет общество к языку, и тем самым толкает его на дальнейшее и непрерывное развитие и совершенствование. А по мере развития языка, по мере изменения его структуры устанавливаются и новые правила функционирования языка, пересматриваются нормы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность языка.

Таким образом, функционирование и развитие языка, хотя и раздельные, вместе с тем взаимообусловленные и взаимозависимые явления. В процессе функционирования языка в качестве орудия общения происходит изменение языка. Изменение же структуры языка в процессе его развития устанавливает новые правила функционирования языка. Взаимосвязанность исторического и нормативного аспектов языка находит свое отражение и в трактовке отношения законов развития к этим аспектам. Если историческое

развитие языка осуществляется на основе правил функционирования, то соответствующее состояние языка, представляющее определенный этап в этом закономерном историческом развитии, в правилах и нормах своего функционирования отражает живые, активные законы развития языка ^[241] 39. <186>

Какие же конкретные формы принимает взаимодействие процессов функционирования и развития языка?

Как указывалось выше, для языка существовать — значит находиться в непрерывной деятельности. Это положение, однако, не должно приводить к ложному заключению, что каждое явление, возникшее в процессе деятельности языка, следует относить к его развитию. Когда «готовые» слова, удовлетворяя потребность людей в общении, аккуратно укладываются в существующие правила данного языка, то в этом едва ли можно усмотреть какой-либо процесс развития языка и по этим явлениям определять законы его развития. Поскольку в развитии языка речь идет об обогащении его новыми лексическими или грамматическими элементами, о совершенствовании, улучшении и уточнении грамматической структуры языка, поскольку, иными словами, речь идет об изменениях, происходящих в структуре языка, постольку здесь необходима дифференциация различных явлений. В зависимости от специфики различных компонентов языка новые явления и факты, возникающие в процессе функционирования языка, могут принимать различные формы, но все они связываются с его развитием только в том случае, если они включаются в систему языка как новые явления закономерного порядка и тем самым способствуют постепенному и непрерывному совершенствованию его структуры.

Функционирование и развитие языка не только взаимосвязаны друг с другом, но и обладают большим сходством. Формы тех и других явлений в конечном счете определяются одними и теми же структурными особенностями языка. И те и другие явления могут привлекаться для характеристики особенностей, отличающих один язык от другого. Поскольку развитие языка осуществляется в процессе функционирования, вопрос, видимо, сводится к выявлению способов перерастания явлений функционирования в явления развития языка или к установлению критерия, с помощью которого окажется возможным проводить размежевание указанных явлений.

Устанавливая, что структура языка представляет собой такое образование, детали которого связаны друг с другом закономерными отношениями, в качестве критерия включения нового языкового факта в структуру языка можно избрать его обязательную «двуплановость». Каждый элемент структуры языка должен представлять закономерную связь по крайней мере двух элементов последнего, один из которых по отношению к другому будет представлять его своеобразное «языковое» значение. В противном случае этот элемент окажется вне структуры языка. Под «языковым» значением надо понимать, следовательно, фиксированную и закономерно проявляющуюся в деятельности языка связь одного элемента его структуры с другим. «Языковое» значение есть второй план элемента структуры языка ^[242] 40. Формы связи элементов структуры модифицируются в соответствии со специфическими особенностями тех структурных компонентов языка, в которые они входят; но они обязательно присутствуют во всех элементах структуры языка, причем к числу структурных элементов языка следует относить и лексическое значение. Опираясь на это положение, можно утверждать, что звук или комплекс звуков, без «языкового» значения, так же как и значение, тем или иным образом закономерно не связанное со звуковыми элементами языка, находится вне его структуры, оказывается не языковым явлением. «Языковыми» значениями обладают грамматические формы, слова и морфемы как члены единой языковой системы.

Если, следовательно, факт, возникший в процессе функционирования языка, остается одноплановым, если он лишен «языкового» значения, то не представляется возможным говорить о том, что он, включаясь в структуру языка, может изменить ее, т. е. определять его как факт развития языка. Например, понятие временных отношений или понятие характера действия (вида), которые оказывается возможным тем или иным (описательным) образом выразить в языке, но которые не получают, однако, фиксированного и закономерно проявляющегося в деятельности языка способа выражения в виде соответствующей грамматической формы, конструкции или грамматического правила, нельзя рассматривать как факты структуры языка и связывать их с ее

развитием. Если в этой связи подвергнуть рассмотрению ряд английских предложений

I must go Я должен идти

I have to go оно не иду в
настоящее

I can go Я могу идти время,

I may go и пр.

станет ясно, что по своему логическому содержанию все они выражают действие, которое можно отнести к будущему времени, и их по этому признаку можно было бы поставить в один ряд с I shall go или You will go, что, кстати говоря, и делает в своей книге американский языковед Кантор [\[243\]](#) 41 насчитывая, таким образом, в английском языке 12 форм будущего времени. Однако хотя в таком выражении, как I must go и пр., понятие времени и выражается языковыми средствами, оно не имеет, как конструкция I shall go, фиксированной формы; оно, как обычно принято говорить, не грамматикализовано и поэтому может рассматриваться как факт структуры языка только с точки зрения общих правил построения предложения.

С этой точки зрения лишенным «языкового» значения оказывается и речевой звук, взятый в изолированном виде. То, что может иметь значение в определенном комплексе, т. е. в фонетической системе, не сохраняется за элементами вне этого комплекса. Изменения, которые претерпевает такой речевой звук, если они проходят помимо связей с фонетической системой языка и, следовательно, лишены «языкового» значения, оказываются также за пределами языковой структуры, как бы скользят по ее поверхности и поэтому не могут быть связаны с развитием данного языка.

Вопрос о возникновении в процессе функционирования языка как единичных явлений, так и фактов собственно развития языка тесно переплетается с вопросом ¹⁸⁹ о структурной обусловленности всех явлений, происходящих в первом. Ввиду того, что все происходит в пределах определенной структуры языка, возникает естественное стремление связывать все возникшие в нем явления с его развитием. В самом деле, поскольку действующие в каждый данный момент нормы или правила языка определяются наличной его структурой, постольку возникновение в языке всех новых явлений — во всяком случае в отношении своих форм — также обуславливается наличной

структурой. Иными словами, поскольку функционирование языка определяется наличной его структурой, а факты развития возникают в процессе его функционирования, постольку можно говорить о структурной обусловленности всех форм развития языка. Но и это положение не дает еще основания делать вывод, что все структурно обусловленные явления языка относятся к фактам его развития. Нельзя структурной обусловленностью всех явлений деятельности языка подменять его развитие. Здесь по-прежнему необходим дифференцированный подход, который можно проиллюстрировать примером.

Так, в фонетике отчетливее, чем в какой-либо иной сфере языка, прослеживается то положение, что не всякое структурно обусловленное явление (или, как принято еще говорить, системнообусловленное явление) можно относить к фактам развития языка.

На протяжении почти всего периода своего существования научное языкознание делало основой исторического изучения языков, как известно, фонетику, которая нагляднее всего показывала исторические изменения языка. В результате тщательного изучения этой стороны языка книги по истории наиболее изученных индоевропейских языков представляют в значительной своей части последовательное изложение фонетических изменений, представленных в виде «законов» разных порядков в отношении широты охвата явлений. Таким образом, сравнительно-историческая фонетика оказывалась тем ведущим аспектом изучения языка, с помощью которого характеризовалось своеобразие языков и путей их исторического развития. При ознакомлении с фонетическими процессами в глаза всегда бросается их большая самостоятельность и независимость от внутриязыковых, общественных или иных потребностей. Свобода выбора¹⁹⁰ направления фонетического изменения, ограниченного только особенностями фонетической системы языка, в ряде случаев представляется здесь почти абсолютной. Так, сопоставление готского *himins* (небо) и древнеисландского *himinn* с формами этого слова в древневерхненемецком *himil* и в древнеанглийском *heofon* показывает, что во всех названных языках наблюдаются разные фонетические процессы. В одних случаях наличествует процесс диссимиляции (в древневерхненемецком и древнеанглийском), а в других случаях он

отсутствует (готский и древнеисландский). Если же процесс диссимиляции осуществлялся, то в древнеанглийском *heofon* он пошел в одном направлении (*mf*, регрессивная диссимиляция), а в древневерхненемецком *himil* в другом направлении (*n1*, прогрессивная диссимиляция). Едва ли подобные частные явления можно отнести к числу фактов развития языка. Отчетливо проявляющееся «равнодушие» языков к подобным фонетическим процессам обусловлено их одноплановостью. Если подобные процессы никак не отзываются на структуре языка, если они совершенно не затрагивают системы внутренних закономерных отношений ее структурных частей, если они не служат, по-видимому, целям удовлетворения каких-либо назревших в системе языка потребностей, то языки не проявляют заинтересованности ни в осуществлении этих процессов, ни в их направлении. Но язык, однако, может в дальнейшем связать подобные «безразличные» для него явления с определенным значением, и в этом будет проявляться выбор того направления, по которому в пределах существующих возможностей пошло развитие языка.

В подобного рода фонетических процессах можно установить и определенные закономерности, которые чаще всего обуславливаются спецификой звуковой стороны языка. Поскольку все языки являются звуковыми, постольку такого рода фонетические закономерности оказываются представленными во множестве языков, принимая форму универсальных законов. Так, чрезвычайно распространенным явлением оказывается ассимиляция, проявляющаяся в языках в многообразных формах и находящая различное использование. Можно выделить: связанные позиционным положением случаи ассимиляции (как в русском слове *пшитьсяшить*); ассимиляции, возникающие на стыках слов и нередко представляемые в виде регулярных правил «сандхи» (например, закон Ноткера в древневерхненемецком или правило употребления сильных и слабых форм в современном английском языке: *she* в сочетании *itisshe* [itizSi:] и в сочетании *shesays* [Sisez]); ассимиляции, получающие закономерное выражение во всех соответствующих формах языка и нередко замыкающие свое действие определенными хронологическими рамками, а иногда оказывающиеся специфичными для целых групп или семейств языков. Таково, например, преломление в древнеанглийском, различные виды умлаутов в древнегерманских языках, явление сингармонизма финно-

угорских и тюркских языков (ср. венгерское *ember-nek* — «человеку», но *medār-nek* — «птице», турецкое *tash-lar-dar* — «в камнях», но *el-ler-der* — «в руках») и т. д. Несмотря на многообразие подобных процессов ассимиляции, общим для их универсального «закономерного» проявления является то обстоятельство, что все они в своих источниках — следствие механического уподобления одного звука другому, обусловливаемого особенностями деятельности артикуляционного аппарата человека. Другое дело, что часть этих процессов получила «языковое» значение, а часть нет.

В «автономных» фонетических явлениях трудно усмотреть и процессы совершенствования существующего «фонетического качества» языка. Теория удобства применительно к фонетическим процессам, как известно, потерпела полное фиаско. Фактическое развитие фонетических систем конкретных языков разбивало все теоретические выкладки лингвистов. Немецкий язык, например, по второму передвижению согласных развил группу аффрикат, произношение которых, теоретически говоря, отнюдь не представляется более легким и удобным, чем произношение простых согласных, из которых они развились. Наблюдаются случаи, когда фонетический процесс в определенный период развития языка идет по замкнутому кругу, например, в истории английского языка *bʒsbakbask*(жж). Сопоставительное рассмотрение также ничего не дает в этом отношении. Одни языки нагромождают согласные (болгарский, польский), другие поражают обилием гласных (финский). Общее¹⁹² направление изменения фонетической системы языка также часто противоречит теоретическим предпосылкам удобства произношения. Так, древневерхненемецкий язык в силу большей насыщенности гласными был, несомненно, более «удобным» и фонетически «совершенным» языком, чем современный немецкий язык.

Очевидно, что «трудность» и «легкость» произношения определяются произносительными привычками, которые меняются. Таким образом, эти понятия, так же как и координированное с ними понятие совершенствования, оказываются, если их рассматривать в одном фонетическом плане, чрезвычайно условными и соотносимыми только с произносительными навыками людей в определенные периоды развития каждого языка в отдельности. Отсюда следует, что

говорить о каком-либо совершенствовании применительно к фонетическим процессам, рассматриваемым изолированно, не представляется возможным.

Все сказанное отнюдь не отнимает у фонетических явлений права соответствующим образом характеризовать язык. Уже и перечисленные примеры показывают, что они могут быть свойственны строго определенным языкам, иногда определяя группу родственных языков или даже целое их семейство. Так, например, сингармонизм гласных представлен во многих тюркских языках, обладая в одних наречиях функциональным значением, а в других нет. Точно так же такое явление, как первое передвижение согласных (генетически, правда, не сопоставимое с разбираемыми видами ассимиляций), является наиболее характерной чертой германских языков. Больше того, можно даже установить известные границы фонетических процессов данного языка — они будут определяться фонетическим составом языка. Но характеризовать язык только внешним признаком вне всякой связи со структурой языка не значит определять внутреннюю сущность языка.

Таким образом, в фонетических явлениях, во множестве проявляющихся в процессе функционирования языка, необходимо произвести дифференциацию, в основу которой следует положить связь данного фонетического явления со структурой языка. В истории развития конкретных языков наблюдаются многочисленные случаи, когда развитие языка связывается с фонетическими изменениями. Но вместе с тем оказывается возможным в истории тех же самых языков указать на фонетические изменения, которые никак не объединяются с другими явлениями языка в общем движении его развития. Эти предпосылки дают возможность подойти к решению вопроса о взаимоотношениях между процессами функционирования языка и внутренними закономерностями его развития.

К проблеме законов развития языка самым непосредственным и тесным образом примыкают исследования, направленные в сторону вскрытия связей отдельных явлений языка, возникающих в процессе его функционирования, с системой языка в целом. Ясно с самого начала, что процессы, проходящие в одном языке, должны отличаться от процессов и явлений, проходящих в других языках, поскольку они

осуществляются в условиях разных языковых структур. В этом отношении все явления каждого конкретного языка, как уже указывалось выше, оказываются структурно обусловленными, или системными, и именно в том смысле, что они могут появиться в процессе функционирования только данной системы языка. Но их отношение к структуре языка различно, и на вскрытие этих отличий и должно быть направлено лингвистическое исследование. Довольствоваться же только одними внешними фактами и все различия, которыми отличается один язык от другого, априорно относить за счет законов развития данного языка было бы легкомысленно. До тех пор пока не вскрыта внутренняя связь любого из фактов языка с его системой, невозможно говорить о развитии языка, тем более о его закономерностях, как бы это ни представлялось заманчивым и «само собой разумеющимся». Не следует забывать того, что язык — явление очень сложной природы. Язык как средство общения использует систему звуковых сигналов или, иными словами, существует в виде звуковой речи. Тем самым он получает физический и физиологический аспект. Как в грамматических правилах, так и в отдельных лексических единицах находят свое выражение и закрепление элементы познавательной работы человеческого разума, только с помощью языка возможен процесс мышления. Это обстоятельство неразрывным образом связывает язык с мышлением. Через посредство языка находят свое выражение и психические состояния¹⁹⁴ человека, которые накладывают на систему языка определенный отпечаток и таким образом тоже включают в него некоторые дополнительные элементы. Но и звук, и органы речи, и логические понятия, и психические явления существуют не только как элементы языка. Они используются языком или находят свое отражение в нем, но, кроме того, имеют и самостоятельное бытие. Именно поэтому звук человеческой речи имеет самостоятельные физические и физиологические закономерности. Свои законы развития и функционирования имеет и мышление. Поэтому постоянно существует опасность подмены закономерностей развития и функционирования языка, например, закономерностями развития и функционирования мышления. Необходимо считаться с этой опасностью и во избежание ее рассматривать все факты языка только

через призму их связанности в структуру, которая и превращает их в язык.

Хотя каждый факт развития языка связывается с его структурой и обуславливается в формах своего развития наличной структурой, его нельзя связывать с законами развития данного языка до тех пор, пока он не будет рассмотрен во всей системе фактов развития языка, так как при изолированном рассмотрении фактов этого развития невозможно определение регулярности их проявления, что составляет одну из существенных черт закона. Только рассмотрение фактов развития языка во всей их совокупности позволит выделить те процессы, которые определяют основные линии в историческом движении языков. Только такой подход позволит в отдельных фактах развития языка вскрыть законы их развития. Это положение требует более подробного разъяснения, для чего представляется необходимым обратиться к рассмотрению конкретного примера.

Среди значительного числа разнообразных фонетических изменений, возникших в процессе функционирования языка, выделяется один какой-либо конкретный случай, включающийся в систему и ведущий к ее изменению. Такого рода судьба постигла, например, умлаутные формы ряда падежей односложных согласных основ древнегерманских языков. В своих истоках это обычный процесс ассимиляции, механическое уподобление коренной гласной элементу — *i(j)*, содержащемуся в окончании. В разных германских языках этот процесс отражался по-разному. В древнеисландском и древненорвежском умлаутные формы в единственном числе имели дательный падеж, а во множественном — именительный и винительный. В остальных случаях наличествовали неумлаутные формы (ср., с одной стороны, *fīste, fīstr*, а с другой — *fotr, fotar, fota, fotum*). В древнеанглийском языке приблизительно аналогичная картина: дательный единственного числа и именительный — винительный множественного имеют умлаутные формы (*fet, fet*), а остальные падежи обоих чисел неумлаутные (*fot, fotes, fota, fotum*). В древневерхненемецком соответствующее слово *fuoZ* принадлежавшее ранее к остаткам существительных с основой на — *u*, не сохранило своих старых форм склонения. Оно перешло в склонение существительных с основами на — *i*, которое, за исключением остаточных форм инструментального падежа (*gestiu*), имеет уже

унифицированные формы: с одной гласной для единственного числа (gast, gastes, gaste) и с другой гласной для множественного числа (gesti, gestio, gestim, gesti). Тем самым уже в древний период намечаются процессы, как бы подготавливающие использование результатов действия i-умлаута для грамматической фиксации категории числа именно в том смысле, что наличие умлаута определяет форму слова как форму множественного числа, а отсутствие его указывает на единственное число.

Замечательно, что в самом начале среднеанглийского периода сложились условия, совершенно тождественные условиям немецкого языка, так как в результате действия аналогии все падежи единственного числа выровнялись по неумлаутной форме. Если при этом учесть проходящее в эту эпоху стремительное движение в сторону полной редукции падежных окончаний, то теоретически следует признать в английском языке наличие всех условий, чтобы противопоставление умлаутных и неумлаутных форм типа fot/fet использовать в качестве средства различения единственного и множественного числа существительных. Но в английском языке данный процесс запоздал. К этому времени в английском языке возникли уже другие формы развития, поэтому образование множественного числа посредством модификации коренной гласной замкнулось в английском языке в пределах нескольких остаточных форм, которые с точки зрения современного языка воспринимаются почти как супплетивные. В других германских языках дело обстояло по-другому. В скандинавских языках, например в современном датском, это довольно значительная группа существительных (в частности, существительных, образующих множественное число с помощью суффикса — (e)r). Но наибольшее развитие это явление получило в немецком языке. Здесь оно нашло прочные точки опоры в структуре языка. Для немецкого языка это уже давно не механическое приспособление артикуляций, а одно из грамматических средств. Собственно, сам умлаут как реально проявляющееся ассимиляционное явление давно исчез из немецкого языка, так же как и вызывавший его элемент i. Сохранилось только чередование гласных, связанное с этим явлением. И именно потому, что это чередование оказалось связанным закономерными связями с другими элементами системы и тем самым включено в нее в качестве

продуктивного способа формообразования, оно было пронесено через последующие эпохи существования немецкого языка, сохранив и тип чередования; оно использовалось также в тех случаях, когда никакого исторического умлаута в действительности не было. Так, уже в средневерхненемецком наличествуют существительные, имеющие умлаутные формы образования множественного числа, хотя они никогда не имели в окончаниях элемента *i*: *dste*, *f̄hse*, *ndgel* (древневерхненемецкие *asta*, *fuhsa*, *nagala*). В данном случае уже правомерно говорить о грамматике в такой же мере, как и о фонетике.

Сравнивая грамматикализацию явления *i*-умлаута в германских языках, в частности в немецком и английском, мы обнаруживаем в протекании этого процесса существенную разницу, хотя в начальных своих этапах он имеет много общего в обоих языках. Он зародился в общих структурных условиях, дал тождественные типы чередования гласных, и даже сама его грамматикализация протекала по параллельным линиям. Но в английском языке это не более как одно из не получивших широкого развития явлений, один из «незавершенных замыслов языка», оставивший след в очень ограниченном кругу элементов системы английского языка. Это, несомненно, факт эволюции языка, так как, возникнув в процессе функционирования, он вошел в систему английского языка и тем самым произвел некоторые изменения в его структуре. Но сам по себе он не закон развития английского языка, во всяком случае для значительной части известного нам периода его истории. Для того чтобы стать законом, этому явлению не хватает регулярности. Говорить о лингвистическом законе можно тогда, когда налицо не один из многих предлагаемых на выбор наличной структурой путей развития языка, а коренящаяся в самой основе структуры, вошедшая в ее плоть и кровь специфическая для языка черта, которая устанавливает формы его развития. Основные линии развития английского языка пролегли в другом направлении, оставаясь, однако, в пределах наличных структурных возможностей, которые во всех древних германских языках имеют много сходных черт. Английский язык, которому оказался чужд тип формообразования посредством чередования коренной гласной, отодвинул этот тип в сторону, ограничив его сферой периферийных явлений.

Иное дело немецкий язык. Здесь это явление не частный эпизод в богатой событиями жизни языка. Здесь это многообразное использование регулярного явления, обязанного своим возникновением структурным условиям, составляющим в данном случае уже основу качественной характеристики языка. В немецком языке это явление находит чрезвычайно широкое применение как в словообразовании, так и в словоизменении. Оно используется при образовании уменьшительных на — el, — lein или — chen: Knoch — Кнцchel, Haus — Hduslein, Blatt — Blдttchen; имен действующих лиц (nomina-agentis) на — er: Garten — Gдrtner, jagen — Jдger, Kufe — Кьfer; имен существительных одушевленных женского рода на — in: Fuchs — Фьchsin, Hund — Ньndin; абстрактных существительных, образованных от прилагательных: lang — Лдnge, kalt — Кдlte; каузативов от сильных глаголов: trinken — трдnken, saugen — сдугen; абстрактных имен существительных на — nis: Bund — Бьndnis, Grab — Grдbnis, Kummer — Кьmmernis; при образовании форм множественного числа у ряда существительных мужского рода: Vater — Vдter, Tast — Тдste; женского рода: Stadt — Stdte, Macht — Мдchte; среднего рода: Haus — Hduser; при образовании форм прошедшего времени конъюнктива: kam — кдme, dachte — ддchte; степеней сравнения прилагательных: lang — лдnger — лдngest, hoch — hцher — hцchst и т. д. Словом, в немецком языке наличествует<198> чрезвычайно разветвленная система формообразования, построенная на чередовании гласных именно этого характера. Здесь чередование гласных по i-умлауту, систематизируясь и оформляясь как определенная модель словоизменения и словообразования, даже выходит за свои пределы и в своем общем типе формообразования смыкается с преломлением и аблаутом. Разные линии развития в немецком языке, взаимно поддерживая друг друга в своем формировании, сливаются в общий по своему характеру тип формообразования, включающий разновременно возникшие элементы. Этот тип формообразования, основанный на чередовании гласных, возникший в процессе функционирования языка первоначально в виде механического явления ассимиляции, получивший в дальнейшем «языковое» значение и включившийся в систему языка, является одним из самых характерных законов развития немецкого языка. Этот тип был определен фонетической структурой языка, он объединился с

другими однородными явлениями и стал одним из существенных компонентов его качества, на что указывает регулярность его проявления в различных областях языка. Он действовал, сохраняя свою активную силу на протяжении значительного периода истории данного языка. Войдя в структуру языка, он служил целям развертывания его наличного качества.

Характерным для данного типа оказывается также то, что оно является той основой, на которой располагаются многочисленные и часто различные по своему происхождению и значению языковые факты. Это как бы стержневая линия развития языка. С ней увязываются разнородные и разновременные возникшие в истории языка факты, объединяемые данным типом формообразования.

В настоящем обзоре был прослежен путь развития только одного явления — от его зарождения до включения в основу качественной характеристики языка, что дало возможность установить явления и процессы разных порядков, каждый из которых, однако, обладает своим различительным признаком. Все они структурно обусловлены или системны в том смысле, что проявляются в процессе функционирования данной системы языка, но вместе с тем их отношение к структуре языка различно. Одни из них проходят как бы по поверхности структуры, хотя они и порождены ею, другие входят в язык как эпизодические факты его эволюции; они не находят в его системе регулярного выражения, хотя и обусловлены, в силу общей причинности явлений, структурными особенностями языка. Третьи определяют основные формы развития языка и регулярностью своего обнаружения указывают на то, что они связаны с внутренним ядром языка, с главными компонентами его структурной основы, создающими известное постоянство условий для обеспечения указанной регулярности их проявления в историческом пути развития языка. Это и есть законы развития языка, так как они целиком зависят от его структуры. Они не являются вечными для языка, но исчезают вместе с теми структурными особенностями, которые породили их.

Все эти категории явлений и процессов все время взаимодействуют друг с другом. В силу постоянного движения языка вперед явления одного порядка могут переходить в явления другого, более высокого, порядка, что предполагает существование переходных типов. Кроме того, наше знание фактов истории языка не всегда достаточно для того,

чтобы с уверенностью уловить и определить наличие признака, позволяющего отнести данный факт к той или иной категории названных явлений. Это обстоятельство, конечно, не может не усложнить проблемы взаимоотношения процессов функционирования языка и закономерностей его развития. <200>

Язык и история

С того времени, когда язык был осознан как исторически изменяющееся явление, многократно подчеркивалась его связь с историей народа и необходимость его изучения для целей истории и неразрывно с ней. Уже один из самых первых зачинателей сравнительно-исторического языкознания — Расмус Раск писал: «Религиозные верования, обычаи и традиции народов, их гражданские институты в древнее время — все то, что мы знаем о них, — в лучшем случае могут дать нам лишь намек на родственные отношения и происхождение этих народов. Вид, в каком они впервые являются перед нами, может послужить для некоторых выводов об их предшествующем состоянии или о тех путях, какими они достигли настоящего. Но ни одно средство познания происхождения народов и их родственных связей в седой древности, когда история покидает нас, не является столь важным, как язык» ^[244] 1. С еще большей определенностью исторический аспект языка подчеркивал Я. Grimm: «Из всех человеческих изобретений, — отмечал он, — которые люди тщательно охраняли и по традиции передавали друг другу, которые они создали в согласии с заложенной в них природой, язык, как ка^{<201>}жется, является величайшим, благороднейшим и неотъемлемейшим достоянием. Возникнув непосредственно из человеческого мышления, принаравливаясь к нему, идя с ним в ногу, язык стал общим достоянием и наследием всех людей, без которого они не могут обойтись, как не могут обойтись без воздуха, и на которое все они имеют равное право...» ^[245] 2.

Свой взгляд на тесную связь языка и истории Я. Grimm выразил с предельной ясностью: «Наш язык — это также наша история» ^[246] 3.

В последующем своем развитии наука о языке постоянно обращалась к этому методологическому по своей сущности положению, но видоизменяла его в соответствии с общелингвистическими концепциями того или иного направления. Так, А. Шлейхер ставил его в связь со своей теорией двух периодов в жизни языка (развития и распада), младограмматики историческое изучение языка выдвинули на передний план, но, истолковывая его как индивидуально-психологическое явление, оторвали от общества.

Напротив того, именно общественную сущность языка всячески подчеркивало социологическое направление в языкознании. Представитель данного направления Ж. Вандриес писал в этой связи:

«Язык не существует вне тех, кто думает и говорит на нем. Он коренится в глубинах индивидуального сознания: отсюда он берет свою силу, чтобы воплотиться в звуках человеческой речи. Но индивидуальное сознание — только один из элементов коллективного сознания, диктующего свои законы индивидууму. Развитие языков, следовательно, есть только один из видов развития общества» [247] 4. Отсюда делается общий вывод и о методах изучения языка: «Только изучая социальную роль языка, можно составить себе представление о том, что такое язык» [248] 5.

Вульгаризаторским подходом к социальной сущности языка (имеющим своим истоком, несомненно, некоторые положения социологической школы) отличались теории акад. Н. Я. Марра, стремившегося установить прямой<202> параллелизм между категориями языка и формами производства, базисов и надстроек [249] 6.

Между тем, как пишет Э. Бенвенист, «когда пытаются сопоставлять язык и общество систематически, возникает очевидное несоответствие» [250] 7. «Поэтому, — как бы подхватывает мысль Э. Бенвениста М. Коэн, — правильно утверждать, что как только пытаются установить прямые соответствия между лингвистической и социальной структурой, приходят к отрицательным выводам» [251] 8.

Советские языковеды также исходят из того положения, что язык и история народа тесно связаны друг с другом.

В этом отношении они продолжают научную традицию, которая была заложена при осознании языка как меняющегося во времени явления и которая прошла через все последующее развитие науки о языке [252] 9, обогатившись пониманием социальной роли языка. Это последнее потребовало того, чтобы исторический подход к изучению языка перестал замыкаться собственно языковыми рамками и был поставлен в связь с историей общества. Иными словами, речь ныне идет не просто об истории языка, а об истории языка как общественного явления.

Таким образом, положение о связи языка и общества остается незыблемой основой для научного изучения языка. Но это положение не следует толковать слишком узко и односторонне. Во-первых, изучение языка не может быть ограничено только историческим аспектом. Во-вторых, изучая язык и историю народа в тесной связи друг с другом, нельзя забывать о специфике закономерностей развития, свойственных, с одной стороны, языку,^{<203>} а с другой стороны, носителю этого языка — народу. Таким образом, в лингвистике проблему связи языка с историей следует рассматривать с точки зрения того, каким образом структура языка реагирует на факты общей истории (какое преломление в структуре языка получают эти факты). И, в-третьих, вопрос о связи истории языка с историей народа нельзя ограничивать только одним направлением и проследивать только влияние истории общества на развитие языка. Несомненно, что к этой проблеме самое непосредственное отношение имеют также и различные виды контактов языков (которые обуславливаются историческими и территориальными факторами), процессы и формы скрещения языков, взаимоотношения языка и культуры, проницаемость различных сфер языков, отношение языка к социальной структуре общества и т. д.

Ниже проблема связи языка и истории и будет рассмотрена в этом широком плане — по отдельным самым существенным аспектам. Наиболее целесообразным представляется начать с различных видов контактов языков.

Контакты языков

«Соприкосновение языков, — пишет Ж. Вандриес, — является исторической необходимостью, и соприкосновение это неизбежно влечет за собой их взаимопроникновение» ^[253] 10. Какие бы формы ни принимало соприкосновение языков (их контакты), на результаты их «общения» оказывают влияние не только сами формы контактов и структура языков, но и факты неязыкового характера: экономические, политические, военные условия соприкосновения языков, культурный престиж вступивших в контакт языков, многочисленность говорящих на них народов и т. д. Разумеется, нет никакой возможности предусмотреть все многообразие этих внеязыковых факторов и расклассифицировать их по каким-либо общим категориям. Здесь оказывается возможным сделать только один общий вывод: изучение контактов конкретных языков необходимо всегда проводить с обязательным учетом исторических (в самом широком смысле <204> этого слова) условий, в которых возникают эти контакты.

В науке о языке в настоящее время принято выделять следующие типы контактов языков (или результатов контактов):

адстрат — сосуществование и соприкосновение языков (обычно в пограничных районах) с их взаимовлиянием;

суперстрат — этим термином определяют язык, наслаивающийся на язык коренного населения и растворяющийся с течением времени в этом последнем;

субстрат — под этим термином понимают язык-подоснову, который растворяется в наслоившемся на нем языке. Иными словами, явление, обратное суперстрату.

Все эти формы контактов могут привести к скрещению языков. О каких бы типах контактов ни шла речь, очевидно, что в действительности соприкасаются (т. е. вступают в контакт) не сами языки, как таковые. Контакты языков осуществляются через людей, говорящих на данных языках. Это обстоятельство и дает основание для разграничения контактов языков и их результатов. Человеческое общество и психика человека являются той средой, где осуществляются контакты языков, но результаты этих контактов находят свое отражение в структурах языков. У. Вайнрайх,

посвятивший контакту языков специальную монографию, следующим образом осуществляет это разграничение: «...два или больше языков находятся в контакте, если они попеременно используются одним и тем же лицом. Местом осуществления контакта является, таким образом, человек, говорящий на языках. Процесс попеременного использования языков называется билингвизмом, а человек, использующий их, — билингвом. Явления отклонения от нормы языков (используемых билингвом), которые возникают в результате его знакомства с более чем одним языком, т. е. в результате контакта языков, называются взаимопроникновением языков» [254] 11. Это определение и разграничение нуждается, однако, в одной существенной поправке. До тех пор пока такие контакты языков происходят в индивидуальной сфере, т. е. до тех пор пока возникающие в результате этих контактов явления ограничиваются индивидуальными языковыми навыками, они не являются еще фактами языка как такового. Такие частные случаи представляют психологический, а не лингвистический интерес. Поскольку язык обслуживает все общество в целом, постольку указанные контакты языков и порождаемые ими явления становятся собственно языковыми только тогда, когда они приобретают закономерный и нормативный характер, т. е. когда они распространяются на все общество в целом или во всяком случае на значительные его части. Но для того чтобы частные случаи контактов языков переросли в общественные, необходимы соответствующие исторические условия. Это обстоятельство еще раз указывает на историческую подоснову всех типов контактов языков.

Термин адстрат введен одним из основателей неолингвистического направления — М. Бартоли [255] 12, но то явление, которое покрывается ныне этим термином, давно привлекало к себе внимание лингвистов. Особое значение оно получило после выхода в 80-е годы прошлого столетия работы И. Шмидта, посвященной взаимоотношениям индоевропейских языков [256] 13. Выдвинутая в этой работе «теория волн» была направлена против схематичности и прямолинейности теории «родословного дерева» А. Шлейхера, представлявшего развитие индоевропейских языков в виде распада общей основы на ряд групп, или ветвей, с дальнейшей дифференциацией их на отдельные языки. «В соответствии с

концепцией Шлейхера, — пишет в этой связи Дж. Бонфанте, — языки (например, индоевропейские языки), «вырастают» из общей праосновы, т. е. из индоевропейского языка наподобие ветвей из ствола дерева. Как только они отрастают от общего ствола, они полностью изолируются друг от друга и навсегда теряют взаимный контакт. Каждый из них живет и умирает в одиночку, в абсолютной пустоте, без всякой связи с земной реальностью. Говорили ли на славянских языках в России, Индии или Испании, находятся ли они к западу, востоку или к северу от балтийских, германских или иранских языков, — все подобные обстоятельства совершенно не интересуют Шлейхера и его рабских последователей — младограмматиков. Для них имеет значение только тот факт, что славянские языки «произошли» из индоевропейского посредством установленных, священных, абсолютных фонетических законов. Как хорошо известно, новая теория, которая, напротив того, кладет географическое местоположение языков в основу их классификации, была выдвинута Иоганном Шмидтом и позднее развита, видоизменена и улучшена Жильероном и неолингвистами» [257] 14.

Изучая отношения балтийско-славянской группы языков с германскими и индоиранскими, греческого с латинским и индоиранскими языками, И. Шмидт обнаружил, что географическое положение этих языков, сам факт «соседства» и соприкосновения одной группы языков с другой, оказывает прямое влияние на наличие у них общих элементов в лексике и грамматике. Соседние языки обнаруживают свойственные только им черты, и таким образом один язык как бы смыкается с другим, постепенно, без резких границ переходит в другой. В соответствии с этим И. Шмидт по-иному представляет и родственные отношения индоевропейских языков: считая, что «родословное дерево» Шлейхера есть абстрактная фикция, он вводит в обращение образ волны, которая распространяется концентрическими кругами от центра. Подобным же образом происходит и распространение языковых явлений, наиболее определенных и ясных в «центре» языкового круга и постепенно затухающих на «крайней периферии», где они сливаются с периферийными волнами соседнего языкового круга.

Возникновение лингвистической географии позволило проверить наблюдения и выводы И. Шмидта с помощью изоглосс, т. е. линий

географического распространения отдельных языковых явлений — фонетических, лексических, грамматических. Метод изоглосс, позволяющий наглядно проследить взаимопроникновение языков в месте их контактов (явление адстрата) и последующее их<207> проникновение в глубь территориального распространения соседних языков, получает дальнейшее теоретическое и даже методологическое осмысление в неолингвистике, которая в силу всяческого подчеркивания значения географического фактора иногда именуется также пространственной или ареальной лингвистикой. Бартоли разработал «нормы ареалов», которые составляют основу неолингвистического метода изучения языков. Близко примыкающий к концепции неолингвистики итальянский языковед В. Пизани (сам он себя, впрочем, считает последователем И. Шмидта и П. Кречмера) следующим образом излагает сущность нового метода: «Согласно Бартоли, всякое новообразование возникает в языке в результате контаминации (скрещивания) двух ранее отдельно существовавших языковых фактов, и, следовательно, каждое языковое изменение коренится, вообще говоря, в языковом смешении; новообразование может распространяться за счет ранее существовавших в языке фактов, когда оно обладает достаточным «престижем» у говорящих. Для того чтобы разрешить вопрос, где и в силу каких причин возникло новообразование, необходимо прежде всего охарактеризовать «новое» в сопоставлении с тем, что существовало вместо него. Из этого следует, что, когда мы рассматриваем два языковых факта, из которых один сменил другой на данной территории, вопрос заключается в том, какой из двух фактов старше. С этой целью Бартоли, выбрав несколько сот пар слов из романских языков, формулирует свои нормы ареалов, служащие признаком хронологического соотношения этих двух родственных языковых фактов (например, *equus* — *caballus* и т. п.). Бартоли не выдвигал этого признака в качестве абсолютного критерия; он постоянно подчеркивал это, хотя на практике он сам часто приписывал своим нормам большую доказательную силу, чем им могло принадлежать по праву. Обычно бывает так, что языковые факты, распространенные на большем ареале, старше фактов, распространенных на меньшем ареале; что факты, распространенные на боковых (латеральных, маргинальных) ареалах, старше фактов, распространенных на центральном ареале. Все эти нормы

перекрываются нормой «изолированного» ареала, который, будучи наименее подвержен воздействиям со стороны других языков или<208> диалектов, обычно в наименьшей степени захватывается и новообразованиями» [258] 15.

Введение локального фактора в исследование отношений индоевропейских языков в древнейшие периоды их развития (что действительно приближает их к более реальным условиям существования), как и использование «норм ареалов» для установления относительной хронологии языковых новообразований (если только не придавать им абсолютного характера и не рассматривать как решающий критерий), имеет, разумеется, положительное значение для уточнения методики лингвистического исследования. Но истолкование адстратных явлений, свойственное неолингвистике, сопровождалось крайностями, которые не могут вызвать одобрительного к себе отношения. Опора на изоглоссы как на основной критерий при лингвистических исследованиях привела к своеобразному атомизму, в котором неолингвисты так яростно обвиняли младограмматиков. Разложение языка на изоглоссы приводит к разрушению его структуры и к пренебрежению теми закономерностями развития языка, которые обуславливаются структурной его организацией. Этот изоглоссный атомизм привел к весьма спорным выводам относительно многих основных вопросов языкознания. Поскольку структурные особенности языков перестали учитываться, постольку стерлись и границы между языками. Этому способствует и то, что отдельные изоглоссы иногда переходят границу не только соседнего родственного языка, но даже и не родственного. Отсюда был сделан вывод о том, что все языки носят смешанный характер и собственно процессы смешения являются причиной языковых изменений. Если влияние одного языка на другой при такой форме контакта оказывалось достаточно сильным, то языкам даже приписывалась способность изменять свою «вассальную зависимость» и, накопив определенное количество новых признаков, переходить из одного семейства в другое. В соответствии с такой трактовкой возникло и новое разграничение между родством языков, т. е. их общим происхождением от одного языка-предка, и сродством языков (Affinität), под которым разумеются<209> общие черты, возникшие в результате сближения языков.

На понятии сродства языков строится теория возникновения языковых объединений в результате взаимовлияния длительно сосуществующих языков и постепенного их схождения. Таким построенным на сродстве языковым объединениям было присвоено название языковых союзов (Sprachbund). Одним из первых этому вопросу посвятил работу Н. С. Трубецкой ^[259] 16. Выделив в структуре индоевропейских языков шесть основных фонетических, морфонологических и морфологических черт, он стремится установить наличие или отсутствие их также и в неиндоевропейских языках, имея в виду возможность выхода отдельных «структурных» изоглосс за пределы одного языкового семейства. Н. С. Трубецкой устанавливает, что выделенные им основные черты индоевропейских языков по отдельности встречаются и в неиндоевропейских языках, но все шесть — только в индоевропейских. Однако такое положение, по его мнению, не является стабильным и, приобретя все шесть выделенных структурных признаков, неиндоевропейский язык может стать индоевропейским. По тому составу структурных признаков, который Н. С. Трубецкой обнаруживает в неиндоевропейских языках, он заключает, что область образования индоевропейских языков должна была располагаться между областями образования, с одной стороны, финноугорских языков, а с другой — семитских. Именно так располагаются, по его мнению, постепенные переходы одного семейства языков в другое, подобные тем волнообразным переходам, которые И. Шмидт обнаружил в отношениях внутри индоевропейских языков.

Теорию языковых союзов взяли себе на вооружение неолингвисты, так как она полностью соответствует их общей концепции. «Так же как нет реальных границ или барьеров между языками одной группы (например, <210> французским, провансальским, итальянским и т. д.), — пишет представитель крайнего крыла неолингвистов Дж. Бонфанте, — так нет их и между языками одного семейства (например, французским и немецким или между немецким и чешским) или даже между языками различных семейств (например, русским и финским). В этом случае неолингвисты в их борьбе против младограмматической концепции монолитности языков предвосхитили один из наиболее важных принципов пражской школы — принцип языковых союзов... Совершенно очевидно, что если чешский единственный среди других

славянских языков имеет ударение на корне, то это в силу германского влияния, а немецкое *einHund*, *derHund*, *ichhabegesehen*, *mansagt* — нельзя отделить от французских *unchien*, *lechien*, *jaïvu*, *ondit* вне зависимости от того, где подобные образования (отсутствующие в латинском и «прагерманском») впервые возникли» [260] 17. Все подобные соображения, однако, остаются чисто теоретическими предположениями и не получили еще сколько-нибудь обоснованного подтверждения соответствующими исследованиями. Едва ли, впрочем, гипотеза Н. С. Трубецкого вообще когда-либо сможет найти свое подтверждение в том грандиозном масштабе, в каком он набросал ее в своей работе. Однако можно допустить, что длительное сосуществование и взаимодействие языков может привести к развитию у них некоторых общих черт, без того, однако, чтобы они при этом изменяли своей «вассальной зависимости». В качестве примера подобных языковых союзов можно привести языки Балканского полуострова (см. подробнее ниже). Вместе с тем надо иметь в виду, что язык, говоря словами Сепира, «наиболее самодовлеющий, наиболее устойчивый и способный к сопротивлению из всех социальных феноменов. Легче уничтожить его, нежели подвергнуть разложению его индивидуальную форму» [261] 18. Поэтому если и сохранять термин языкового союза, то предпочтительно разуместь при этом не благоприобретенное «семейное» родство, а ту совокупность общих черт, которые развиваются у длительно сосуществующих языков, не внося хаос в их генетические связи и отношения.<211>

Термин суперстрат был впервые употреблен В. Вартбургом на конгрессе романистов в Риме в 1932 г. Он следующим образом обосновывал необходимость нового термина: «Он образует необходимое добавление к термину «субстрат». О суперстрате мы будем говорить тогда, когда позднее проникающий в страну народ (в большинстве случаев завоеватель и, следовательно, в военном отношении более сильный) постепенно принимает язык ранее бытовавшего в данной стране народа (чаще всего обладающего культурным превосходством), придавая одновременно этому языку определенные новые тенденции» [262] 19. В качестве примера суперстратных явлений Вартбург приводит влияние языка франков (в эпоху, следующую за падением Римской империи) на латынь. По его мнению, именно германоязычные франки «придали латыни севернее

Луары те существенные черты, которые способствовали возникновению французского языка» [263] 20. В этой области «два языковых ритма, две артикуляционные системы» употреблялись одновременно в течение нескольких столетий, пока германский язык не начал постепенно исчезать, уже придав, однако, латинскому ту форму, которая известна нам по французскому языку.

В качестве другого примера суперстрата можно привести норманнов (романизовавшихся на территории Франции, где им по лену были предоставлены земли), завоевавших в 1066 г. Англию и затем постепенно отказавшихся от своего языка в пользу языка коренного населения — английского. Фактически норманны даже дважды проделывали этот процесс: первый раз на территории Франции, где они приняли французский язык, отказавшись от родного скандинавского, и второй раз уже на территории Англии.

Понятие суперстрата пока не получило в языкознании широкого применения, возможно, вследствие того, что оно имеет много общего с субстратом. Быть может, дальнейшее изучение суперстратных явлений приведет к выявлению в них значительных своеобразных черт. На данном же этапе их изучения можно отметить одну особенность: при суперстратных явлениях всегда известны оба участника разыгрывающейся борьбы языков — и язык-победитель и побежденный язык. Иное дело субстрат, который часто остается неизвестной величиной и нередко только предполагается.

Возникновение понятия субстрата обычно связывают с именем выдающегося итальянского лингвиста прошлого века — Асколи. Но еще в 1821 г. В. Гумбольдт писал: «Смешение различных диалектов является одним из самых важных факторов в процессе образования (генезиса) языков. Иногда возникающий язык получает новые элементы большей или меньшей важности от других языков, которые слились с ним, иногда высокоразвитый язык портится и деградирует, беря очень немного из чужого материала, но прерывая нормальное движение своего развития при употреблении своих более совершенных форм согласно чужеземным образцам и, таким образом, портя свои формы» [264] 21. Одновременно с Гумбольдтом этого вопроса касался также Я. Бредсдорф [265] 22.

Но как методический прием для объяснения возникновения конкретных языковых явлений понятие субстрата впервые все же

применил Асколи. Он указывал, что коренные языки Индии оказали несомненное влияние на развитие индийских языков, появившихся на этой территории позднее. Подобными же «подпочвенными» языковыми влияниями он объяснял и возникновение романских языков. «Я думаю, — писал он, — что было бы полезно в процессе развития романских языков сделать наибольший упор на этнические моменты. Я, в частности, имею в виду те преобразования латинского, которые следует возводить к влиянию кельтского на романский язык» [266] 23. В соответствии с подобной установкой Асколи объяснял переход латинского *u* в *y* (*durus*>*dur*) кельтским влиянием, а возникновение испанского *h* из латинского *f* (*ferrum*>*hierro*) приписывал воздействию иберийского.

В дальнейшем теория субстрата нередко использовалась в качестве универсального средства для объяснения всех тех новообразований и отклонений от «правильного» развития языка, которые не удавалось объяснить иным образом. Г. Хирт объяснял, например, неиндоевропейским субстратом диалектальное дробление индоевропейского языка: «Большие диалектальные группы индоевропейского языка находят свое объяснение главным образом в переносе языка индоевропейских завоевателей на чужезычное завоеванное население и во влиянии языка этого последнего на детей» [267] 24. «Неиндоевропейские» черты германских языков Карстен стремился объяснить финским субстратом, А. Мейе — неизвестным неиндоевропейским субстратом, Файст — иллирийским, Дчев и Гюнтерт — этрусским, а Браун, идя вслед за Марром, — яфетическим (кавказским) субстратом. Неиндоевропейский субстрат устанавливает в древнеирландском Циммер. Покорный же отождествляет его с языками берберийской структуры. По мнению В. Брёндаля, субстрат даже может сообщить языку постоянную инерцию, которая проявляется на всех последующих стадиях развития языка. Так, якобы кельтский субстрат способствовал превращению латинского языка в старофранцузский, старофранцузского во французский классического периода, а этого последнего — в современный французский [268] 25.

Под понятие субстрата ныне подводится не только воздействие языка иного семейства, но также и результат влияния исчезнувших языков того же самого семейства. Следы кельтского субстрата многократно устанавливались во французском и германских языках (Г.

Хирт). Воздействием минойского субстрата объясняет некоторые особенности греческого языка болгарский языковед В. Георгиев [269] 26.

Как показывает даже этот краткий обзор, понятие субстрата уже в силу своего широкого и, по-видимому, <214> не всегда достаточно оправданного использования нуждается в освобождении от всех тех качеств, которые не могут быть ему свойственны, а также в известном ограничении и уточнении. Причем, все, что в этой связи может быть сказано в отношении субстрата, в большей или меньшей степени применимо и к суперстрату, так как многое и в условиях протекания и в конечных своих результатах является у них общим.

В этой связи прежде всего следует отметить, что не всегда ясна граница между заимствованием и субстратом (или суперстратом), особенно когда речь идет о лексических элементах. Например, в современном английском языке по меньшей мере свыше 50 % романской лексики, но следует ли это явление рассматривать как простое заимствование или оно уже перерастает рамки такого заимствования? Стремясь провести здесь разграничение. В. А. Абаев в докладе, сделанном на сессии Института языкознания АН СССР, специально посвященной проблеме субстрата [270] 27, пишет: «... субстрат и заимствование представляют проникновение элементов одной системы в другую. Но при субстрате это проникновение несравненно глубже, интимнее, значительнее. Оно может пронизать все структурные стороны языка, тогда как заимствование, как правило, распространяется только на некоторые разряды лексики. Интимность и глубина сближают субстратные связи со связями, основанными на родстве. И субстрат, и родство предполагают этногенетические связи. В отличие от них заимствование ни в коей мере не связано с этногенезом.

Когда мы пытаемся уяснить, в чем причина своеобразия языковых последствий субстрата, уяснить, почему эти последствия оказываются интимнее и глубже, чем при заимствовании, даже самом интенсивном, мы приходим к проблеме двуязычия. Субстрат связан с переходом с одного языка на другой — процессом... сложным и трудным. Этот процесс предполагает, как переходный этап, более или менее продолжительный период двуязычия. А длительное двуязычие создает предпосылки для далеко идущего смешения и взаимопроникновения

двух<215> языковых систем. Лингвистическую специфику субстрата можно объяснить только на почве двуязычия» [271] 28.

Явление двуязычия, создающее условия для влияния не только субстрата, но и суперстрата и адстрата, нередкое, и его существование отнюдь не ограничивается далекими эпохами. Оно есть следствие различных форм контактов и общения народов и, бытуя в нетождественных социальных обстоятельствах, имеет в наши дни такое же широкое распространение, как и в минувшие эпохи. Двуязычной является значительная часть населения Бельгии, говорящего и на французском и на фламандском языках, двуязычно население Эльзаса, попеременно входившего в состав Франции и Германии и поэтому вынужденного ориентироваться на два государственных языка; как правило, двуязычны обитатели Швейцарии, в разных комбинациях владеющие так называемым швейцарско-немецким, собственно немецким, французским, ретороманским и итальянским; подавляющее большинство бретонцев, живущих во Франции компактными поселениями, наряду с французским сохранили для «внутреннего» употребления также и родной бретонский язык. В Советском Союзе также широко развито двуязычие, где оно тоже носит многообразные формы: кроме многочисленных случаев владения русским языком наряду с родным грузинским, армянским, украинским, латышским и т. д. можно встретить случаи двуязычия, подобного тому, какое, например, имеет место в Бухаре, где все население говорит на узбекском и таджикском языках (а значительная часть населения прибавляет к этому еще и русский) [272] 29.<216>

Процесс влияния одного языка на другой в условиях двуязычия стремится детально проследить в своей работе Б. Террачини [273] 30. «Он исходит из новообразований, — рассказывает об этой работе в своем обзоре В. Пизани — которые возникают тогда, когда говорящий индивид, употребляя в процессе речи для выражения того или иного содержания известные ему элементы, пользуется не теми из них, какие являются употребительными для окружающей его среды, а иными, необщеупотребительными; в дальнейшем эти неупотребительные элементы речи распространяются в данной языковой среде; таким образом происходит слияние и смешение двух различных языковых традиций или же двух течений внутри одной и

той же традиции. Сюда же относится и тот случай субстрата, когда побежденный язык ставится в такие же отношения к языку-победителю, в каких находится говор, растворяющийся в общенародном языке. В этом случае мы имеем дело с результатом максимального смешения, которое может возникнуть из соприкосновения двух языков; говорящий переходит здесь от одного языка к другому так же, как переходит от низшей формы к высшей в пределах одной и той же языковой традиции. Там, где мы можем проследить, как происходит наложение одного языка на другой, мы видим, что один язык вливается в другой подобно иссякающему потоку. Мы имеем дело тогда не с отдельными случайными явлениями, а с общим воздействием одного языка на другой язык, которое бывает то ясно различимым, то скрытым и которое вдруг исчезает, смотря по тому, насколько отдельные серии грамматических фактов совпадают с сериями фактов, которыми они вытесняются» [\[274\]](#) 31.

Сам механизм взаимодействия двух языков в условиях массового двуязычия приводит к тому, что влияние одного языка на другой приобретает закономерный характер. «Проникновение элементов субстратного языка в усваиваемый новый язык, — пишет в этой связи ^{<217>} Абаев, — неизбежно в особенности потому, что при двуязычии владение этим новым, вторым языком не бывает абсолютно полным и совершенным. В силу такого неполного знания говорящая среда допускает ряд неточностей, ошибок в произношении, формоупотреблении, словоупотреблении, синтаксисе. Эти ошибки носят не случайный, а закономерный характер, потому что они вытекают из особенностей родной речи говорящих. Стало быть, с этой точки зрения, языковой субстрат выявляется как совокупность закономерных ошибок, которые делают носители побежденного языка, переходящие на новый язык» [\[275\]](#) 32.

Как указывалось уже в самом начале настоящего раздела, массовое двуязычие, создающее условия для воздействия в масштабе всего языка (а не как некоторое количество частных случаев) и тем самым придающее ему закономерный характер, может быть обусловлено только этногенетическими процессами. Характер этих процессов, политические, экономические, культурные, религиозные условия, в которых осуществляется двуязычие, оказывают самое непосредственное влияние на результаты контактов языков. Тем самым

мы в данном случае имеем дело с одним из аспектов тесного взаимодействия истории языка и истории народа. Чисто лингвистическое рассмотрение различных типов контактов языков не сможет в полной мере раскрыть и объяснить те конкретные следствия контактов языков, которые чрезвычайно варьируются от языка к языку, — для этого их в обязательном порядке надо включить в данный культурно-исторический контекст. Но, с другой стороны, нельзя все сводить к этому культурно-историческому фактору и оставлять вне учета структурные особенности языков, которые неизбежно проявляют себя во всех случаях взаимодействия языков. В этом случае мы уже имеем дело с новым аспектом большой проблемы связи языка и истории народа, рассмотрению которого посвящен следующий раздел.

Смешение и скрещивание языков

Вопрос о смешении языков (в зарубежной лингвистике этот термин обычно не имеет смысловых различий от другого — скрещивание) выступил на передний план с начала настоящего века, хотя к нему эпизодически обращались и языковеды прошлого века, начиная от В. Гумбольдта и Я. Гримма. Большое значение придавал ему И. А. Бодуэн де Куртене ^[276] 33. В концепции Г. Шухардта и примыкающих к нему языковедов, в теоретических построениях неолингвистов смешение языков принимает форму методологического принципа, так как оно оказывается движущей силой всех языковых изменений, стимулом, формирующим языки. Из этих предпосылок исходит и заключение о смешанном характере всех языков.

Посвятивший этой проблеме большое количество работ Г. Шухардт писал: «Среди всех тех проблем, которыми занимается в настоящее время языкознание, нет, пожалуй, ни одной столь важной, как проблема языкового смешения» ^[277] 34. И с точки зрения Г. Шухардта такая оценка этой проблемы понятна, так как он считал, что «возможность языкового смешения не знает никаких ограничений; она может привести как к максимальному, так и к минимальному различию между языками. Смешение может иметь место и при постоянном пребывании на одной и той же территории, протекая и в этом случае интенсивно и осуществляясь сложными путями» ^[278] 35. Подчеркивая особое значение смешения в жизни языка, неолингвист Дж. Бонфанте прокламирует: «Так, можно утверждать (упрощая, конечно, действительное положение вещей), что французский — это латинский + германский (франкский); испанский — это латинский + арабский; итальянский — это латинский + греческий и оско-умбрский; румынский — это латинский + славянский; чешский — это славянский + немецкий; болгарский — это славянский + греческий; русский — это славянский + финно-угорский и т. д.» ^[279] 36.

Особое место скрещивание языков занимало в теориях акад. Н. Я. Марра. «Еще в одной из своих работ²¹⁹ в 1914 г., — отмечает С. Б. Бернштейн в своей статье, специально посвященной этому вопросу, — Н. Я. Марр писал, что вопросы языкового смешения в его учении составляют «в данный момент очередную и главную теоретическую

проблему». Позже, неоднократно возвращаясь к этому вопросу, он всегда высказывался в том смысле, что все языки земного шара являются скрещенными языками и что сам процесс скрещивания определяет реальное содержание развития любого языка. Приведу несколько цитат подобного рода. «Дело в том, что по яфетической теории нет ни одного языка, ни одного народа, ни одного племени (и при возникновении их не было) простого, не мешанного или, по нашей терминологии, не скрещенного». «В самом возникновении и, естественно, дальнейшем творческом развитии языков основную роль играет скрещение». «Скрещение — не аномалия, но нормальный путь, объясняющий происхождение видов и даже так называемого генетического родства» [\[280\]](#) 37.

В теории Н. Я. Марра большую роль играли стадияльные трансформации, которые внезапно, в форме взрыва изменяли «качество» языка. Смешение (или в данном случае, по терминологии Н. Я. Марра, уже скрещивание) создавало толчок для подобного взрывообразного превращения языка, причем, по мнению Н. Я. Марра, в результате скрещивания двух языковых «качеств» (т. е., попросту говоря, двух структурно-различных языков) возникает новое «качество» (структурно новый язык). Подобные теории, конечно, не могли найти себе широкого применения в практике лингвистических исследований, они требовали критического рассмотрения; попытка такого рассмотрения была предпринята Сталиным во время дискуссии 1950 г. в работе «Марксизм и вопросы языкознания»,

«Говорят, — писал он, — что многочисленные факты скрещивания языков, имевшие место в истории, дают основание предполагать, что при скрещивании происходит образование нового языка путем взрыва, путем внезапного перехода от старого качества к новому качеству. Это совершенно неверно.<220>

Скрещивание языков нельзя рассматривать, как единичный акт решающего удара, дающий свои результаты в течение нескольких лет. Скрещивание языков есть длительный процесс, продолжающийся сотни лет. Поэтому ни о каких взрывах не может быть здесь речи.

Далее. Совершенно неправильно было бы думать, что в результате скрещивания, скажем, двух языков получается новый, третий язык, не похожий ни на один из скрещенных языков и качественно отличающийся от каждого из них. На самом деле при скрещивании

один из языков обычно выходит победителем, сохраняет свой грамматический строй, сохраняет свой основной словарный фонд и продолжает развиваться по внутренним законам своего развития, а другой язык теряет постепенно свое качество и постепенно отмирает.

Следовательно, скрещивание дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков, сохраняет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему возможность развиваться по внутренним законам своего развития».

Это выступление, направленное против теории Н. Я. Марра о значении скрещивания языков для внезапного преобразования их «качеств», способствовало известному упрощению весьма сложной и многосторонней проблемы смешения языков.

Процессы смешения играют в жизни языков, конечно, огромную роль, и, изучая их, одинаково важно как не переоценить их, так и недооценить. Эти процессы принимают многообразные формы, поэтому сведение их к единственному типу не дает правильного представления о их действительной сущности и значимости.

Процессы смешения языков можно рассматривать во фронтальном плане. В этом случае мы будем иметь дело с различными типами смешения (взаимовлияния) языков. Но эти же процессы можно исследовать по отдельным аспектам языков. В этом случае мы столкнемся с проблемой проницаемости отдельных сторон или сфер языка (т. е. его фонетических, грамматических и лексических систем). Обратимся к последовательному, рассмотрению процессов смешения языков в указанном порядке.

При изучении процессов смешения во фронтальном плане помимо полного вытеснения одних языков другими (что, например, произошло с кельтскими языками, когда-то бытовавшими на значительной части европейского континента) можно по меньшей мере выделить еще пять типовых случаев, которыми, однако, также не исчерпывается все многообразие реальных процессов. Но эти случаи встречаются чаще всего как в своем «чистом» виде, так и в различных комбинациях.

1. Совершенно не обязательно, чтобы в результате смешения один язык поглощал другой, т. е. чтобы один язык оказывался «победителем», а другой «побежденным» и осуждался на отмирание. В действительности, пожалуй, гораздо больше случаев, когда два

языка, встретившись где-то на историческом перекрестке, оказав друг на друга (или же только один на другой) влияние, т. е. смешавшись определенным образом друг с другом, затем расходились и продолжали сохранять как свою самостоятельность, так и жизненную силу. Так, в эпоху арабского халифата, когда в его состав входили огромные массивы тюркоязычного и ираноязычного населения, арабский язык оказывал на них не только государственный, но и культурный и религиозный нажим (книга «божественного красноречия» — Коран — изучалась всем охваченным исламом населением в арабском оригинале, и чтение ее требовало основательного знания не только языка, но и правил просодии), такую длительную борьбу вели между собой арабский, тюркские и иранские языки. Но никто из них не оказался победителем, осудив побежденного на отмирание. Мы можем только констатировать интенсивные процессы смешения этих языков, в результате которых изучение, например, персидского языка требует и ознакомления с хотя бы кратким очерком арабской грамматики (что обычно и делается в учебниках по персидскому языку) — настолько широко проникли элементы арабского языка в персидский. Но никакой из этих языков не был побежден и не отмирал, а благополучно здравствует в тех территориальных границах, которые были определены для них последующими историческими событиями. Подобные же случаи (разумеется, в других исторических условиях) мы встречаем во взаимоотношениях древнегерманских языков с финским и с латинским, русского языка с угро-финскими, тюркских языков с иранскими и т. д.

2. Вне зависимости от того, побеждает ли один язык<222> другой, или же языки, хотя и носят на себе заметные следы борьбы, сохраняются и продолжают независимое существование, не следует полагать, что сами по себе последствия процессов смешения языков можно охарактеризовать только как «некоторое обогащение словарного состава» языка. Это «обогащение» может иметь очень широкие масштабы и проникать также и в ту категорию лексики, которая получила в советском языкознании название основного словарного фонда.

Вот как могут выглядеть такие «некоторые обогащения». По данным этимологического албанского словаря Густава Мейера([\[281\]](#) 38)

[282] 39, из 5140 содержащихся в нем слов только 430 являются собственно албанскими, а остальные представляют заимствования из романских, славянских, новогреческого и турецкого языков. В словаре Генриха Хюбшмана, включенном в его «Армянскую грамматику» [283] 40, из общего числа 1940 слов только 438 являются армянскими, а остальные представляют собой заимствования из парфянского, персидского, арабского, сирийского и греческого языков. В современном английском языке по разным данным от 55 до 75 % лексических заимствований из романских языков. Лексика корейского языка содержит до 75 % китайских заимствований [284] 41.

Какого же характера заимствованная лексика, например, в английском языке? Внимательное ее изучение показывает, что она имеет всесторонний характер, но включает также большое количество слов, которые по установившимся канонам обычно зачисляют в категорию основного словарного фонда. Таковы *finish* (конец), *city* (город), *flower* (цветок), *branch* (ветвь), *labour* (работа), *people* (народ), *act* (действие), *language* (язык), *freedom* (свобода), *air* (воздух), *river* (река), *mountain* (гора), *joy* (радость), *place* (место), *change* (изменять), *deliver* (освобождать) и сотни других подобных же слов.

Но пример с английским языком интересен еще и в другом отношении. Норманское завоевание и последовавшее за ним господство французского языка и, далее, <223> растворение этого последнего в исконном английском обычно истолковывается как классический случай победы одного языка над другим и последующего отмирания побежденного (французского) языка. Однако это отмирание весьма относительного характера. Французский язык был побежден на территории Англии, но продолжал жить и развиваться на своей собственной территории — во Франции. А о том, что это имело самое непосредственное отношение к проникновению в английский язык огромного количества французских элементов, свидетельствуют следующие факты.

Взяв произвольные 1000 французских слов, вошедших в английский язык после норманского завоевания, О. Есперсен [285] 42 распределил их по периодам проникновения в английский язык. Получилась такая картина:

до 1050 года. . 2

1051–1100. . 2

1101–1150.	. 1
1151–1200.	15
1201–1250.	64
1251–1300.	127
1301–1350.	120
1351–1400.	180
1401–1450.	70
1451–1500.	.76
1501–1550.	.84
1551–1600.	.91
1601–1650.	69
1651–1700.	33
1701–1750.	24
1751–1800.	16
1801–1850.	23
1851–1900.	. 2

Данные весьма поучительные. Если учесть, что в Англии к концу XIV в. английский язык одержал полную победу над французским (в 1362 г. судопроизводство было переведено на английский язык, так как «французский язык слишком мало известен», с этого же года на этот язык перешел и парламент, а в школьном преподавании английский начал вытеснять французский язык еще ранее того) и французский язык в Англии находился уже на стадии полного отмирания, то получается, что побежденный и отмерший язык оказывал на английский не менее интенсивное влияние, чем в пору своего полного господства, когда английский язык вел порабощенное существование. Ведь именно об этом свидетельствуют приведенные данные, так как половина слов, как оказывается, проникла из французского в английский после 1400 г.<224> Ясно, что действительно отмерший язык не мог бы оказывать такого интенсивного влияния. И фактически в данном классическом случае никакого отмершего языка и не было. Французский язык был вытеснен («отмер») с территории Англии, но продолжал существовать во Франции. А так как все последующие столетия Англия и Франция находились в интенсивных отношениях, то в английском языке и сохранялась та инерция заимствования французских слов, которая была создана норманским завоеванием. Эта

инерция была поддержана возрождением в Англии XIV–XVII вв. интереса к классической культуре.

Пример смешения английского языка с французским в результате норманского завоевания наглядно показывает, как несостоятельно может быть упрощение этого вопроса.

3. Иногда столкновение и борьба языков приводят к последствиям, которые даже нельзя признать смешением в собственном смысле этого слова. Но, с другой стороны, эти процессы имеют такое непосредственное отношение к смешениям языков, что их нельзя оставлять без внимания. К тому же они часто комбинируются с другими формами процессов смешения языков. Впервые их отметил Я. Гримм, который в предисловии к своей «Немецкой грамматике» писал: «Мне думается, что развитие народа необходимо для языка независимо от внутреннего роста этого последнего; если он не хиреет, он расширяет свои внешние границы. Сказанное объясняет многое в грамматических явлениях. Диалекты, которые по своему положению находятся в благоприятных условиях и не притесняются другими, изменяют свои флексии медленнее; соприкосновение нескольких диалектов, если даже при этом побеждающий обладает более совершенными формами, в силу того обстоятельства, что он, воспринимая слова, должен выровнять свои формы с формами другого диалекта, способствует упрощению обоих диалектов» ^[286] 43.

Иными словами, если говорить о существовании самой идеи, соприкосновение и взаимодействие двух языков может привести к упрощению их структур. Самое характерное при этом заключается в том, что при таком взаимодействии двух языков из одного в другой не переходят никакие структурные черты того или иного языка; их изменение происходит в результате только соприкосновения языков, при этом всегда в сторону упрощения грамматической структуры. Особенно интенсивно протекает этот процесс, когда взаимодействующие языки более или менее близки друг к другу.

Подобное явление имело место, например, во время скандинавского завоевания Англии (VIII — X вв.). В результате длительной и богатой событиями борьбы даны, наконец, прочно утвердились на Британском острове, подчинив себе около половины всей его территории (так называемая «Область датского права»). По выражению О. Есперсена, даны и англосаксы «дрались как братья, а

затем, подобно братьям, они мирно поселились друг около друга». Впрочем, особенно мирно они никогда не жили друг с другом, но это не мешало им вести очень широкое общение. Само же общение значительно облегчалось тем, что язык англосаксов и данов был довольно близок, во всяком случае настолько, что они приблизительно могли понять друг друга. Близость этих германских (и, следовательно, генетически связанных языков) может быть ясна из следующих примеров:

древнеангл. сканд.

«рыба» fiskfiskr

«камень» stānsteinn

«голова» heafodhofo

«дерево» treotrē

«целый» hallheill

«я» icek

«хватать» gripangripa

«сын» sunusunr

«сердце» heortehiarta

«время» timeime

«кусать» bītanbita

«сидеть» sittanitia

«падать» feallanalla и т. д.

В результате смешения этих двух языков в английский проникло некоторое количество лексических единиц (около 650), причем на этот раз почти исключительно <226> слов «основного словарного фонда», приближающихся иногда даже к грамматическим элементам (например, личные местоимения they — «они», their — «их», them — «им»). Вместе с тем значительно упростилась грамматическая структура древнеанглийского языка, во многих случаях отказавшаяся от синтетических средств и обратившаяся к аналитическим. Например, почти совершенно исчезли формы склонения имен существительных и прилагательных.

Не подлежит никакому сомнению, что подобного рода чрезвычайно большая перестройка грамматической структуры древнеанглийского языка произошла под влиянием скандинавского. Это явствует хотя бы из того, что большая или меньшая территориальная близость обоих языков привела к делению древнеанглийских диалектов на три группы:

северные диалекты, непосредственно соприкасавшиеся с данами и испытавшие прямое воздействие их языка, произвели наибольшее изменение своей грамматической структуры в сторону перестройки ее на аналитической основе; центральные диалекты, испытавшие косвенное влияние скандинавского языка, осуществили этот процесс менее интенсивно; наконец, южные диалекты, дальше других отстоявшие от скандинавского влияния, оказались наиболее архаичными по своему строю.

Но удивительно: как только дело доходит до того, чтобы установить, какие же конкретно грамматические элементы или конструкции перешли из скандинавского в древнеанглийский, их невозможно обнаружить. Все то небольшое, что в данном случае ставится в связь со скандинавским влиянием (вроде расширения употребления окончания множественного числа имен существительных — *as* или отмирание глагола *weoƿan* — «становиться» в пассивных конструкциях), носит весьма сомнительный характер. Поэтому историки английского языка обычно констатируют: «Трудно определить влияние скандинавского завоевания на развитие морфологической системы английского языка. Общая тенденция к отпадению падежных окончаний, проявившаяся в первую очередь в северной и восточной Англии, возможно, была обусловлена этим влиянием: при усвоении языка другим народом появляется обычно тенденция упростить падежные окончания. Но доказать скандинавское влия<227>ние на отдельные проявления этой тенденции к упрощению и унификации невозможно» ^[287] 44.

Чему же все-таки следует приписывать подобное упрощение при столкновении двух языков? По-видимому, тут действует определенное правило, которое можно назвать правилом «твоя моя не понимай».

Представим себе ситуацию (в которой мы и сами нередко бывали), когда происходит объяснение при недостаточном знании языка или когда языки беседующих обладают некоторым сходством, позволяющим только угадывать, о чем идет речь. Чтобы в этих условиях сделать свою речь более понятной для нашего собеседника, мы, как правило, начинаем освобождать наш язык от всех сложных форм, упрощаем его и начинаем говорить упрощенными фразами типа «твоя моя не понимай». Если же эти явления перерастают частные случаи и приобретают массовый характер (как это имело место при

скандинавском завоевании Англии), то это, несомненно не может не оказывать влияния на язык, способствуя упрощению его грамматической структуры.

4. Особым типом скрещивания языков можно признать упоминавшиеся уже выше языковые союзы. Как показывает история некоторых языков, длительное их сосуществование может привести к типологическому сближению. Однако важно при этом установить правильные методы исследований подобного рода языковых образований, явно недостаточно изученных и истолковываемых чрезвычайно неоднородным образом.

В последние годы к изучению языковых союзов начинают применять структурально-типологический метод, основывающийся на понятии изограмматизма. По определению польского лингвиста З. Голонба, «изограмматизм — это существование в двух или нескольких языках идентичных структурных моделей, в соответствии с которыми морфологический материал каждого из них объединяется в морфосинтаксические единицы более высокого порядка» [288] 45. Общее понятие изограмматизма под [228] разделяется на более частные — изоморфизма [289] 46, изосинтагматизма и даже изофонемизма.

В изограмматизме хотят видеть точные критерии, с помощью которых можно проводить структурно-сопоставительное изучение языков с последующей классификацией их по определенным типам. Но такого рода направление изучения языков не является новым для лингвистики и фактически целиком укладывается в достаточно хорошо известные морфологические классификации языков. Если ограничиться только общими формулами, выражающими отношения между отдельными частями слов, и на основании подобных структурных формул устанавливать типологические тождества между отдельными языками, то это значит во многом повторять А. Шлейхера, который, как известно, проделал подобную работу в своем «Компендиуме», а ранее развил в специальной статье [290] 47. Таким образом, чисто структурально-типологический способ изучения языковых союзов едва ли сможет дать какие-либо положительные для изучения конкретных процессов взаимовлияния языков результаты по той простой причине, что под выделенные структурные формулы или схемы можно будет подвести различные языки, независимо от их конкретной истории, контактов и даже вообще вне всякой зависимости

от территориального положения языков (как это и имеет место в морфологических классификациях).

Чтобы преодолеть недостатки подобного абстрактного структурализма, З. Голонб вводит в изучение языковых союзов методом изограмматизма исторический фактор. «Идея языковых типов, — пишет он, — основанных на критерии изограмматизма, относится к сравнительно-структуральной лингвистике, трактующей свой предмет^{<229>} внеисторически. Однако существуют случаи, когда изограмматизм может истолковываться генетически. Предположим для примера, что существуют два народа, которые соответственно говорят на языках А и Б, находящихся в тесном контакте друг с другом, и обитают на общей территории. В этом случае может быть установлено, что определенные черты грамматической структуры языка А были перенесены на язык Б и таким образом между ними возник изограмматизм. Такие черты грамматической структуры, перенесенные с А на Б, следует толковать как копии. Копия, следовательно, — это изограмматизм, который возник как следствие заимствования из одного языка в другой (или в группу языков) определенных черт грамматической структуры. Мы, таким образом, имеем, с одной стороны, заимствование языкового материала (слов — и через их посредство деривационных морфем), а с другой — заимствование формы, т. е. структурных принципов (грамматических моделей)... Понятие грамматической копии весьма полезно при установлении языкового союза (Sprachbund). Используя его в качестве критерия, мы можем определить языковой союз как группу языков, обнаруживающую некоторое количество взаимных грамматических копий, которые создают высшую ступень структурной тождественности» ^[291] 48. Языковые союзы — это такой вид смешения языков, при котором в результате длительного сосуществования группы языков возникает типологическое сближение их грамматических структур. При этом, разумеется, отнюдь не исключаются взаимные лексические заимствования (как правило, они в подобных случаях бывают весьма значительными), но ведущим признаком является их грамматическая структура.

Так, при характеристике языков Балканского полуострова как языкового союза исходят из следующих общих им типологических черт: 1) постпозитивный артикль (в болгарском, румынском и

албанском языках); 2) исчезновение инфинитива (в новогреческом, с некоторыми исключениями в болгарском, и южных диалектах албанского и частично в румынском); 3) образование аналитических форм будущего времени с помощью глагола *желать* (в новогреческом, болгарском, албанском и румынском); 4) синкретизм (слияние) родительного и дательного падежей (завершился в албанском и новогреческом и совершается в болгарском и румынском). Во всех этих явлениях обнаруживается «высокая степень структурной тождественности». Но здесь трудно опереться на абстрактную формулу изограмматических отношений, которая неизбежно наполняется реальным языковым содержанием, как только типологическая близость членов языкового союза переносится в генетическую плоскость.

5. Самую крайнюю форму языкового смешения видят обычно в так называемых гибридных языках или жаргонах, которые тем самым образуют особый тип «скрещенных» языков. К этой группе языков относят сабир, распространенный в портах Средиземного моря, пиджин-инглиш, используемый в Японии, в южных морях, в Гонконге, частично в Калифорнии, бич-ла-мар, на котором говорят на островах Тихого океана, кру-инглиш, встречающийся в Западной Африке и в Либерии, креольские языки острова Маврикия, жаргонный чинук в Орегоне и т. д. Все подобного рода «языки» многократно привлекались для доказательства того, что языки не только могут достигать крайней степени смешения, но и создавать при своем смешении даже новые языковые образования, новые «качества» ^[292] 49. <231>

Однако такого рода языковые образования, во-первых, никак нельзя назвать языками в собственном смысле этого слова, и это обстоятельство всегда отмечалось всеми исследователями, которые занимались ими. С тем чтобы отграничить их от настоящих языков, им присваивали самые различные названия: гибридные языки, минимальные, компромиссные, торговые, колониальные, языки по нужде и т. д. Много занимавшийся ими Г. Шухардт писал о них: «Нужда создала подобные языки, и поэтому их можно называть языками по нужде; они выполняют важную, но отнюдь не многообразную функцию, в первую очередь это торговые языки» ^[293] 50. Еще точнее охарактеризовал их О. Есперсен, указав, что они «служат не всем целям и задачам обычных языков, но применяются в

качестве эрзаца в тех случаях, когда в распоряжении нет более богатого и лучшего языка» [294] 51. Все подобные языки никакое общество, никакой народ или племя не обслуживают, они употребляются наряду с обычными языками и только в качестве вспомогательного средства общения, когда ни один из собеседников не владеет языком другого. Ограниченность задачи, стоящей перед такими языками, придает им крайне элементарную форму, не намного поднимающуюся над уровнем языка жестов. В силу всех этих особенностей подобные эрзац-языки правильнее всего именовать жаргонами.

Во-вторых (и это очень важно), при более внимательном изучении этих жаргонов, представляющих якобы крайнюю степень смешения, выясняется, что они, как правило, вовсе не являются смешанными. В действительности они представляют не крайнюю степень смешения, а крайнюю степень упрощения. Они, следовательно, не соединяют в новой комбинации отдельные черты разных языков, а представляют предельное упрощение одного языка. Основу бич-ла-мар, пиджин-инглиш и кру-инглиш составляет английский язык, основу креольских языков — французский, основу жаргона чинук образует язык индейцев чинук и т. д. Они, разумеется, включают некоторые элементы (лексические) и из других языков, но обычно в размере, не только не превышающем заимствования в «нормальных» языках, но скорее меньшем, чем в них. Нередко при этом даже и невозможно установить источник иноязычных примесей. Так, В. Симпсон, изучавший пиджин-инглиш, пишет о его словарном составе: «Ряд используемых слов — неизвестного происхождения. В некоторых случаях англичане считают их китайскими, а китайцы — английскими» [295] 52.

Основываясь на каком-либо одном определенном языке, эти жаргоны доводят его упрощение до такой степени, что в них остается очень небольшой минимум словаря и фактически не сохраняется почти никакой грамматики — все необходимые грамматические значения передаются лексическими средствами. Чтобы дать более ясное представление о характере этих жаргонов, обратимся к рассмотрению одного из их представителей — бич-ла-мар [296] 53.

Грамматика. Имена в бич-ла-мар не знают различий числа. Когда является необходимость выражения множественного числа,

прибавляется слово all (все): allhetalk — «они говорят». Иногда этой цели служит слово fellow: metwofella — «мы»; metwofellowLagia — «я и Лагия». Слово fellow (fella) — многофункционально. Оно выделяет местоимение: thatfellowhat — «та шляпа»; thisfellowknife — «этот нож». Оно отграничивает прилагательное от существительного: bigfellowname — «большое имя». Может употребляться при наречиях: thatmanhecrybigfellow — «этот человек кричит громко», и при числительных: tenfellowtenonefellow — «сто один».

Никаких падежей имя не имеет, падежные отношения выражаются или порядком слов или специальными словами. Например: посессивность (родительный падеж) передается словом belong (along): pappabelongme — «мой отец»; wifebelongyou — «твоя жена»; bellybelongmewalkabouttoomuch — «мой живот пошел слишком много кругом, т. е. у меня морская болезнь». Это же слово употребляется для обозначения локальных и иных отношений: hespeakalongthisfella — «он<233> говорит с этим человеком»; hegive'mthisfellaEvealongAdam — «он дал Еве Адама».

Родовых различий также нет, они выражаются описательным образом: thatwomanhebrotherbelongme — «эта женщина, она мой брат, т. е. она моя сестра».

Глагол не имеет временных различий. В случае надобности будущее время выражается с помощью слов byandby (bymby): brotherbelong-a-mebyandbyhedeadd — «мой брат умрет»; hesmallnowbymbyhebig— «сейчас он маленький, но он будет большим». Прошедшее время передается словом been или finish: youbeentakemealongthreeyear — «ты держал меня три года»; melookhimfinish — «я видел его».

Лексика. Хотя бич-ла-мар держится целиком на лексике, она тем не менее чрезвычайно ограничена и не способна передавать сколько-нибудь сложных понятий. Для обозначения предметов и явлений, которые выходят за пределы тесного круга самых обычных и обязательных вещей, этот жаргон создает описательные обороты, которые не лишены иногда красочности и комичности. Например, рояль называется так: bigfellowbokus (box) youfighthimhecry — «большой ящик, ты бьешь по нему, он кричит» ^[297] 54; гармонь— littlefellowbokusyoushovehimhecryyoupullhimhecry — «маленькая коробка, ты толкаешь ее, она кричит, ты тянешь ее, она кричит»; духи

— waterbelongstink — «вода, которая пахнет»; лысина — grassbelongheadbelonghimallhediefinish — «трава его головы вся умерла» (Г. Шухард приводит также такой пример: you no savvythatfellowwhitemancoconutbelonghimgnograss — «ты не видел белого человека, кокосовый орех которого не имеет травы», т. е. «не знаешь ли ты белого лысого человека?»).

Фонетика. О фонетической стороне бич-ла-мар трудно судить, так как этот жаргон известен нам только по записям. Можно только предполагать, что в данном случае имеет место положение, аналогичное тому, которое наблюдается в искусственных языках (например, эсперанто) в устах разноязычных людей: каждый вносит свои артикуляционные привычки. В этом убеждают нас^{<234>} и отдельные записи, не опирающиеся на английские письменные нормы, а стремящиеся воспроизвести действительное произношение. К таким записям, в частности, относится следующее сообщенное Кодрингтоном письмо жителя Новых Гибридов, которое, несомненно, передает фонетические особенности его произношения. MisiKamesiAreluYounokamurukimiMinorukiiouYourukuMaiPotiiko Mae tete.

VakaromalamiraikuitiripiAusiparagiiouirukautiMaiPotiminomoakaikaimian
gikelenauPotimani Mae ikiviiou.
JamuVarikotiioukivitamutepakoparaogimiipenesinomoatePako. — Oloraiti.

Фонетические особенности этого отрывка становятся особенно наглядными при сопоставлении его со стандартными нормами английского написания, которые, кстати говоря, не сразу угадываются.

Mr. Comins, (How) are you? You no come look me, me no look you; you look my boat he go Mae to-day. Vakaromala me like he sleep house belong you, he look out my boat, me no more kaikai, me hungry now, boat man Mae he give you yam, very good, you give some tobacco belong me, he finish, no more tobacco. — All right.

В переводе на русский это означает: «Мистер Коминс, как поживаете? Вы не приходите повидать меня, я не вижу вас; вы видите, как моя лодка идет сегодня в Мае. Вакарамола хотел бы спать в твоём доме; он смотрит за моей лодкой. Мне нечего больше есть, я теперь голоден; лодочник в Мае даст вам очень хороший ям (корень), вы дадите мне немного табаку, он кончился, нет больше табака. — Олрайт».

Такова в общих чертах «структура» бич-ла-мар, типичного эрзац-языка, представителя данного вида языковых «смешений». Приведенное описание некоторых его черт достаточно ясно показывает, что в данном случае фактически нет прямых процессов смешения языков, а есть только предельное их упрощение (дальнейший шаг в этом направлении привел бы уже к непониманию). Что же касается того, что подобные образования якобы создают новые языки, то определять их таким образом, видимо, столько же оснований, сколько мула называть конем.

Наблюдение над процессами смешения языков показало, что разные стороны языка, во-первых, обладают^{<235>} неравной способностью к смешению и что, во-вторых, само смешение принимает в них различные формы. Это приводит нас к вопросу о проницаемости отдельных сторон языка.

Неодинаковую проницаемость разных сторон языка, т. е. их способность воспринимать и включать в себя чужеродные элементы, отметил еще Р. Раск. «Если мы сравним несколько языков, — писал он, — стремясь к тому, чтобы это сравнение было полным и дало нам возможность судить об их родстве, древности и прочих отношениях, то мы должны непременно иметь в виду обе эти стороны языка (т. е. лексику и грамматику. — В. З.) и особенно не забывать о грамматике, так как опыт показывает, что лексические соответствия являются в высшей степени ненадежными. При общении народов друг с другом невероятно большое число слов переходит из одного языка в другой, независимо от характера происхождения и типа этих языков... Грамматические соответствия являются гораздо более надежным признаком родства или общности происхождения, так как известно, что язык, который смешивается с другим, чрезвычайно редко или, вернее, никогда не перенимает форм склонения и спряжения у этого языка, но, наоборот, скорее теряет свои собственные» ^[298] 55.

Рассмотрим кратко существующие мнения относительно проницаемости отдельных сфер языка.

Фонетика. В общетеоретическом плане вопрос о том, может ли воздействие одного языка на другой привести к созданию нового фонологического равновесия, трактует Э. Зайдель ^[299] 56. Мимоходом этого вопроса касались и ранее. Здесь можно отметить очень широкий диапазон точек зрения, отмечающих, с одной стороны, большую

устойчивость фонетической системы языков, а с другой — объясняющих коренные сдвиги и изменения в них влиянием иноязычных фонетических систем. Особенно часто в этом втором случае делается ссылка на влияние субстрата. Так, например, А. Мейе так называемое первое, или германское, передвижение согласных, перестроившее систему консонантизма германских языков<236> и тем самым выделившее их из других индоевропейских (по мнению некоторых языковедов, сохранив, однако, прежнюю фонологическую модель), приписывал действию иноязычного субстрата.

Пожалуй, наиболее систематическим образом вопрос о проницаемости фонетической стороны языка рассматривался применительно к влиянию славянских языков на румынский. Ал. Росетти указывал [300] 57, что славянские влияния на фонетику румынского языка ограничиваются заимствованием согласного *h*, йотизированием *e* в начальной позиции (*el* — «он», *este* — «есть», *eftin* — «дешевый»>*je*1, *jeste*, *jeftin*), а также той особой, ролью, которую передние гласные играют в румынской фонетической системе.

Более подробным образом как в аспекте синхроническом, так и диахроническом исследует этот вопрос Эмиль Петрович и в ряде своих работ [301] 58. Он устанавливает тут гораздо более глубокое влияние и называет румынский романским языком в славянском произношении. «Это надо понимать в том смысле, — пишет он, — что его фонетическая система обнаруживает славянские произносительные привычки, которые можно объяснить многовековым контактом между румынским и славянским — особенно болгарским, — длительным румынско-славянским двуязычием и наличием многочисленных двуязычных славянских поселений среди румынского народа. Славянские произносительные привычки по необходимости привели к возникновению фонетической системы, подобной славянской» [302] 59. В числе других явлений, возникших в румынском в результате славянского воздействия, Э. Петрович называет: 1. Наличие в румынском вокализме гласных среднего ряда и своеобразных отношений между гласными переднего и среднего ряда, которые ведут себя как позиционные варианты, так как после непалатализованных согласных употребляются *ă*, *o*, а по<237>сле палатализованных — *e*, *i*. Это сходствует с болгарской, русской и польской системами гласных и не встречается ни в одном из других романских языков. 2. Наличие в

румынском двух перекрещивающихся корреляций качеств согласных (Eigentonklassen), различающихся по наличию или отсутствию лабиализации и палатализации (в славянских языках — твердые и мягкие согласные). В других романских языках это явление носит эпизодический характер и никогда не приводит к образованию корреляций. В славянских языках распространено противопоставление по твердости и мягкости, а лабиализация принимает форму комбинаторных вариантов. 3. «Консонантный тип» румынского языка, с небольшим числом гласных и многочисленными согласными, противопоставляющимися по различным своим качествам. Эта особенность румынского языка также отдаляет его от романских языков и приближает к славянским.

Таким образом, следует признать существование по меньшей мере двух типов проницаемости фонетической стороны языков. Первый из них имеет в виду единичные случаи проникновения новых фонем, которые, однако, часто получают ограниченное употребление. Так, во многих узбекских диалектах отсутствует фонема «ф», и в заимствованных словах, имеющих эту фонему, она заменяется другой фонемой (*фонема — понема*). Но в последние годы она уже проникла в них, хотя ее употребление и ограничивается только заимствованными словами.

Другой тип имеет отношение к коренным изменениям фонетической системы, нередко значительно перестраивающим ее. Таковы, например, церебральные фонемы индо-афганских языков, перешедшие из дравидских языков, или смычно-гортанные в армяно-осетинском, возникновение которых, очевидно, надо приписать воздействию кавказских языков. К этому типу несомненно относится и славянское влияние на румынский.

В целом, однако, надо признать относительно большую устойчивость фонетической стороны языков, которая, видимо, поддерживается системными отношениями, существующими внутри нее.

Морфология. В отношении проницаемости грамматической структуры языков существуют полярно противоположные точки зрения, высказываемые с одинаковой энергичностью и категоричностью. Первая из них^{<238>} (и наиболее распространенная) сформулирована была еще В. Д. Уитней, который писал: «Такое

явление, как язык со смешанной грамматической системой, никогда не было известно языковедам; они сочли бы это противоестественным; это представляется просто невозможным» [303] 60. Еще с большей определенностью выражает свое мнение А. Мейе: «Грамматические системы двух языков... непроницаемы друг для друга» [304] 61. Его поддерживает Э. Сепир: «Мы не обнаруживаем ничего, кроме поверхностного морфологического взаимовлияния» [305] 62.

Но, с другой стороны, Г. Шухардт утверждал противоположное: «Даже самые основные элементы структуры, вроде флективных окончаний, не защищены от проникновения иноязычного материала» [306] 63. А Ал. Росетти использует даже взаимопроникновение двух морфологических структур в качестве критерия для определения скрещенного языка (*languemixte*) в отличие от смешанного (*languemйlangйе*), включающего только отдельные заимствования [307] 64.

Такая противоречивость точек зрения объясняется, видимо, двумя обстоятельствами. Во-первых, грамматические элементы могут быть разными. К ним относятся и словообразовательные суффиксы и личные окончания глаголов. Грамматические элементы, подобные словообразовательным суффиксам, переходят из языка в язык сравнительно легко. Ср., например, в русском языке суффиксы — *изм* (*фанатизм, идеализм, материализм* и также *большевизм, ленинизм*), — *ист* (*оптимист, турист, идеалист*), — *фикация* (*кинофикация, теплофикация, газификация*), — *аж* (*метраж, литраж, листаж*) и пр. Но грамматические элементы вроде падежных или личных форм переходят из языка в язык крайне редко. Такие случаи носят единичный характер, и о них, как об исключениях, сообщает (в свою очередь со ссылкой на других авторов). У. Вайнрайх: «В таджикском диалекте северного<239> Таджикистана (в районе Ходжента и Самарканда), где контакт с узбекским особенно тесен, таджикское спряжение отклонилось от аналитической формы и приблизилось к агглютинативной, так что служебные глаголы превратились в аффиксы, т. е. произошла перестройка по узбекской модели. В литературном таджикском языке, например, имеется форма настоящего продолженного времени, *manxurdaistoda-am* — «я есть едящий» (подобная английской *Iameating*). В диалекте, подвергшемся влиянию

узбекского, развилась новая модель: *manxur(d)* — *sod-am*, где служебное слово *istoda* превратилось в суффикс основного глагола (*sod-*), так что ныне к основному глаголу прибавляется личное окончание. Узбекским прототипом здесь является *kelvat-man* (с тем же значением), где, кстати говоря, суффикс — *vat-*, указывающий на продолженный вид, также развился из самостоятельного служебного глагола. Многие другие таджикские глагольные формы проделали подобное же развитие. В сербохорватском продуктивная модель образования абсолютной превосходной степени посредством связанной морфемы представляет собой копию турецкой модели (*beli* — «истинно», *bezbeli* — «абсолютно истинно»). Например, *go* — «голый», *gozgo* — «совершенно голый»; *gavno* — «ровный», *gavgavno* — «совершенно ровный» и т. д.» ^[308] 65.

Во-вторых, при контакте языков и возможных при этом взаимопроникновениях грамматических элементов большое значение имеет сама структура языков; при структурной их близости подобного рода взаимопроникновения облегчаются, но при структурном различии они затрудняются. Так, при приблизительно равных прочих условиях из структурно близкого немецкого языка перешло в датский значительное количество словообразовательных суффиксов. Но из структурно далекого арабского языка в персидский не перешло ни одного продуктивного словообразовательного суффикса, несмотря на наличие таких исторических условий, которые были чрезвычайно благоприятны для воздействия арабского на персидский.

При всех отмеченных дополнительных обстоятельствах, способствующих или же препятствующих переходу<240> из одного языка в другой элементов грамматической структуры, надо в целом признать, что если грамматическая сторона и не является абсолютно непроницаемой для иноязычных влияний, то она представляется наиболее устойчивой по сравнению с другими сторонами языка.

Синтаксис. Гораздо более проницаемой стороной языка является синтаксис ввиду тех его особенностей, которые будут разобраны ниже, в разделе «Суждение и предложение». Эта черта синтаксиса отмечалась разными лингвистами. «В отношении синтаксиса, — пишет, например, О. Есперсен, — можно констатировать немного и только в общих чертах: вне всякого сомнения, языки подвергаются взаимным синтаксическим воздействиям, и люди, овладевшие

иностранным языком недостаточно полно, обычно переносят на него особенности построения своего родного языка. Но можно сомневаться, что эти синтаксические влияния способны оказывать на другие языки такое же длительное и устойчивое действие, какое имеет место при переносе чуждых явлений в родной язык [\[309\]](#) 66. Именно этим вторым путем и только посредством литературного общения в английский, немецкий и скандинавские языки перешло большое количество языковых особенностей и оборотов из французского, и латинского языков, а в датский и шведский — из немецкого. Конструкция аккузатив с инфинитивом, находившая в древнеанглийском языке чрезвычайно ограниченное употребление, значительно увеличила область своего применения благодаря влиянию латинского языка, а так называемая абсолютная конструкция своим происхождением, очевидно, целиком обязана подражанию латинскому языку. В балканских языках существует ряд поразительных примеров синтаксических совпадений, возникновение которых обусловлено тем обстоятельством, что живущие в пограничных районах люди вынуждены постоянно переходить при своем устном общении с одного языка на другой. Таково исчезновение артикля в новогреческом, румынском и албанском, а<241> также постпозитивный артикль в румынском, албанском и болгарском» [\[310\]](#) 67.

Можно было бы привести также много других фактов синтаксического воздействия одного языка на другой, так как этот вопрос привлекал к себе внимание как писателей, так и исследователей языка. Так, Пушкин говорил о благоприятном воздействии на «славяно-русский» греческого языка: «В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и выразительный, отселе заимлет он гибкость и правильность» [\[311\]](#) 68. Аналогичные взгляды высказывал Гёте о влиянии греческого и на немецкий синтаксис [\[312\]](#) 69. С другой стороны, учитель великого английского поэта Мильтона — Александр Джил писал, что занятия классическими языками принесли английскому языку больше вреда, чем жестокость данов или

опустошения норманнов [\[313\]](#) 70. Языковеды, не вдаваясь в оценку подобных влияний, стремились обнаружить и описать конкретные синтаксические факты, перешедшие из одного языка в другой [\[314\]](#) 71.

<242>

Отмечая относительную проницаемость синтаксиса языка, необходимо оговорить это обстоятельство рядом условий. Во-первых, заимствование иноязычных моделей построений предложения захватывает главным образом и в первую очередь письменные формы языка [315] 72. Проникновение иноязычных синтаксических конструкций в разговорный язык есть уже до известной степени вторичный процесс, связанный с влиянием письменного языка на разговорный. Во-вторых, иноязычное синтаксическое воздействие может оказывать косвенное воздействие, стимулируя дальнейшее развитие или же укрепление уже существующих в языке элементов. Это обстоятельство отмечалось многими лингвистами. О нем писал В. Хаверс («Существующие уже в заимствующем языке тенденции часто получают активное развитие в результате воздействия чуждой языковой среды» [316] 73); Лео Шпитцер в связи с изучением новых синтаксических явлений в тагало-романском (где «чуждая языковая среда... вызвала скорее живое развитие существующих ростков, нежели перенятие чуждых привычек» [317] 74); К. Бругман и др. Последний многократно возвращался к этому вопросу и, пожалуй, с наибольшей четкостью констатировал наличие известной структурной согласованности в случае таких косвенных синтаксических воздействий одного языка на другой. «Заимствования в области синтаксиса, — писал он, — происходят не так, что некое явление, доселе совершенно чуждое языку, перенимается им из другого языка наподобие слова для какого-либо культурного понятия, так что языку навязывается нечто абсолютно неизвестное» [318] 75. И развивая свою мысль уже в другой работе, где прослеживаются синтаксические грецизмы в латинском, галлицизмы в немецком и герма<243>низмы в литовском, К. Бругман заключает: «Известное совпадение было уже с самого начала, но что у одного народа встречалось только эпизодически и в зачаточном состоянии, то у другого было правилом и достигало широкого распространения; в процессе общения языков существующие у одной из сторон начала... получали дальнейшее развитие» [319] 76. Совершенно очевидно, что такое косвенное воздействие трудно отличить от естественных процессов развития рассматриваемого языка.

К этому, уже в-третьих, надо добавить и то, что, как правило, синтаксические воздействия одного языка на другой в несравнимо большей степени, чем этого требуют другие сферы языка (фонетика, морфология, лексика), предполагает наличие широкого общекультурного влияния. Не следует забывать совершенно прозрачной связи предложения с суждением (это является поводом постоянных взаимных подмен), в соответствии с чем усвоение новых моделей построений предложений (например, сложноподчиненных предложений) нередко означает овладение более сложным и вместе с тем более тонким способом осуществления суждения.

Лексика. Эта сторона языка является наиболее подвижной и проницаемой. Трудно назвать хотя бы один язык, который не имел бы иностранных лексических заимствований, хотя объем этих заимствований может достигать очень широкой амплитуды: от очень больших заимствований (как в английском и албанском) до весьма ограниченных (как в исландском).

О французских заимствованиях в английском языке говорилось на страницах настоящей книги уже многократно, и они действительно представляют собой разительный пример легкой восприимчивости языка по отношению к чужезычной лексике. Отмечая эту восприимчивость английского языка, О. Есперсен писал: «Действительно, чрезвычайно характерно, что иностранцев в Англии называют синьор Манфредини, герр Шульце, фрейлейн Адлер и т. д., в то время как во Франции всех их без различия именовали бы просто *месье* или *мадемуазель*» [\[320\]](#) 77. Но не менее удивительна и стойкость в<244> этом отношении исландского языка. Он не имеет даже так называемых интернациональных слов, использующих обычно латинские основы и поэтому имеющих сходные формы во многих языках (ср. лат. *revolutio*, фр. *révolution*, англ. *revolution*, нем. *die Revolution*, русск. *революция* и т. д.). Исландский язык в этих случаях создает новообразования на основе своей исконной лексики. Так, революция по-исландски *bylting*, т. е. буквально «переворот», образование от глагола *bylta* — «опрокидывать», «переворачивать». Так же строятся и другие слова, имеющие в других языках, как правило, интернациональный характер: *телефон* — *talsirni* (букв. «говор+веревка»), *телеграф* — *ritsimi* (букв. «письмо+веревка»), *философия* — *heimspeki* (из *heimur* — «мир» и *speku* — «мудрость»),

материализм — *efnishyggja* (из *efni* — «вещество» и *hyggja* — «мнение»), *бактерия* — *gerill* (букв. «делатель» от глагола *gera* — «делать»), *химия* — *efnafrjpi* (из *efni* — «вещество» и *frjpi* — «знание»), *зоология* — *dyrafrjpi* (из *dyr* — «животное» и *frjpi* — «знание»), *пессимизм* — *buðsyni* (из *buð* — «дурной» и *syni* — «взгляд») и т. д. Здесь даже нельзя говорить о кальках, так как внутренняя форма иностранного слова также не передается. Например, *резина* передается как «тягучая кожа», *театр* — как «дом игр», *фильм* — как «живая картина», *апельсин* — как «сверкающий плод», *помидор* — как «красный плод», *парикмахер* — как «волосорез» и пр. [321] 78.

Но такое положение, какое наблюдается в исландском, случается редко, и гораздо чаще языки содержат значительную долю лексических заимствований.

В большей мере, чем какая-либо иная сторона языка, лексика отражает все исторические перипетии, которые сопровождали развитие данного народа. В лексике находят отражение обычно все крупные, а подчас и мелкие события истории общества. По лексическим заимствованиям иногда можно восстановить не только историю отношения того или иного народа с другими народами, но и характер этих отношений. Поэтому лексические заимствования из одного языка в другой часто используются как весьма ценные исторические свидетельства. <245>

Существует много различных классификаций иностранных заимствований [322] 79, отмечающих время или характер (предметные группы), способ проникновения из языка в язык (письменные и устные заимствования), их положение в языке (усвоенные и иностранные), происхождение (из каких языков перешли), социальную и профессиональную дифференциацию, структурные особенности (кальки, случаи конверсии, заимствование значений), деление по частям речи и т. д. Все эти классификации составляют предмет частных и общих лексикологий, и здесь ими не место заниматься [323] 80.

В настоящем изложении важно, пожалуй, отметить только то обстоятельство, что большая или меньшая структурная и генетическая общность языка способствует (или препятствует) не только самим заимствованиям, но и процессам адаптации заимствованной лексики в новой языковой среде. Обычно изучение иностранных заимствований

в том или ином языке сводится к перечислениям слов, перешедших из других языков. Но лексическое заимствование — это не простой и механический процесс, напоминающий пересыпание зерна из одного мешка в другой. Это очень сложное явление, включающее не только структурное уподобление одной модели построения слова другой, но и семантическое вхождение слов в существующие в данном языке синонимические ряды и семантические системы, закономерное изменение звукового облика в соответствии с фонологической системой языка, обрастание новыми грамматическими формами, характерными для этого языка и т. д. Таких многосторонних исследований иностранных лексических заимствований того или иного языка мы, к сожалению, почти не имеем. А то, что в этой области сделано, показывает, что иностранные заимствования могут вести в<246> новом языке и относительно изолированное существование, будучи отгорожены от прочей лексики своими структурными особенностями (таковы, например, заимствования из европейских языков в китайском).

Иногда структурные различия языков даже вообще препятствуют заимствованиям иноязычной лексики. Так, буддизм в санскритской форме в I в. н. э. проник в Китай и через Китай (а также Корею) в 6 в. н. э. в Японию. Несмотря на такую последовательность распространения буддизма, в китайском языке практически совсем нет санскритских заимствований (даже имена собственные буддийской религии «переведены» на китайский язык), в то время как в японском языке их много. Вне всякого сомнения в этом случае большую роль играло резкое различие или относительная близость структур данных языков.

В других случаях может наступить скорое сближение и слияние чужезычной лексики с исконной; это имело место, например, со скандинавскими лексическими заимствованиями в английском языке. Отмечая эту характерную особенность скандинавских и английских лексических смешений, О. Есперсен весьма красочно писал: «В большинстве языковых смешений составные части, происходящие из различных языков, остаются в раздельном состоянии и могут быть выделены точно так же, как после перемешивания колоды карт выделяются пики, черви и т. д. Но в случае с английским и скандинавским имело место слияние самого интимного характера,

подобное тому, которое происходит, когда в чашку чая бросают сахар: через пару минут уже невозможно сказать, где чай и где сахар» [\[324\]](#) 81.

Подводя итог рассмотрению вопроса о проницаемости отдельных сфер языка, можно, очевидно, установить следующую общую градацию: наиболее устойчивым является грамматический строй (морфология) языка, далее идет фонетическая система и синтаксис. Самым подвижным и проницаемым аспектом языка является в целом лексика. Однако этот общий принцип ни в коем случае не следует считать обязательным для всех случаев языкового смешения. В каждом конкретном случае в игру могут вступать исторические силы, которые в<247> состоянии внести свои существенные коррективы в этот общий принцип, обусловленный собственно структурными особенностями языка.

Язык и культура

Этот вопрос можно рассматривать в двух направлениях. Одно направление устанавливает зависимость языка от общего культурного состояния народа. Исследование этого вопроса имеет много общего с проблемой связи языка и мышления. Другое направление изучает зависимость структурных особенностей отдельных языков от конкретных форм культуры данного народа. В этом случае иногда говорят о проницаемости языка по отношению к культурным феноменам. Рассмотрим последовательно оба эти направления исследования.

Не подлежит сомнению, что язык как социальное явление находится в зависимости от общего культурного состояния народа, которое предполагает и соответствующие формы мышления. Когда П. Я. Черных говорит, что «явление абстрагирования грамматических фактов, первоначально не имевших абстрактного значения, как характерная черта развития грамматического строя, не может служить основанием для того, чтобы отрицать всякую связь между историей грамматического строя того или другого языка и историей данного народа» [\[325\]](#) 82, то в общей форме с ним нельзя не согласиться. Но, с другой стороны, не следует переоценивать этого фактора для становления конкретных явлений грамматической структуры языка.

Как в истории отдельных языков, так и целых языковых семейств можно обнаружить достаточно многочисленные факты, показывающие развитие грамматических элементов языка в одинаковом направлении. Можно констатировать случаи параллельного развития ряда явлений в грамматических системах даже чрезвычайно различных по своей структуре языков. Подобные общие и параллельные процессы развития, очевидно, можно в известной мере связать с культурным развитием общества, обуславливающим в области мышления развитие<248> в направлении от более конкретных к более абстрактным категориям. Культурное состояние общества, следовательно, связывается с языком в этом случае через посредство мышления.

В ряде индоевропейских языков, например, на древней стадии их развития было засвидетельствовано двойственное число (в славянских,

германских, греческих), уступившее в дальнейшем развитии этих языков свое место множественному числу, как категории более абстрактной. Это же явление наблюдается в хамито-семитских языках. В арабском, как и в греческом, можно по письменным памятникам проследить постепенное ограничение применения двойственного числа. В развитии индоевропейских языков можно наблюдать недостаточную дифференцированность временных значений в формах глагола (например, отсутствие четкого разграничения настоящего и будущего времени) и использование более конкретных по своему характеру видовых значений для передачи временных. То же самое имеет место в хамито-семитских языках, где грамматическая категория времени наименее развита (там, где она есть, она обычно недавнего происхождения) и временные значения передаются посредством видовых форм. Наконец, в развитии индоевропейских и хамито-семитских языков возможно указать известный параллелизм в формировании категории, которая выражается артиклем и способствует (говоря в общих чертах) индивидуализации выражаемого словом предмета независимо от конкретного лексического значения этого слова. Здесь также нельзя не увидеть параллельного процесса в направлении от конкретного к абстрактному.

Впрочем, с самого начала необходимо оговориться, что в применении к грамматическому строю языка трудно говорить о развитии отдельных его элементов в сторону большей абстракции вне их взаимосвязи с другими элементами грамматической системы языка. На это обстоятельство обратил внимание Марсель Козн в одной из своих последних книг [\[326\]](#) 83. В самом деле, то, что в одном языке может рассматриваться как выражение прогрессивных тенденций, то в других (в общей грамматической структуре) должно быть истолковано иным образом.<249> Так, если обратиться к латинскому и греческому языкам в приблизительно одну и ту же эпоху их существования, то вскрывается следующая картина. Греческий язык гораздо медленнее терял двойственное число, в глаголе еще превалировал аспект (видовые формы), но определенный артикль уже существовал. Латинский же язык имел четкие различия прошедшего, настоящего и будущего времени, но не имел артикля. Таким образом, отдельные и изолированные явления не могут сами по себе служить абсолютными показателями развития языка в сторону, которая характеризуется все

увеличивающейся абстрактностью категорий развивающего мышления.

Но вопрос о связи языка и культуры, конечно, нельзя рассматривать в узкой перспективе только морфологических изменений языка. Язык может реагировать на явления культуры и иным образом. Так, если история культуры не достигла в своем развитии соответствующего этапа и еще не знает письменности или нормативного влияния литературного языка (или же утрачивает его), то и язык этого народа оказывается менее упорядоченным, менее нормализованным. Не вызывает сомнения и то положение, что народ, находящийся на высокой ступени цивилизации, оперирует в речевом общении более абстрактными лексическими категориями, нежели народ более отсталой культуры. Лингвистика собрала богатый материал, свидетельствующий о том, что языки народов отсталой культуры часто не располагают словами, обозначающими родовые понятия (нет, например, слов для обозначения дерева или животного вообще, но зато имеется очень разветвленная номенклатура обозначений разных их видов и пород) и обладают формантами, классифицирующими слова по чрезвычайно конкретным признакам (так называемые классы слов).

В ряд подобных же явлений следует поставить пополнение или усиление продуктивности словообразовательных средств для создания слов с отвлеченным значением как выражение общекультурного развития народа. Так, в немецком языке для создания слов с отвлеченным значением частично приспособляются старые суффиксы (-ida, — nis, — ung), частично формируются новые. Эти последние или создаются в самом языке (-heit, — schaft < scaft, — tum < tuom), или представляют заимствования²⁵⁰ из других языков (-tion, — ismus). Одновременно значительно увеличивается продуктивность этой группы суффиксов сравнительно с другими. Например, если суффикс — ung встречается у Отфрида в абстрактном значении всего буквально один-два раза (samanunga — «собрание», manunga — «напоминание»), хотя в переводной (с латинского языка) клерикальной литературе VIII — X вв. он более интенсивен (ср. wirkunga — «действие», zeigunga — «определение», sceidunga — «деление», wehsilunga — «изменение» и т. д.), то в XIX и XX вв. он является одним из ведущих при образовании многочисленных

отглагольных абстрактных существительных (Aufklrung, Sozialisierung, Regierung, Berichtigung, Beschlagnahme и пр.).

Точно так же и в русском языке оформляется большая группа суффиксов с отвлеченным значением, продуктивность которых с течением времени все возрастает. Таков, например, суффикс — *ость*. В конце XVIII в. и в первой половине XIX в. образования с этим суффиксом встречаются крайне редко (у Ломоносова — *желтость*, *кислость*; у Сумарокова — *жаркость*; у Державина — *лишность*, *людскость*, *отличность*, *прямовидность*, *смертность*; у Крылова — *зеленость*; у Пушкина — *красивость*; у Гоголя — *земность*; у Лермонтова — *казармность*, *упрямость* и пр.) [327] 84. Но ныне суффикс — *ость* является «самым продуктивным суффиксом современного русского языка в сфере образования слов с отвлеченным значением свойства, качества, состояния, вообще отвлеченного признака» [328] 85.

Перечисленные выше языковые процессы могут быть общими для многих языков, так как закономерности развития общества, мышления и культуры в значительной мере являются общими для всех народов. Таким образом, рассматривая связь развития языка и культуры в общем плане, мы можем обнаружить только совпадения некоторых общих тенденций, которые лишь в редких случаях приводят к сходным образованиям (вроде тех, которые были выше отмечены для развития индоевропейских и хамито-семитских языков).<251>

Переходим теперь к рассмотрению зависимости становления структурных особенностей отдельных языков от конкретных форм культуры данного народа.

Этот вопрос привлекал внимание многих лингвистов. Специальную работу недавно посвятил ему Г. Хойер [329] 86, о нем много говорит в своем общем курсе Э. Сепир («Язык»), его положил в основание своей истории французского языка К. Фосслер [330] 87; в последние годы он снова оказался в центре внимания в связи с гипотезой Уорфа [331] 88 и т. д.

Этнологические понятия культур попытался положить в основу классификации языков В. Шмидт [332] 89. Излагая задачи своей работы, он писал: «Возникшие более крупные группировки — будем называть их языковыми кругами, — основывающиеся сами по себе на чисто

языковом принципе, мы будем сравнивать с культурными кругами, установленными этнологическими исследованиями, чтобы выяснить, в какой степени крупные лингвистические группировки совпадают по своим границам с этнологическими и какая внутренняя взаимосвязь наличествует между ними» ^[333] 90. Однако попытка В. Шмидта, связывающая язык не только с этнологическими, но и с расовыми комплексами, не встретила положительного к себе отношения и окончилась неудачей.

Своеобразное преломление проблема связи языка с культурой нашла у Н. Я. Марра. Объявив язык надстройкой, он поставил его стадияльное изменение в зависимость от идеологии. Идеологические смены, по его мнению, обуславливают и трансформацию языков. В этой теории Н. Я. Марра, может быть, с наибольшей четкостью проявляются вульгаризаторские основы его учения, стремящиеся уложить развитие языка в заранее подготовленные социологические схемы и фактически приближающиеся к теориям В. Шмидта, хотя сам ^{<252>} Н. Я. Марр и его последователи нередко выступали с резкой критикой расовых основ его классификации ^[334] 91.

Могут ли все же конкретные формы культуры оказывать влияние на структуру языка? Ответ на этот вопрос в известной мере подсказывается только что выведенным заключением относительно совпадения тенденций развития этих обоих явлений. Он в соответствующем аспекте будет разбираться и ниже в главе «Язык и мышление». Все же стоит им заняться отдельно, затрагивая его не только косвенным образом.

Когда пытаются установить прямой параллелизм между явлениями языка и культуры, результат получается малоубедительный. Это наглядно показывает уже упоминавшаяся книга К. Фосслера «Культура и язык Франции». Она интересно написана и читается с увлечением, но попытки автора показать развитие отдельных явлений французского языка на фоне событий истории культуры французского народа и установить между ними связь, как правило, поражают своей наивностью. Примеры могут засвидетельствовать это.

С середины XVII столетия во французском языке входит в употребление так называемый *modus irrealis* после глаголов, обозначающих душевные состояния и переживания: сожаление, удивление, радость, горе и т. д., между тем как в XV–XVI и в начале

XVII столетия после указанных глаголов союз *que* ставился с изъявительным наклонением. Такое синтаксическое нововведение К. Фосслер ставит в связь с выходом в свет труда Декарта «Трактат о душе», в котором французский философ объявил аффекты субъективными и ирреальными помрачениями чистого разума. К. Фосслер объясняет, что философские воззрения Декарта, оказав соответствующее влияние на мировоззрение современников, проникли и в язык, в котором синтаксическим приемом стала подчеркиваться субъективность аффектов.

Другой пример. Для старофранцузского периода характерно введение артикля, которого не знал латинский язык. К. Фосслер утверждает, что появление артикля оказалось необходимым для того, чтобы восстановить утраченную наглядность, чувственный реализм древности, которые были свойственны латинскому языку и которые затем романские языки утерали.

Среднефранцузский характеризуется расширением сферы применения разделительного члена *de*, который ранее редко употреблялся даже в связи с выражением количества. В этом процессе К. Фосслер усматривает отражение того практического, расчетливого, измеряющего и классифицирующего подхода к жизни, который связан с развитием во Франции торговых отношений и становлением купечества. «Практический, расчетливый, рационалистический реализм, — пишет он, — вот что могло распространить родительный разделительный на конкретные и абстрактные, определенные и неопределенные представления» [335] 92.

Подобные сопоставления несомненно носят произвольный характер и, конечно, не могут рассматриваться как сколько-нибудь веские доказательства в пользу наличия причинной связи между культурой и языком (хотя при этом и нельзя не признать добрых намерений автора).

Точку зрения, противоположную той, которая положена в основу работы К. Фосслера, пожалуй, с наибольшей категоричностью выразил Э. Сепир, — ученый, уделивший этой проблеме очень много внимания и имевший возможность проверить обоснованность своего вывода на большом и многообразном языковом материале. «Не могу я признать, — пишет он, — и настоящей причинной зависимости между культурой и языком. Культуру можно определить как то, что данное

общество делает и думает. Язык же есть то, как думают. Трудно усмотреть, какие особые причинные зависимости можно ожидать между отобранным инвентарем опыта (культура как делаемый обществом ценностный отбор) и тем особым приемом, при помощи которого общество выражает всяческий свой опыт. Движение культуры, иначе говоря, история есть сложный ряд изменений в инвентаре отобранного обществом опыта — приобретений, потерь, изменений в оценке и отношении. Движение языка, собственно говоря, вовсе не связано с изменениями содержания, а²⁵⁴ только с изменениями формального выражения. Можно мысленно изменить каждый звук, каждое слово, каждое конкретное понятие языка, ни в малейшей степени не затрагивая его внутренней действительности, подобно тому как можно влить в любую форму воду, известку или расплавленное золото. Если бы можно было показать, что у культуры, независимо от ее реального состава, есть присущая ей форма, ряд определенных контуров, мы бы имели в культуре нечто, могущее послужить в качестве термина сравнения с языком и, пожалуй, средства связи с ним. Но, покуда нами не обнаружены и не выделены такие чисто формальные стороны культуры, лучше будет, если мы признаем движение языка и движение культуры несопоставимыми, взаимно не связанными процессами. Из этого следует тщетность всяких попыток связывать определенные типы языковой морфологии с какими-то соответствующими степенями культурного развития. Собственно говоря, всякие такого рода сопоставления — просто вздор. Самый беглый обзор фактов подтверждает это наше теоретическое положение. И простые и сложные языки, в их бесконечном множестве разновидностей, можно найти на любых уровнях культурного развития. Поскольку дело касается языковой формы, Платон шествует с македонским свинопасом, Конфуций — с охотящимся за черепами дикарем Асама» [\[336\]](#) 93.

Решение вопроса о причинной зависимости между культурой и языком следует ставить в связь со следующими двумя факторами. Первый из них касается определения понятия культуры или культурного фактора в развитии языков. Так, тот факт, что один народ обладает культурным преобладанием над другим, может привести к тому, что один язык занимает подчиненное положение по отношению к другому и заимствует у этого последнего те или иные его элементы.

Так называемый престиж языка, связанный обычно с чувством национального самосознания, — вполне реальная историческая величина, и он не в малой степени способствовал тому, что, например, ирландский, греческий, армянский, польский сохраняли в полной мере свою жизненность в условиях, в которых другие языки ассимилировались среди языков своих поработителей.<255>

Но подобного рода явления нельзя рассматривать лишь в аспекте связи проблемы языка и культуры. Они, вне всякого сомнения, должны рассматриваться в одном ряду с такими явлениями, как экономическое и политическое преобладание народов, военные завоевания, переселения и пр. Иными словами, это общеисторические явления, хотя они и связаны с культурой народов.

Что же тогда следует отнести к собственно культурным явлениям? Культура, по определению Большой советской энциклопедии, — это «совокупность достижений общества в области просвещения, науки, искусства и в других областях духовной жизни». Поэтому если мы попытаемся установить соответствия между явлениями культуры в этом смысле и фактами структуры языка, то при положительном решении данного вопроса мы в конечных выводах должны будем признать язык идеологическим образованием, что противоречит всему тому, что мы знаем о языке. Таких соответствий не может быть, и, следовательно, говорить о причинной зависимости между культурой и языком в плане конкретных явлений совершенно неправомерно. Но здесь необходимы две существенные оговорки, которые приводят нас уже ко второму из упоминавшихся выше двух факторов.

Между явлениями культуры в указанном выше смысле и фактами структуры языка нет прямой причинной зависимости и прямого соответствия, но изменения в культуре могут находить косвенное, опосредствованное отражение в языке, т. е. между ними есть общая зависимость; это признает и Э. Сепир, когда пишет, что «история языка и история культуры развиваются параллельно» [\[337\]](#) 94. Но дело тут не в совпадении общих тенденций развития, о которых говорилось выше, а в другом. Так, вызванные культурным развитием народа лексические новообразования могут привести к морфологическим или фонетическим изменениям, например, когда некоторое количество заимствованных слов вносит новое фонетическое явление, которое затем чисто лингвистическим путем распространяется и входит в

фонологическую систему языка [\[338\]](#) 95. В данном случае, следовательно, речь идет не о том, что категории языка и категории мышления, представленные в явлениях культуры, могут обладать общей тенденцией развития в сторону большей абстрактности их содержания, а о возникновении конкретных фактов языковой структуры, которые в конечном счете стимулированы культурным развитием общества, но находятся вне указанной тенденции. Хотя истоки подобного рода языковых новшеств лежат в фактах культуры, их языковое выражение определяется структурными особенностями данного конкретного языка. Это обстоятельство и дает нам основание говорить о возможности опосредствованных влияний культуры на язык.

Теперь обратимся к другой оговорке. До сих пор разговор шел о развитии языка и его зависимости от культурного развития народа, а также о большем или меньшем богатстве духовного содержания (говоря словами Большой советской энциклопедии) того или иного народа и влиянии этого обстоятельства на структуру языка. Но связь между языком и культурой можно рассматривать и с точки зрения своеобразия форм того и другого явления. И в этом последнем случае мы можем обнаружить значительную близость между языком и культурой. Простейшим образом эта близость обнаруживается в наличии ряда слов, связанных с реалиями, характерными для той или иной культуры и поэтому, как правило, с большим трудом и только описательно переводимыми на другой язык [\[339\]](#) 96. Так, в якутском языке существуют следующие слова, которые не имеют прямых эквивалентов в русском языке: *собоо* — сделаться невкусным (о мясе изнуренного животного), *туут* — лыжи, подбитые кожей, *олоо* — зимовать на подножном корму (только о лошади), *харыс* — расстояние между концами вытянутых большого и среднего пальцев (немного больше четверти аршина), *чунумчу* — кольцо, продеваемое в нос быка и т. д. Другим свидетельством данной зависимости языка от культуры является структура всего словаря языков, в которых можно выделить различные лексические категории, связанные с характерными для данной культуры чертами. Здесь имеет значение и количественный момент, так как обычно более существенные для данного народа явления имеют более подробную номенклатуру.

Зависимость между культурой и языком (точнее, его лексикой) этого порядка Э. Найда ^[340] 97 суммирует в следующих двух правилах:

1. Лексика, относящаяся к центральным элементам культуры, пропорционально более исчерпывающая, чем лексика, относящаяся к периферийным чертам культуры. Иными словами, объем словаря, относящегося к любому явлению культуры, прямо пропорционален ее культурной значимости.

2. Культурные подгруппы обладают пропорционально более обширной лексикой в сфере их различий.

В подтверждение этих правил можно привести следующие примеры. Для народности нуэр, язык которой входит в нилотскую семью языков, скот представляет основной жизненный интерес, вокруг которого сосредотачиваются также и культурные потребности населения. Соответственно, в этом языке имеются сотни слов для описания различных цветов (включая их расположение), размера, породы, поведения и ценности скота. Ничего подобного не имеет ни один из европейских языков, которые, однако, в противоположность языку нуэр обладают разветвленной лексикой, связанной с механическими устройствами, занимающими ведущее место в жизни европейских народов. К этому примеру можно добавить, что когда у скотоводческих предков индоевропейских народов скот также играл важную роль, то это обстоятельство накладывало свой отпечаток на их языки и, в частности, на развитие их лексических элементов. Ср. этимологию германского *skatta со значением «скот» (др. — слав. *скотѣ*): гот. *skatts* «деньга», др. — верхн. — нем. *skaz* «деньга, имущество», др. — сакс. *scat* «деньга, имущество, скот», др. — фризск. *skett* «сокровище, деньги, скот», древн. — англ. *sceatt* и др. — сев. *scattr* оба со значением «дань, богатство, деньги» и современные немецк. <258> *Schatz* — «сокровище», датск. *skat* — «сокровище, клад» и «налог, подать», шведск. *skatt* — «имущество, сокровище». Точно так же современные англ. *fee* «заем, гонорар, владение», франц. *fief* «заем» (через др. — нижн. — франкск. «*fēhu-ōd*») этимологически близко с немецк. *Vieh*, датск. *fae*, шведск. *fä*, готск. *famhu* — все со значением «скот». Аналогичным образом индейские языки майя (в южной Мексике и в Гватемале) обладают чрезвычайно подробным и богатым словарем для обозначения маиса, его видов, стадий роста, частей растения, возделывания, снятия урожая, приготовления пищи и пр. В

языке понапеан подобного же рода разветвленная лексика имеется для земляной груши.

Характерно, что замена одних «моделей» культурных установлений другими нередко приводит к смене или исчезновению соответствующих им лексических групп. Так, языки майя в южной Мексике отличаются знаменательным отсутствием исконной лексики, связанной с правом и государством, хотя, как об этом свидетельствует язык пополь вуй, ранее, до завоевания их испанцами, они обладали богатым лексическим запасом подобного рода. Ныне они удовлетворяются скудным словарем указанного порядка, заимствованным из испанского языка. Несомненно, в связи с гибелью туземной государственности и ее правовой системы исчезла и связанная с ними лексика, оказавшаяся непригодной для новых социальных установлений.

Отдельные и, как правило, наиболее употребительные выражения часто непосредственно воспроизводят обычаи или ритуалы, свойственные отдельным племенам и народностям. Представитель племени шиллук в Судане говорит, что он «плюет на землю перед человеком», разумея, что он просит у него прощения. В данном случае имеет место буквальное описание обычая, которым сопровождается просьба о прощении. Представитель племени удук (также в Судане) говорит, что он хочет «снова соединить хватающие пальцы», имея в виду, что он намеревается примириться. В племени кузко квечуас год называют «завязыванием солнца». Эти выражения также связаны с соответствующими обычаями и ритуалами.

Известного рода культурные модели лежат и в основе метафорических обозначений психических состояний,^{<259>} когда печаль, например, обозначается в племени хаббе в Судане выражением «иметь больную печень», племя бамбара (также в Судане) употребляет в этом случае выражение «иметь черный глаз», а мосси (к северу от Золотого Берега) — «иметь гнилое сердце», а удук (в Судане) — «иметь тяжелый желудок». Более отдаленная связь между лингвистическими и культурными моделями скрывается в оборотах типа русского *ушко иглы*, который по английски будет иметь буквальное значение «глазок иглы», у индейцев кекчи — «лицо иглы», у племени пирро в Перу — «ноздра иглы», у племени хакачин в Бирме — «рот иглы», у племени амузгос в Мексике — «дыра игла» и пр.

Зависимость между языком и культурой проявляется не только в лексике, но также и в грамматике, хотя и не столь очевидным образом. Так, в языке Новой Каледонии [\[341\]](#) 98 мы обнаруживаем две посессивные системы, первую из которых можно условно назвать близкой (или интимной) принадлежностью, а вторую — далекой принадлежностью. Первая система охватывает имена со значением «мать», «печень», «потомок», а вторая — «отец», «сердце», «жизнь». На первый взгляд такое распределение представляется совершенно произвольным. Однако оно становится понятным, если учесть, что в Новой Каледонии издавна господствовал матриархат, что печенька символизирует всего человека (это значение она имеет и в обряде жертвоприношения), а потомок, воплощающий собой продолжение жизни, имеет большее значение, чем жизнь его родителей.

Подобного рода примеры, количество которых можно умножить почти безгранично, убедительно свидетельствуют в пользу того положения, что своеобразие форм культуры, как правило, находит отражение в языке.

Язык и общество

Положение о внеклассовом характере общенародного языка способствовало внесению ясности в истолкование ряда лингвистических проблем и понудило языковедов к установлению более четких градаций среди явлений, имеющих прямое касательство к вопросу об отношениях между языком и обществом. Вместе с тем это положение до известной степени заслонило и несколько оттеснило весьма важную проблему, которая отнюдь не была снята тезисом о внеклассовом характере общенародного языка. Речь идет о социальной и специальной (профессиональной) дифференциации языка. Хотя в значительной своей части (но не всегда) возникающие в результате этой дифференциации диалекты и жаргоны представляют ответвления от общенародного национального языка» [342] 99, они есть естественное порождение социальной и профессиональной дифференциации общества и нередко обладают очень четкими отграничительными признаками. Они не нарушают целостности общенародного языка, но сосуществуют рядом с ним и находятся в оживленных и многообразных отношениях с ним.

Как уже было сказано, сама структура общества стимулирует создание подобной дифференциации языка. Ведь язык есть социальное явление, и он не может быть равнодушен к социальным же в своей основе членениям, которые возникают внутри общества, обслуживаемого данным языком. «Там, где в структуре общества выделяются обособленные классы и группы, — пишет в этой связи Р. Шор, — служащие различным производственным целям, язык этого общества распадается на соответствующие социальные диалекты. Там, где только есть разделение труда (а подобное разделение наблюдается всюду, совпадая у народов примитивной культуры с дифференциацией полов, откуда возникновение особых «женских языков»), каждая отрасль производства принуждена создавать свой особый запас «технических терминов» — наименований орудий и процессов работы, связанных с ее ролью в производстве и непонятных для членов иной производственной группы» [343] 100

Языковые явления, порожденные социальной дифференциацией общества, естественнее всего подразделяются на три следующие

группы:

Социальное и специальное использование языков.<261>

Создание специальных «языков».

Социальная и профессиональная дифференциация общенародного языка.

Каждая из этих групп обладает своими особенностями и связывается со специфическими проблемами, почему и требует раздельного рассмотрения.

1. Характерной чертой первой группы является то, что ее составляют самостоятельные языки, используемые в особых функциях наряду с каким-либо иным (чаще всего основным — общенародным) языком. Таким, например, было классовое использование французского языка норманнами-завоевателями в Англии.

Этот пример в последние годы в советском языкознании ставился в связь как с вопросом о невозможности классового членения общенародного языка, так и с вопросом о невозможности существования классовых языков вообще. В таком двойственном истолковании данного исторического примера и в теоретических выводах, которые делаются из него, необходимо разобраться. Без всякого сомнения здесь следует провести разграничение между разными по своей сущности явлениями. Обратимся для этой цели к свидетельству фактов.

Все исторические данные, которыми мы располагаем, свидетельствуют о том, что *в условиях английского общества и английской государственности того времени (XI–XIII вв.)* французский язык норманских завоевателей был языком, который в известном смысле можно назвать классовым, и говорила на нем не незначительная верхушка английских феодалов, а поголовно все находившееся у власти дворянство по той простой причине, что первоначально «среди дворян и особенно среди непосредственных вассалов короля вскоре не оказалось ни одного англичанина. Так, например, в 1072 г. из 12 графов только один был англичанином, но и тот был казнен в 1078 г.» ^[344] 101. Позднее, когда англосаксонская аристократия начала постепенно сливаться со стоящими у власти норманскими баронами, она перенимала и их язык и именно потому, что он был классовым. Историк английского языка К. Бруннер пишет по этому<262>

поводу: «Так как языком двора и управления был французский, не было надобности изучать английский; и даже напротив, каждый англичанин, который дорожил своим общественным положением, должен был изучить французский язык» ^[345] 102. Исторические памятники того времени совершенно недвусмысленно указывают на классовое использование французского языка в английском обществе эпохи норманского завоевания. Во всеобщей истории (Potychronicon), написанной в середине XIV в. английским монахом-бенедиктинцем Ранульфом Хигден и переведенной с латинского на английский (среднеанглийский) Джоном де Тревиза, мы читаем: «...дети благородных людей учились говорить по-французски с того времени, когда их еще качали в колыбели...а сельские люди подражали благородным людям и также изо всех сил старались говорить по-французски, чтобы быть на виду». Роберт Глостерский в своей стихотворной хронике, составленной в конце XIII в., писал (стихи 7542–7543): «Ибо если человек не знает по-французски, о нем низкого мнения, но люди низшего звания еще держатся за английский язык и свою собственную речь». При английском дворе развилась даже довольно обширная литература, которая была французской только по языку, но английской по содержанию.

Все подобные факты, число которых можно значительно увеличить, убедительно говорят в пользу того заключения, что французский язык в английском обществе XI–XIII вв. был классовым языком, но не в том смысле, что он выделился в качестве языка отдельного класса из общенародного языка в пределах данного общества (классовая дифференциация общенародного языка), а в том, что он, будучи занесен в английское общество извне, стал языком господствующего класса данного общества.

Но этот пример не только не противоречит абсолютно правильному тезису о том, что общенародный язык не способен распадаться на ряд классовых (и резко отличных друг от друга) языков, но только подтверждает его. Французский язык именно потому со временем и растворился в английском, что в качестве языка определенного класса и к тому же теряющего свои позиции^{<263>} под напором наступающей англоязычной буржуазии он не мог быть общенародным.

Все изложенное свидетельствует о том, что в данном случае необходимо различать явления разного порядка: дифференциацию

общенародного языка на отдельные «классовые» языки (что невозможно) и использование определенным классом иного, не общенародного языка (что неоднократно встречается в истории разных народов). В целях различения в последнем случае следует лучше говорить не о классовых языках, а о классовом использовании языков.

В иных исторических условиях такое же классовое использование немецкого языка имело место в Дании XVII и XVIII вв. «Немецким языком, — свидетельствует по этому поводу Э. Вессен, — пользовались при датском дворе, особенно во второй половине XVII в. Он был широко распространен также в качестве разговорного языка в дворянских и бюргерских кругах» [\[346\]](#) 103. По данным Габеленца, у яванцев вышестоящий по своему общественному положению обращается к нижестоящему на языке ньоко, а тот должен отвечать на языке кромо. Своеобразное отражение социального положения языков обнаруживается в древнеиндийской драме, где существовало правило, что мужчины говорят на санскрите, а женщины на пракритах (народных говорах). Но это различие в действительности носило глубокий социальный смысл. «Различие, — рассказывает об этом О. Есперсен, — покоится, однако, не на половой дифференциации, а на социальных рангах, так как санскрит, — это язык богов, королей, князей, брахманов, государственных деятелей, придворных, танцмейстеров и других мужчин высшего сословия, а также частично и женщин особого религиозного значения. На пракритах же, напротив того, говорили мужчины низших сословий — деловые люди, маленькие чиновники, банщики, рыбаки, полицейские и почти все женщины. Различие между двумя языками есть, следовательно, различие общественных классов или каст» [\[347\]](#) 104. В этом последнем случае различие полов перекрывается фактически различиями их социального положения.<264>

К этой же группе следует отнести специальные языки, которые используют отдельные общественные группы для определенных (не общих для всего народа) целей. В одном случае это языки, служащие целям международного общения для людей той или иной профессии. Таким языком была в средние века латынь — международный язык ученых. На Ближнем и Среднем Востоке подобную же функцию выполняли арабский и персидский языки. Языком пандитов, т. е. образованных людей в Индии, стал ныне мертвый язык — санскрит.

Его судьбу в какой-то мере разделяет в арабских странах классический арабский, значительно отличающийся от живых арабских диалектов.

В другом случае это так называемые культовые языки, которые своим существованием обязаны религиозным традициям и стремлениям отграничить «священное» от «мирского». Культовыми обычно бывают мертвые языки. Таков язык католических богослужений — латынь, церковнославянский язык православной религии и грабар (древнеармянский) язык григорианской церкви. В качестве культовых языков используются также коптский, греческий, санскрит, арабский и пр. К культовым тесно примыкают специальные языки, созданные в мистических целях и имеющие особенно широкое распространение в первобытных обществах. У людей первобытной культуры «область священного много шире, чем у нас... нет почти ни одного общественного акта, не связанного тем или иным образом с магическо-религиозными обрядами, а с обрядами тесно связано употребление специальных языков» [\[348\]](#) 105.

Наконец, сюда же следует отнести и специальные языки, связанные с разделением полов. Само это разделение нередко при этом носит культовый характер. В качестве примера подобного деления языков можно привести караибов: мужчины говорят у них по-караибски, а женщины по-аровакски.

А. Самойлович сообщает об особой женской лексике у алтайских турков, которая (затрагивая главным образом бытовой словарный фонд) строится параллельно мужской лексике. Например: <265>

женск. мужск.

«волк» улучы поро

«дитя» уран бала

«курица» учар куш

«зубы» азу тиш

«лошадь» унаа ат и т. д. [\[349\]](#) 106.

Культовые, мистические и женские языки нередко создаются искусственным путем, и это подводит нас уже к следующей группе.

2. «Языки» этой группы, как правило, создаются с целью отграничиться от людей общего языка. Такое отграничение нередко связывается со всякого рода «тайной», «секретной» или антиобщественной деятельностью. Сам язык используется в качестве своеобразного, покрывающего подобную деятельность, средства.

Использование одного из таких «языков» (языка офеней, т. е. мелких бродячих торговцев) описывает в своем этнографическом романе «На горах» Мельников-Печерский: «Не то прибежит в лавку, ровно с цепи сорвавшись, какой-нибудь паренек и, ни с кем не здороваясь, никому не поклонясь, кликнет хозяину:

— Хлябышь в дудоргу хандырить пельмиги шишлять...

И хозяин вдруг встревожится, бросится в палатку и почнет там наскоро подальше прибирать, что не всякому можно показывать... Сколько бы кто ни учился, сколько бы ни знал языков, ежели он не офеня и не раскольник, ни за что не поймет, чем паренек так напугал хозяина. А это он ему по-офенски кричал: «Начальство в лавку идет бумаги читать».

Искусственные специальные «языки» иногда складываются более или менее стихийно, а иногда отдельными людьми, а затем уже получают распространение в тесном кругу людей, связанных какими-либо общими интересами или общим делом. Об одном из таких «авторских» языков рассказывает Ж. Вандриес: «Загадочный человек, известный только под претенциозным псевдонимом, грамматик Виргилий Марон, живший, по-видимому, в V в. н. э., как кажется, изобрел специальный язык,<266> долгое время бывший в чести в ирландских школах. Этот язык искажал слова обычного языка посредством удвоения, усечения или перемещения слогов. Со временем этот язык изменился и породил смешанный язык, названный «языком поэтов» по-ирландски *berla na filed*. Это арг, в котором мы находим заимствования из латыни, греческого, древнееврейского, вышедшие из употребления и взятые из устаревших текстов слова ирландского языка и, наконец, слова обиходного языка, прочитанные от конца к началу или вообще искаженные. В нашем распоряжении есть несколько образчиков этого языка, часто трудных для истолкования; он сохранялся в школах как тайный язык. Неизвестно, насколько он был распространен в устной речи; это, быть может, была только система письма, как язык колдунов и продавцов талисманов» [350] 107.

Подобным тайным и специальным «языкам» искусственного происхождения обычно присваивают наименование арг. Арг распространены среди различных профессиональных групп, учащихся различных учебных заведений, преступников и пр. Часто они имеют и

особые названия. Так, аргó преступников по-английски именуется *cant*, по-немецки — *Rotwelsch*, по-итальянски — *furbesche*, по-испански — *germania*, по-португальски — *calvo*, а по-русски — блатная музыка. Аргó французских школьников в зависимости от способа искажения обычных слов французского языка называются жаванэ и лушербэм.

От обычного языка все разновидности аргó отличаются по преимуществу своим словарем. В аргó или определенным образом переиначиваются обычные слова, или они получают совершенно новое (часто метафорическое) значение, или же включают большое количество иностранной лексики (нередко также искаженной, почерпнутой из самых различных языков). Б. А. Ларин, уделивший в своих исследованиях много внимания данному вопросу и собравший интересный материал, пишет по этому поводу: «Условные языки имеют обычно ту же фонетическую систему, ту же морфологию и синтаксис, в значительной мере ту же лексику (все неизменяемые слова и ряд изменяемых), что и общий язык. Своеобразны в аргó лишь некоторые категории словообразования, часть словаря и семантика; в значениях слов и в словоупотреблении аргó всего более расходится с общим языком. Сравнительное и историческое исследование этих дифференциальных элементов арготической лексики позволяет раскрыть еще более широкую связь аргó с национальным языком, так как в ней обнаруживаются многочисленные диалектизмы и архаизмы. Но в конце концов выделяется значительный остаток слов, никак не объясняющихся на основе общего языка данной территории» ^[351] 108. Этот остаток образуют главным образом всякого рода иноязычные заимствования. Так, наиболее обследованное аргó преступников включает ^[352] 109 заимствования: из немецкого — *зухер* «сыщик», *вешер* — «вагонный вор», *третер* «башмак», *бурч* «сообщник»; из французского — *аржан* «деньги», *атанда* «довольно», *алюра* «проститутка», *китте* «конец», *адья* «уходи»; из латинского — *сильва* «маленькие ребяташки», *ментула* «хлеб»; из польского — *пенцы* «деньги», *кишеня* «карман», *шибеница* «виселица»; из еврейского (древнееврейского) — *шмира* «ночная стража», *ксива* «писать документ», *хевра* «воровская шайка», *малахольный* «блаженненький», из цыганского — *хрять* «бежать», *марать* «убивать», *чардовать* «красть», *хавать* «есть», *чинава* «зарезать»; из тюркских языков — *бабай* «ростовщик», *капчук* «сто рублей», *манатки* «носильное белье»,

сара «деньги», *шамать* «есть» и т. д. Используется также прием кальки с сохранением переосмыслений исходного языка. Например (из немецкого *бобы* «патроны» из Bohnen — «бобы» > «пули»), *белое-черное* «чужой паспорт» из schwarz-weiß — «черное-белое» > «чужой паспорт», *колесо* «рубль» из Rad — «колесо» > «рубль» и пр.

Примерами переосмысления слов общенародного языка могут служить: *воробей* «замок» (*спугнуть воробья* «сломать замок»), *голуби* «белье на чердаке» (*спугнуть голубей* «обокрасть чердак»), *слинять* «убежать», *попасть в девятку* «быть пойманным», *каблук ломать* «изменять женщине», *не в цвет* «неудачно», *плясать чечет*^{<268>}*ку* «доносить», *посадить на скознях* «взять на прицел жертву», *подкатить шарики* «выдать милиционерам» и пр. ^[353] 110.

Усечения слов, перестановка слогов, замена звуков и пр. встречаются и в воровском аргоне, но редко. Подобные способы создания «тайных» языков чаще всего встречаются в школьных (или школярских) аргоне. В немецких школьных «языках», например, выделяют язык — *p*, язык — *b*, язык — *nif*, язык — *nj* и пр. Эти «языки» включают *p* или *b* (с любой гласной), *nif* или *nj* в каждый слог после гласной. Так, вместо нормальной фразы *wirwollenfortgehen* — «мы хотим уйти» получается *wipirwopollenfoportgepehn* (язык — *p*) или *wibirwobollenfobortgebehn*. Точно так же вместо *Tisch* «стол», *Stuhl* «стул», *Tinifisch*, *Stunifuhl* (язык — *hif*) или вместо *Stuhl* — *Stunjuhl* (язык — *nj*). Характерно, что немало подобным образом перестроенных жаргонных слов перешло в разговорную литературную и даже научную речь. Таковы *Philister* «обыватель» (из *Fister*), *Kladderadatsch* «шум, грохот», *scharwenzeln* «подлизываться», *schmarotzen* «жить на чужой счет, паразитировать» (ср. *Schmarotzerpflanze* «растение-паразит», *Schnarotzertum* «паразитизм») и пр. ^[354] 111. Русской параллелью к такого рода языкам может служить (в ряду многочисленных вариантов) «язык» с включением после каждого слога звука *к* с гласным, повторяющим гласную слога: *Прибежали в избу дети* принимает форму *прикибекежакалики викизбуку декетики*.

Аргоне могут иметь региональные различия. Например, воровское аргоне Средней Азии включает значительно большее количество заимствований из тюркских языков, чем другие его разновидности, в то время как аргоне преступников Западной Украины имеет больше

заимствований из польского языка. Кроме того, арго не является стабильным. Уже само его назначение — скрывать под непонятными словами подлинный характер деятельности от непосвященных — заставляет подвергать арго постоянному реформированию. Ведь со временем отдельные элементы арго становятся понятными для слишком широкой<269> публики. Но вместе с тем арго обладают и своеобразным «основным словарным фондом», который остается сравнительно устойчивым, приобретая только новые синонимы.

3. Пожалуй, наибольший интерес представляет третья группа явлений, относящихся к социальной дифференциации языка и связанных с социальным членением общества, обслуживаемого данным языком. Следует при этом еще раз подчеркнуть, что речь идет не о распадении общенародного языка на ряд самостоятельных и отграниченных друг от друга классовых языков, а о так называемых социальных диалектах, т. е. о социальных разновидностях единого общенародного языка. Социальная дифференциация общенародного языка всегда дает себя знать — в одних случаях с большей силой, в других — с меньшей; все зависит от конкретных исторических условий существования народа. В свое время об этом хорошо писал П. Лафарг: «Язык отражает в себе изменения, происходящие в человеке и в среде, в которой последний развивается. Изменения в укладе жизни человеческого общества, как например, переход от сельской жизни к городской, а также политические события кладут свой отпечаток на язык. Народы, у которых политические и социальные сдвиги быстро следуют друг за другом, видоизменяют быстро свой язык; наоборот, у народов, не имеющих истории, язык становится неподвижным. Язык Рабле через столетие после смерти этого писателя был понятен только лишь для образованных читателей, а исландский язык... сохранился почти в неприкосновенности в Исландии» [\[355\]](#) 112.

Но дело не только в том, что темпы исторического развития народа находят свое отражение в больших или меньших изменениях языка. Сама социальная структура общества, большая или меньшая степень отграниченности его социальных слоев друг от друга также оказывают прямое влияние на общенародный язык, способствуя его социальной дифференциации. Ф. Энгельс указывает на конкретный случай такой дифференциации: «...английский рабочий класс с течением времени стал сов<270>сем другим народом, чем английская

буржуазия... Рабочие говорят на другом диалекте, имеют другие идеи и представления, другие нравы и нравственные принципы, другую религию и политику, чем буржуазия» ^[356] 113.

Таким образом, социальная дифференциация общенародного языка есть естественное следствие сложного социального строения общества; это абсолютно реальное лингвистическое явление, а поэтому полное право на существование имеет и термин «социальный диалект».

В связи с изложенным представляется необходимым устранить одно недоразумение. На протяжении своей работы Сталин несколько раз повторяет мысль, относящуюся к его полемике против теории классовости языка. В ответе Санжееву в работе «Марксизм и вопросы языкознания» он формулирует ее следующим образом: «Классовые диалекты», которые правильнее было бы назвать жаргонами, обслуживают не народные массы, а узкую социальную верхушку». Он также многократно говорит, что такие классовые «диалекты», или жаргоны, обречены на прозябание и отмирание.

Как было показано выше, социальная структура общества может вызвать к жизни далеко не однородные языковые явления. Здесь возможно и классовое использование чужого языка (и уже поэтому в данном случае не может быть речи о жаргоне), и различные арготизмы и жаргоны (которые, однако, не могут быть классовыми по той простой причине, что ни школьников, ни бродячих артистов или торговцев, ни тем более воров никак нельзя именовать отдельными социальными классами). Остается социальная дифференциация общенародного языка. Но некоторое видоизменение общенародного языка в определенной социальной среде не может, конечно, быть исключительной привилегией социальной верхушки — аристократии или буржуазии. Если, например, общество членится на классы буржуазии, пролетариата и крестьянства, то естественно ожидать дифференциацию языка по всем этим социальным образованиям и, следовательно, есть все основания говорить о соответствующих социальных диалектах. Не следует только исходить при этом из заранее заданных схем и механически переносить социальную структуру на структуру языка. Теоретические предпосылки, изложенные выше, указывают на такого рода социальную дифференциацию общенародного языка, повторяющего социальную

структуру общества, но формирование всякой общественной структуры всегда проходит в конкретных исторических условиях, вследствие чего и язык неодинаковым образом проводит свою социальную дифференциацию. В данном случае выводы зависят от действительных языковых фактов. Последние также должны решать вопрос и о том, прозябает ли тот или иной социальный диалект на данном этапе развития общества и при существующих в нем конкретных социальных отношениях, или, напротив того, ведет вполне уверенное существование.

Социальная дифференциация языка, как правило, осуществляется за счет лексики, семантики, стилистики и фразеологии — и всегда на основе общенародного языка. Поэтому вполне правомерно говорить о социальных диалектах как об ответвлениях общенародного языка. Собственно лексические различия социальных диалектов имел в виду А. И. Герцен, когда писал: «Простой смертный носит *рубаишу*, а барин — *сорочку*... один *спит*, а другой *почивает*, один *пьет чай*, а другой *изволит его кушать*»^[357] 114) ^[358] 115. Применительно к английскому обществу об этом же говорит в романе «Айвенго» В. Скотт, указывая, что до тех пор, пока животные бегают на крестьянских полях, они именуются *ох* (бык), *calf* (теленка), *sheep* (баран), *pig* (свинья). Но стоит им попасть на господский стол, как они получают уже иные, французские в своей основе, названия: *beef* (говядина), *veal* (телятина), *mutton* (баранина), *pork* (свинина). Еще более характерный пример социальной дифференциации языка мы обнаруживаем в комедии Шекспира «Как это вам понравится». Шут Тачстон (Оселок) держит следующую ироническую речь:

Therefore, you clown, *abandon* — which is in the vulgar *leave*, — the *society* — which in the boorish is *company* — of the *female*, — which in the common is *woman*; which together is, abandon the society of this female or, clown, thou *perishest*, or, to the better understanding, *diest* ^[359] 116.<272>

В переводах параллельное чередование аристократической и крестьянской лексики в речи Тачстона пропадает. (Например, в переводе П. И. Вейнберга этот отрывок звучит так: «Вот почему, деревенский неуч, *покинь* — то есть, говоря низким слогом, *оставь* — сообщество — то есть, говоря деревенским слогом, *компанию* — этой *самки*, то есть, говоря обыкновенным слогом, этой *женщины*. А все

это вместе значит: покинь сообщество этой самки, или, дружок, ты *погибнешь*; или, чтобы выразиться понятнее для тебя, ты *умрешь*».)

Интересно отметить, что, как показали исследования английского филолога А. Росса ^[360] 117, социальные языковые отличия не остаются постоянными. Так как, в частности, языковые особенности господствующего класса могут со временем усваиваться (в качестве образцовой манеры речи) также представителями и других классов и тем самым утрачивают качества социальных показателей, они заменяются другими. Так, в первые десятилетия настоящего столетия большое распространение в языке английской аристократии получили слэнговые выражения. В силу того, что позднее они стали общеупотребительными, ныне английская аристократия оставила привычку щеголять слэнгом и, наоборот, излишнюю склонность к нему рассматривает как отличительную черту принадлежности к иным классам. Таким образом, при желании можно воссоздать картину исторической смены «лингвистических социальных показателей» в пределах отдельных обществ с классовой структурой.

Но социальная дифференциация языка может захватывать не только лексику (а также семантику и стилистику), но и другие структурные части языка — морфологию, синтаксис, фонетику. Это, в частности, имеет место тогда, когда происходит слияние локальных и социальных диалектов. С подобным положением мы сталкиваемся, когда обращаемся к изучению крестьянских диалектов. Это, с одной стороны, определенный социальный диалект — крестьянский. Но, с другой стороны, крестьянская речь, как правило, характеризуется локальными особенностями, проявляющимися и в лексике, и в грамматике, и в фонетике. В данном случае, следовательно, происходит перекрытие локальных явлений социальными, и то, что служит в качестве характеристики локальных особенностей, в ином плане (и, конечно, под другим углом зрения) приобретает социальную значимость. «Для эпохи капитализма, — пишет в этой связи Р. И. Аванесов, — территориальные диалекты одновременно являются крестьянскими диалектами» ^[361] 118.

Социальный аспект локальных диалектов проявляется и в том, что их характер находится в прямой зависимости от социальных формаций. Касаясь этого вопроса, В. В. Иванов пишет: «Известно, что местные диалекты — это такая языковая категория, развитие которой

зависит от определенных исторических условий, точнее — от характера общественно-экономической формации, переживаемой тем или иным обществом в данный период его развития. Одни исторические условия, одни общественно-исторические формации благоприятствуют развитию местных диалектов, увеличению диалектных особенностей в языке (обратная сторона этого процесса — нарушение языковой общности, ослабление единства общенародного языка), другие исторические условия задерживают развитие диалектов, прекращают его и постепенно ведут к тому, что местные говоры начинают исчезать (обратная сторона этого процесса — укрепление языковой общности)» [362] 119.

Важность изучения описанного явления совершенно очевидна. Ведь в данном случае яснее, чем где-либо, ощущается связь языка с обществом и его историей. К сожалению, в этом направлении сделано очень мало, а в последние годы данная проблема вообще выпала из исследовательской тематики советских языковедов. Редким и счастливым исключением является только книга В. М. Жирмунского «Национальный язык и социальные диалекты» (Гослитиздат, 1936), содержащая богатый материал и интересные наблюдения. Но исследование В... М. Жирмунского проведено на немецком материале, а русский язык, кроме устаревших по своим установкам «Очерков по языку» А. Иванова и Л. Якубинского<274> (Гослитиздат, 1932), почти ничем не располагает [363] 120.

Выделение в обществе профессиональных групп способствует созданию так называемых «профессиональных языков» (по-немецки *Sondersprache*; слово «язык» в данном случае употребляется, конечно, не в прямом, а в метафорическом смысле). Так как в данном случае речь идет исключительно только о лексических особенностях, то правильнее говорить о профессиональной лексике (или, когда на первый план выступает семантическая сторона слов, о профессиональных предпосылках понимания слов) [364] 121. Профессиональная лексика обычно не знает локальных различий и ориентируется исключительно на профессиональные интересы. В значительной степени она комплектуется из терминов (имеющих часто международное хождение и охотно использующих иностранную лексику), но очень широко прибегает и к лексическим ресурсам общенародного языка, придавая отдельным лексическим элементам

специальное значение. Ясно при этом, что само образование профессиональных «языков» связано с характером и значимостью той или иной профессиональной группы, ее большей или меньшей ограниченностью в пределах общества и т. д.

Само понятие профессионального языка (или профессиональной лексики) не имеет четкого определения. Сюда относят и цеховые «языки», и «языки» отдельных профессий, и различные научные и технические «языки», и «языки» таких групп, которые трудно подвести под какую-нибудь определенную категорию. Так, в насыщенной огромным и интересным материалом главе о специальных языках (Sondersprache) Г. Хирт в одном ряду рассматривает «языки» няnek, студентов, юристов, канцелярий, поэзии, земледельцев, охотников, шахтеров, типографчиков, нищих, купцов, солдат, моряков, различных наук — философии, математики, грамматики и т. д. ^[365] 122. Очевидно, что здесь необходима продуманная и научно обоснованная классификация.<275>

«Профессионализация» языка обычно осуществляется тремя путями: 1) посредством создания новых слов (также и через заимствования), 2) с помощью переосмысления слов общенародного языка, 3) сохранением архаических элементов.

Примеры первой группы слов приводит в своей книге Р. Шор ^[366] 123. Типографские рабочие употребляют такие непонятные для непрофессионалов слова, как *реглет*, *бабашка*, *шпон*, *шпация*, *тенакль*, *реал*, *кегель*, *гранка*, *цицero*, *корпус* и т. п. Коноводы в лошадином беге различают *аллюр*, *грунцу*, *рысцу*, *нарысь*, *хлынцу*, *притруску*, *грунь*, *хлынть*, *рысь*, *развал*, *перевал*, *плавь*, *иноходь*, *перебой* и пр. Птицеводы выделяют в соловьином пении двенадцать колен: *пульканье*, *клыканье*, *дробь*, *раскат*, *пленканье*, *лешева дудка*, *кукушкин перелет*, *гусачок*, *юлиная стукотня*, *почин*, *оттолчка* и т. д.

Профессиональная специализация значений слов — другой и не менее распространенный прием создания профессиональных «языков». В результате этого процесса представители разных профессий вкладывают в обычные слова понятное только им специальное значение. Так, слово *баран* может значить: 1) штевень судна, 2) рычаг для подвески избы, 3) мельничный рычаг для подвески жерновов, 4) убойный стан у мясника, 5) скобя на бороне, 6) железный таган на носу лодки, где жгут смолье, когда бьют острой рыбу, 7)

печная вьюшка, 8) большой двурогий плотничий струг и т. д. Слово *корень*, кроме общенародных значений — «корень растения», «корень зуба», «корень зла» — имеет еще специальные значения: в лингвистике — основная часть слова, в математике — величина, которая при возведении ее в определенную степень дает данное число. *Кошка* значит не только определенное млекопитающее животное, но и такие специальные предметы, как: 1) якорь с тремя и более лапами для подъема затонувших предметов; 2) серповидное приспособление для подъема на деревянные столбы; 3) зубчатая металлическая основа горной обуви; 4) ременная плеть с несколькими концами. Мы употребляем слово *корпус* не только для обозначения части тела (туловище) человека или животного, но и в более специальном смысле: корпус скрипки, корпус ко²⁷⁶рабля, главный корпус дома, стрелковый корпус, дипломатический корпус, кадетский корпус, вид типографского шрифта. Профессиональные предпосылки понимания слова заставляют под словом *операция* финансиста понимать финансовую операцию, офицера — военную, врача — хирургическую и пр.

О сохранившихся в профессиональных языках словах, вышедших из «обычного» употребления, сообщает О. Бехагель. «В языке охотников, — пишет он, — *absprossen* — «откусывать почки, бутоны» происходит от средневерхненемецкого *broz* — «почка», *rahmen* — «перегонять» от древневерхненемецкого *rahmen* — «стремиться к чему-либо», *wölfen* — «рожать», «щениться» — от средневерхненемецкого *welf* — «детеныш собаки или дикого животного» и пр.» [\[367\]](#) 124.

Профессиональная специализация словаря (профессиональные «языки»), таким образом, отражает те формы распределения труда, которые характерны для данного конкретного общества. В них находит прямое отражение и история той или иной профессии. Тем самым явления этого порядка получают не только социальный, но и собственно исторический аспект.

История народа и законы развития языка

Выше были рассмотрены различные формы влияния истории народа на развитие языка. Теперь остается выяснить кардинальный вопрос всей этой проблемы: в какой мере история народа может воздействовать на законы развития языка?

Очевидно, что между определенным аспектом языка и общественными процессами можно установить известную общую зависимость, как это имеет место и в других разобранных выше случаях. Например, развитие языка в направлении от языка племенного к языку народности и от этого последнего к национальному возможно только потому, что такова закономерность развития общества. При этом прохождении языков по отдельным этапам развития в них возникают явления, свойственные только каждому этапу в отдельности. Так, по-разному<277> складываются отношения между территориальными диалектами и языком народности, с одной стороны, и между Территориальными диалектами и национальным языком — с другой [368] 125. Изменение этих отношений, в свою очередь, не может не наложить своего отпечатка и на структуру языка. Но такая зависимость в каждом отдельном языке принимает глубоко своеобразные формы не только потому, что превращение, например, языка народности в национальный язык происходит всегда в особых исторических условиях, но также и потому, что каждый язык обладает специфическими для него структурными особенностями. Структурное же различие языков приводит к тому, что каждый из них может реагировать далеко не одинаково на одни и те же стимулы. Но возможны и иные типы зависимости развития языка от истории народа.

Как выше многократно отмечалось, развитие языка в конечном счете стимулируется потребностями общения, осложняющимися с развитием общества. Язык развивается до тех пор, пока он функционирует в качестве средства общения в среде какого-либо общества, и когда он лишается этих функций (или сужает их до вспомогательного «языка для связи» между разноязычными представителями замкнутого профессионального круга, как например, латинский в средние века), он превращается в «мертвый» язык. От

общества язык получает стимулы для своего развития, и стимулы эти носят определенный характер, поскольку они рождаются в конкретно-исторических условиях.

Однако те изменения в общественной жизни, на которые язык в процессе своего развития реагирует, выражаются в языке в соответствии со свойственными ему структурными особенностями. Таким образом, явления развития языка в этом аспекте представляются определенными, зависящими от структуры языка способами реализации внеязыковых стимулов, которые рождаются историей народа. Этим общим положением определяется данный и наиболее наглядный тип зависимости развития языка от истории общества.
<278>

История народа вместе с тем не представляет абсолютно безразличного агрегата, роль которого сводится только к тому, чтобы приводить в действие развитие языка. Конкретные пути истории народа, те или иные их направления, создаваемые ими условия функционирования языков — все это может привести к возникновению в языках новых явлений, настолько вживающихся в структуру языка, что они принимают уже закономерный характер.

Таким образом, мы приходим к следующим выводам. История народа не создает законов развития языка, но служит общим стимулом его развития. Но история народа может способствовать — опосредствованно через структуру языка — созданию в языке конкретных новых явлений, принимающих иногда закономерный характер. Прямого соответствия между событиями истории народа и возникновением новых явлений в структуре языка все же не может быть: форма всех новых явлений, как правило, обуславливается структурой языка.

Зависимость новых явлений языка от конкретных исторических событий может быть более очевидной (внешне мотивированной) и менее очевидной (опосредствованной или внутренне мотивированной). Но так как в конечном счете эта зависимость всегда наличествует, рассматриваемая нами проблема в первую очередь заключается в прослеживании и установлении форм реагирования конкретной структуры языка на внеязыковые стимулы (история народа).

Наглядней всего эти процессы прослеживаются в лексической сфере языка. Пополнение словарного состава в связи с изменениями социального строя, с развитием производства, с развитием культуры, науки и т. д., осуществляемое на основе законов развития языка, представляет пример внешней мотивированности его изменения. Количественный рост словарного состава изменяет язык в том отношении, что превращает его в более гибкий и богатый.

Точно так же и в изменении значений слов легко вскрывается внешняя мотивированность. Тут наиболее простые случаи представляют изменения, которые Г. Стерн подводит под класс субституций [369] 126. В смысловом содержании, например, таких слов, как *битва* или *искусство*, произошли значительные изменения в соответствии с развитием науки и техники. Битву первобытных племен нельзя сопоставлять с воздушной или танковой битвой современности, точно так же как и современное искусство, в которое включается и кино, отличается от эллинского искусства, в состав которого входила грамматика.

Но уже иного порядка изменения наблюдаются, например, в следующих случаях. Большое распространение в языках имеет ряд, так сказать, технических приемов, которые неправомерно причисляют к семантическим законам и с помощью которых осуществляется расширение сферы применения слова, что, естественно, приводит и к изменению его значения. Речь идет о переносах слов по всякого рода ассоциациям, метафорам, метонимиям и т. д. В основе подобных переносов лежит внешняя мотивированность, особенно отчетливо выступающая при создании указанными способами научной и технической терминологии: *резцы, головки, ручки, уголки* и пр. Но если, например, слово *крепкий* с первоначальным значением «прочный», «твердый», «выносливый», «сильный» в результате синестезии начинает употребляться в оборотах *крепкий чай, крепкий табак, крепкое вино*, то и его антоним *слабый* получает соответствующее изменение в сфере своего употребления: *слабый чай, слабый табак, слабое вино*. Больше того, в языке создается новая связанная лексико-семантическая группа, представляющая школу качественных оценок определенной группы предметов, так как на вопрос: *какой чай вы пьете?* — возможны ответы: *крепкий, средний,*

слабый. Это элементарный случай скрещивания действия внешней мотивированности и последующих опосредствованных явлений.

Примером более сложного порядка может служить история английского слова *cunning*. Как показывают письменные памятники в период с XIV по XVIII и даже до середины XIX в., оно обладало следующими основными значениями: 1) обладающий знаниями, ученый; 2) обладающий практическими навыками, искусный, ловкий; 3) обладающий острым умом, умный. Ср., например, такие тексты.

Plautothecōnynge, and famous clerk that wellexpertewasin philosophy — «Платон был ученый и знаменитый<280> муж, обладавший большими познаниями в философии» (Haves. The Pastime of Pleasure), или For a cunning and scilful Chirurgion neede neurvaunt of his dooings, for his workswylleuer get credite ynough — «Искусному и умелому врачу нет надобности хвастаться своими деяниями, так как его работа всегда будет говорить за себя» (Th. Vicary. The Anatomic of the Bodie of Man). Все эти значения содержат в себе положительную оценку данных качеств (*cunningscribe*, *cunningalderman*) и *cunningman* во многих случаях могло заменяться *witman*, *wiseman* или даже *honestman*, что опять-таки подтверждается памятниками. (См., например, О. Голдсмит. This is my opinion, and was once the opinion of a set of honest men who were called Levellers. They tried to erect themselves into a community, where all should be equally free. But alas! it would never answer: for there were some among them stronger, and some more cunning than others, and these became masters of the rest ит. д. Здесь *cunning* и *honest* употребляются наравне.) Всеми этими своими значениями *cunning* входило в одну систему, или, точнее говоря, в группу близких лексико-семантических систем.

Но затем, начиная с XVIII в., сфера употребления этого слова расширилась, стали возможны такие словосочетания, как *cunningfiend* — «хитрый дьявол», «ловкая бестия», *cunningthieves (thief)* — «ловкий вор» и т. д. Тем самым это слово стало, относиться также и к другой лексико-семантической системе, содержащей отрицательную качественную оценку со следующими основными значениями: 1) хитрый, коварный (ср. The cunning of the fox is proverbial), 2) ловкий, искусный (в дурном смысле). (Ср. следующее объяснение Ф. Бэкона: We take Cunning for a Sinister or Crooked Wisdom. And certainly, there is a great difference between a Cunning Man and a wise Man; not only in point

of Honesty; but in point of Ability. — «Essays or Counsels Sivill and Moral».)

Таким образом, отдельные значения слова *cunning* (в результате внешней мотивированности, расширившей употребление слова) стали относиться к разным смысловым сферам, противоположным по значению, причем развитие второй (отрицательной) группы значений проходило уже опосредствованно в результате связи со словами морально отрицательного значения, которые и передали свой «отрицательный заряд» слову *cunning*,^{<281>} образовав тем самым в его составе группу новых значений.

Но этим опосредствованное семантическое развитие слова *cunning* не закончилось. Описанное семантическое состояние *cunning* с параллельными рядами значений разделяется и другими английскими словами: *smart*, *sharp*, *shrewd*, *knowing*, *cute*, *keen*, *clever*. Все эти слова способны употребляться с более или менее контрастным значением. Но контрастность их значений не настолько четка и резка, как в слове *cunning*. Во многих случаях их отрицательные значения находятся на периферии смысловой структуры, они обычно находятся на грани оттенков значений и не имеют достаточно прочной опоры в новых лексико-семантических системах, способных противостоять старым. По-иному обстояло дело со словом *cunning*. Контрастность групп значений в составе этого слова оказалась настолько сильной, что существование их в пределах одного слова было уже нетерпимым. Слово должно было распасться на омонимы или, в случае наличия других слов с близким значением, отказаться от одной из групп контрастирующих значений. Семантическое развитие слова *cunning* пошло по второму пути, и ныне оно употребляется только со значением отрицательной оценки (исключение представляет только библейское выражение: *the hand had not forgot her cunning*). Этот заключительный эпизод в развитии значения слова *cunning* также следует связать с внутренней мотивированностью языковых процессов.

Если в лексической сфере языка в ряде случаев оказывается возможным с большей или меньшей определенностью установить влияние внешней мотивированности языковых процессов, то в области грамматики это уже оказывается гораздо более сложным. Процессы изменения в области грамматики, в силу специфических особенностей

грамматических явлений (грамматическая абстракция), носят вторичный, «отраженный», целиком опосредствованный характер, основываются на внутренней мотивированности. Однако и здесь через посредствующие звенья иногда можно проследить достаточно очевидную обусловленность изменений историческими условиями. Очевидно, и в этом случае следует начинать с самых элементарных примеров, которые, может быть, не всегда можно ставить в прямую связь с законами<282> развития языка, но которые делают понятными более сложные случаи.

Норманское завоевание Англии принесло с собой сильное французское влияние. Английский язык, одержав победу в длительной борьбе с французским, сильно обогатился лексическими заимствованиями за его счет. Обогащение английского языка норманно-французскими заимствованиями, конечно, никак нельзя связывать прямым образом с законами развития английского языка. Но заимствование французских словообразовательных суффиксов и адаптация их английским языком представляет более сложное явление, чем простое лексическое заимствование.

Обычно процесс адаптации иноязычных словообразовательных средств трактуется слишком упрощенно и во многих отношениях ставится в один ряд с обычным заимствованием слов. Однако это едва ли правомерно. В пользу такого мнения говорит то обстоятельство, что лексические заимствования (даже огромного объема) не всегда имеют своим следствием переход вместе с ними из одного языка в другой словообразовательных средств. Арабские слова в огромном количестве влились в иранские и тюркские языки, но не создали там по своему образцу новых словообразовательных средств. С другой стороны, словообразовательные элементы могут заимствоваться и не в массе иноязычных слов, примером чего могут служить латинские и греческие словообразовательные суффиксы в русском языке,

Очевидно, что заимствование иноязычных словообразовательных элементов происходит легче всего тогда, когда это совпадает с основными тенденциями развития языка, когда сам тип заимствуемых словообразовательных элементов подходит к структурным особенностям языка. Адаптация иноязычных элементов этого порядка, несомненно, происходит в соответствии с теми

формами закономерных отношений, которые существуют в языке между его структурными элементами.

Когда с норманским завоеванием в английский язык вошли такие группы французских слов, как *arrogance*, *repentance*, *innocence*, *ignorance*, *agreement*, *treatment*, *government*, *funeral*, *refusal*, то содержащиеся в них французские словообразовательные суффиксы — *ance*, — *ence*, — *ment*, — *al* только потому могли быть усвоены^{<283>} английским языком, что в этом была внутренняя необходимость, а их тип, соотнесенный с английскими суффиксами (например, — *ful*, — *ship*, — *nis*, — *ing*), оказался полностью совпадающим с ними. А такая «примерка» грамматических элементов чужого языка к структуре родного возможна только на основе внутренней мотивированности, и только удовлетворительные ее результаты могли привести к созданию в английском языке образований типа *hindrance*, *fulfilment*, *burial*, в которых с французскими суффиксами соединяются уже английские слова.

Это тоже обогащение языка, но уже иного порядка, так как в данном случае происходит обогащение грамматического строя, превращение его в более гибкую и совершенную систему.

В качестве другого, более сложного по своей природе примера возникновения нового грамматического явления можно привести образование так называемых слабых форм спряжения германского глагола. Категория слабых глаголов, характеризуемая наличием дентального суффикса в формах претерита и причастия прошедшего времени, хотя и сложилась еще в общегерманском языке, является, несомненно, более поздним образованием сравнительно с сильными глаголами. Тип слабых глаголов оказался продуктивной формой в историческую эпоху (т. е. засвидетельствованную памятниками) всех германских языков, получив в них некоторую дифференциацию. Его возникновение, по-видимому, обусловилось следующими обстоятельствами.

Образование форм сильных глаголов строилось на основе систематизации индоевропейского аблаута и первоначально имело вполне четкое и однозначное чередование *e* — *o* — *ноль*. Но затем эти элементы чередования расширяются посредством неслоговых *i*, *u* и сонорных, усложнивших всю систему. В дальнейшем ассимиляторные воздействия соседних звуков еще более запутывают систему

чередования коренных гласных сильных глаголов, дифференцируя аблаутные ряды в пределах отдельных классов и создавая в них противоречия. (Ср., например, раздвоение рядов I и II в древневерхненемецком, вызванное различием последующего согласного:

I. *stigan* — *steig* и *lihan* — *leh*, где *ei* > *κ* перед *h, r, w*. <284>

II. *biogan* — *boug* и *biotan* — *bft*, где *ou* > *o* перед *hi* переднеязычными.)

Наряду с типом корневого тематического презенса сильных глаголов германские глаголы знали отыменные и каузативные образования. Древность этого типа глаголов подтверждается наличием аналогичных образований в других индоевропейских языках. (Так, готский отыменной глагол *namnjan*, от *namo* — «имя», построен, как и греч. *onomaino* < **onomanyō*, от *onoma*; готский каузатив *wardjan*, *fra-wardjan* — «погубить», от *wairjan*, *fra-wairjan* — «гибнуть», соответствует санскритскому *vartyoti* — «он вертит» и *vrtati* — «он вертится».)

Но если сильные глаголы образовывали формы прошедшего времени при помощи рядов аблаутного чередования, то производные глаголы, по преимуществу отыменного происхождения, лишены были этого средства и при помощи флексий первоначально могли образовывать только формы настоящего времени. Для образования прошедшего времени эти глаголы обращались к использованию других средств, употреблявшихся, видимо, уже в древнейшие эпохи индоевропейских языков, т. е. к перифрастическому, или описательному образованию с помощью вспомогательных глаголов. Ср. лат. *amabam* — «я любил», старослав. *delaāchъ* — «я делал», лит. *dirbdavan* — «я работал», где вторыми элементами этих образований являются: лат. — *bam* < *bhnam* — сослагательное наклонение от корня * *bhe* — «быть»; древнеслав. — *achъ* < *ēsom* — имперфект от **es* — «быть»; лит. — *davan* — претерит или от **dhe*, или от **don* — «делать». Подобным же образом стало выражаться прошедшее время в группе отыменных и каузативных германских глаголов, которые для этой цели употребляли, видимо, индоевропейский корень **dhē* — «делать», герм. **dē*, удвоенная форма **de-d*. Это первоначально отдельное слово в дальнейшем превратилось в суффикс и дало в различных германских языках многообразие дентальных элементов в

формах прошедшего времени слабых глаголов: гот. *salboda*, древневерхненем. *dalbfta*, древнеисл. *kallaota* и т. д.

Таким образом, сложилось два способа образования форм прошедшего времени, которые соответствовали двум морфологическим типам германских глаголов — сильным и слабым. Если бы развитие германского языка<285> оборвалось на первом этапе формирования слабых глаголов и он дошел бы до нас в виде мертвого языка, то можно было бы ожидать, что сильное спряжение выглядело бы как основное для его глагольной системы, а аналитическое слабое спряжение выступало бы эпизодически, не будучи даже грамматизованным. Но развитие германского языка пошло далее и привело к полной победе слабого типа глаголов. Это произошло не потому, что в группе сильных глаголов иссякла «таинственная» творческая сила. Система сильного глагола настолько органически и прочно вошла в структуру германских языков, что никакие дальнейшие структурные изменения (даже такие основательные, как в английском языке) не смогли ее изжить. Как показывает пример лат. *scribere*, превратившегося в древневерхненемецком в сильный глагол *scroban*, сильные глаголы могли обладать и продуктивностью. Но они были подавлены все увеличивающимися глаголами нового типа образования, по преимуществу отыменного происхождения. Германские племена вступили в бурный период своей истории, сопровождавшийся переселениями, столкновениями с другими племенами и народами, контактом с более развитыми культурами. Все это привело к усилению темпов развития языка, к резкой интенсификации роста его словарного состава. Но новые глаголы не укладывались в аблаутные чередования старых глагольных рядов. Увеличиваясь в количестве, они все более укрепляли новый тип, на стороне которого было и то преимущество, что его формы были свободны от старых видовых созначений глаголов сильного типа спряжения.

Таким образом, на основе внутренней (опосредствованной) мотивированности, но побуждаемое в конечном счете историческими условиями существования германских племен, в их языках утверждается новое грамматическое явление, вполне соотносимое с законами развития языка.

Гораздо сложнее проследить действие внешних причин на развитие фонетических процессов. Они создают впечатление абсолютной независимости. Но, с другой стороны, в силу того обстоятельства, что звуковая форма языка представляет обязательный компонент его системы и таким образом связана закономерными отношениями с другими ее компонентами, нельзя отказаться^{<286>} от мысли, что здесь тоже наличествует, хотя, может быть, и очень далекая, связь с историческими условиями существования языков. Эта связь не принимает такие более или менее определенные формы, которые вскрываются в других сферах языка. Внешняя мотивированность остается в этом случае совершенно скрытой. В самой своей общей форме эта связь может быть формулирована только следующим образом: чем богаче события истории народа, тем активнее фонетические процессы. А в остальном все конкретные формы этих процессов осуществляются на основе внутренней мотивированности. Как утверждает Ж. Вандриес, «всякие фонетические изменения должны рассматриваться как результат действия внутренних и невидимых сил, которые можно обозначить именем тенденций» [\[370\]](#) 127.

Но здесь встает вопрос о субстратных явлениях. Вопрос о субстрате уже разбирался выше, но здесь он предстает в ином аспекте. Могут ли субстратные явления стать фактом внутренней истории языка, т. е. принять форму законов развития языка? Некоторые языковеды решают этот вопрос положительно. Например, В. Н. Абаев пишет: «...субстратные элементы, войдя в язык, становятся его органической частью и, стало быть, фактором его внутреннего развития. Поэтому отделять механически действие внутренних законов от действия субстрата нельзя» [\[371\]](#) 128.

В обоснование своего мнения он приводит примеры дравидского субстрата в индо-арийских языках и иберийско-кавказского субстрата в армянском и осетинском языках. Это не единичные суждения. Однако вопрос о влиянии субстратных явлений на развитие языка — это надо всячески подчеркнуть — относится к иным видам исторически обусловленных воздействий на язык, — именно к тем, которые были разобраны в разделе о контактах языков. Историческая обусловленность наличествует и здесь, но она обеспечивает только условия, при которых происходит воздействие одного языка на другой.

В рассмотрении вопроса о зависимости закономерных фонетических процессов от истории народа возможен и другой подход. Ф. Энгельс с полным основанием указы<287>вал: «Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись смешным, объяснить экономически... происхождение верхненемецкого передвижения согласных...» [372] 129.

Но история общества состоит не только из экономических факторов, и поэтому, пожалуй, заслуживает внимания мнение Прокоша относительно причин передвижения германских согласных: «Вряд ли случайно, — пишет он, категорически отрицая в данном случае влияние субстрата, — такая большая и однородная группа фонетических изменений совпадает по времени с тем, что справедливо может быть названо самым значительным передвижением народов (*Völkerverwanderung*)» [373] 130 и при этом обращает внимание на следующие обстоятельства. Передвижение согласных — это единый непрерывный процесс, развивавшийся ступенчатообразно (Прокош устанавливает девять ступеней). Длительность этого процесса приблизительно соответствовала длительности германского переселения племен, т. е. началась за несколько веков до нашей эры и закончилась около 500 г. нашей эры. Основные тенденции передвижения согласных зародились еще на территории родины германцев и затем осуществлялись как бы в причинной связи с переселением народов. Прокош суммирует: «Неоспоримы следующие хронологические факты: восточно-германский и северогерманский, прежде других ответвлений общегерманского переселившиеся на новую родину, пережили только 1–4 ступени передвижения согласных и лишь в небольшой степени 5 ступеней. Западногерманские диалекты, расположенные к северу от линии Бенрата (идущей от Аахена и Дюссельдорфа к Франкфурту-на-Одере), показывают более значительные изменения по пятой ступени. Верхненемецкий, особенно южнонемецкие диалекты, т. е. диалекты племен, переселившихся последними, завершают изменения пятой ступени и добавляют шестую и седьмую. Соответствие это слишком явное, чтобы быть случайным» [374] 131.

Приводимые факты, разумеется, требуют еще дальнейшей проверки и дополнительных исследований, но<288> вместе с тем они показывают возможные направления в исследовании вопроса о связи фонетических процессов с историей народа.

Само по себе рассмотрение вопроса о связи закономерностей развития языка и общества в плане отдельных сторон языка довольно искусственно ввиду системного характера языка. Оно оправдано, однако, тем, что разные стороны языка (лексика, грамматика, фонетика) обладают разной степенью «чувствительности» к фактам истории народа. Это обстоятельство находит свое выражение и в изменении в языковых процессах роли внешней и внутренней мотивированности, т. е. того механизма, посредством которого внешние причины действуют через внутренние. Вместе с тем не следует забывать того, что в фактах развития языка скрещивается действие разных по своей природе закономерностей, в результате взаимодействия которых в действительности и происходит в языке рождение нового явления.<289>

Язык и мышление

Чрезвычайно важный и сложный вопрос о взаимоотношении языка и мышления составляет одну из центральных проблем общего языкознания. Это не только глубокая теоретическая проблема, связанная с общими вопросами языкознания. Обладая методологической значимостью, она определяет направления лингвистического исследования и его методы. Тем самым она вторгается во многие конкретные языковедческие проблемы семасиологии, лексикологии, морфологии и синтаксиса.

Находясь на пересечении трех наук — лингвистики, философии и психологии, эта проблема должна решаться совместными усилиями этих наук, что фактически и имеет место. Однако в такого рода многоаспектных исследованиях наблюдаются известные недостатки. Как правило, исследование проводится все же преимущественно в каком-нибудь одном аспекте в зависимости от специальности исследователя. Это до известной степени неизбежно, так как трудно быть одинаково квалифицированным лингвистом, философом и психологом. Другой характерной чертой подобных исследований является то, что они осуществляются во многом умозрительным порядком и как своеобразная логическая задача, в которой выводы иногда предшествуют наблюдению над фактами. Между тем современная наука, в частности психология, накопила огромное количество экспериментальных материалов и фактов, не считаться с которыми в данном случае было бы неправильно. И, наконец, рассмотрение этой пробле<290>мы носит нередко весьма ограниченный, узкий характер. Хотя многосторонность ее совершенно очевидна и исследование фактически и проходит по разным направлениям, эти направления не смыкаются друг с другом, а существуют независимо друг от друга, составляя несколько автономных проблем.

Собственно проблема взаимоотношения языка и мышления (в советской научной литературе — проблема единства языка и мышления) обычно рассматривается только с точки зрения тех функций, которые язык выполняет в процессах мышления. Главным вопросом здесь является: возможно ли внеязыковое мышление, и если

нет, то какую роль при этом играет язык. Но это только одна сторона проблемы, один ее аспект, одно направление ее исследования. Противоположное направление должно определить, какое влияние мышление и его категории могут оказывать на язык и его структуру. Сюда, следовательно, относятся такие более частные проблемы, как отношения понятия и лексического значения, логики и грамматики, суждения и предложения. В соответствии с установившейся традицией эти проблемы разносятся по отдельным лингвистическим дисциплинам и включаются в семасиологию, морфологию, синтаксис. Между тем это составные части одной общей проблемы взаимоотношения языка и мышления; если эти более частные проблемы находятся в определенной зависимости от методологического вопроса о роли языка в процессах мышления, то и конкретные исследования в области названных частных проблем, их истолкование не может быть безразличным для решения первого, методологического вопроса. Иными словами, данная общая проблема складывается из ряда частных, но конкретных, а не спекулятивных.

Совершенно очевидно, что в пределах одной небольшой главы нет никакой возможности рассмотреть проблему взаимоотношения языка и мышления во всей совокупности ее аспектов и частных задач. Такая попытка привела бы или к ее упрощению, а тем самым и неизбежному искажению, или же к догматически бездоказательному формулированию ряда положений, которые надо принимать на веру. В нижеследующем изложении будут затронуты только некоторые и, как кажется, наиболее актуальные аспекты данной общей проблемы.<291>

Взаимоотношение Языка и мышления

Первый общий вопрос, который необходимо разрешить, прежде чем перейти к рассмотрению отдельных аспектов широкой проблемы языка и мышления, заключается в выяснении характера взаимоотношений этих двух важнейших категорий. Нужно ясно представлять себе, что скрывается за теми общими формулами, с помощью которых определяется это взаимоотношение, так как недостаточная конкретизация таких формул может породить весьма существенные методологические недоразумения.

Один из авторов сборника «Мышление и язык» (В. З. Панфилов) указывает на непоследовательность в трактовке вопроса о связи языка и мышления (а также и вопроса о формах мышления у глухонемых), которая допускалась в последнее время в советской лингвистической литературе ^[375] 1. Суть здесь заключается в следующем.

Восходящее к Марксу и Энгельсу положение о единстве языка и мышления является одним из самых существенных методологических принципов марксистского языкознания. Маркс называл язык «непосредственной действительностью мысли», «практическим, существующим и для других людей и лишь тем самым существующим и для меня самого действительным сознанием». В этих высказываниях и во всех других, где Маркс и Энгельс говорят о связи мышления с языком, всегда говорится о языке в целом, а не об отдельных его компонентах, способных вступать в связь с мышлением и выполнять в его процессах определенную роль. Между тем возможна другая точка зрения (она была введена Сталиным в советское языкознание), которая как бы вносит уточнение в методологическое положение марксистского языкознания о связи мышления с языком. В соответствии с этой точкой зрения мышление всегда протекает на базе языковых терминов или («звуковых») слов и выражений. Если соотнести такую трактовку с вопросом о формах мышления у глухонемых, то это значит, что либо они не способны к мышлению (так как не способны опереться на «звуковые» слова и выражения), либо их мышление, опираясь на язык, использует какие-то иные его элементы или формы, благодаря чему мышление глухонемых функционирует без опоры на «звуковые» слова и выражения.

Все данные, какими мы располагаем, говорят против вышеприведенного уточнения, которое фактически отождествляет язык со словами. Они безоговорочно заставляют нас принять второе из указанных возможных решений вопроса о формах мышления у глухонемых. Глухонемые, конечно, мыслят, хотя их мысль и не облекается в вербальные формы, свойственные людям, использующим звуковой язык. Это значит, что связь языка с мышлением не обязательно осуществляется через посредство «звуковых» слов. Решение этого частного вопроса позволяет сделать выводы и о более широкой проблеме связи языка и мышления.

Прежде всего следует отметить, что психология различает три типа мышления: образное, техническое и понятийное. Как показывает само название, образное мышление — это мышление образами и наибольшей силы проявления достигает у людей художественно-творческого труда: живописцев, скульпторов, писателей и пр. Этот тип мышления осуществляется во внеязыковых формах. Точно так же механик, исследующий испорченный мотор, сделав ряд проб и выяснив причины порчи и тем самым составив определенное суждение о том, что надо сделать, чтобы исправить мотор, осуществляет подобного рода мыслительный процесс также во внеязыковых формах. В этом втором случае имеет место технический тип мышления. И только понятийный тип мышления, оперирующий понятиями, которые образуются посредством процессов обобщения (этим в первую очередь понятийное мышление отличается от образного и технического), протекает в языковых формах.

И образное и техническое мышление, видимо, наличествует также и у высших животных (обезьян, собак, кошек и пр.), но понятийное — только у человека. Поэтому, как кажется, можно было бы не упоминать о двух первых (и внеязыковых) типах мышления и принимать во внимание только понятийное мышление. В целях отграничения от всех побочных вопросов, которые могут возникнуть при детальном рассмотрении интересующей нас проблемы взаимоотношения языка и мышления, дальнейшее изложение пойдет по этому пути. Однако все же не следует упускать из виду, что в умственной деятельности человека все три типа мышления тесно переплетаются, что они в определенных случаях (как у глухонемых) способны оказывать взаимную помощь и что, наконец, во многом еще диффузные формы

образного и технического мышления высших животных никак нельзя сопоставлять с этими же типами мышления у человека, у которого они дисциплинированы понятийным мышлением и обладают целеустремленным характером.

При понятийном мышлении, в свою очередь, надо различать связи его с языком и со словами. В том, что это не тождественные явления, убеждает нас уже выше разобранный пример с языком и мышлением у глухонемых. Их мышление опирается на те формы языка, которые им доступны, и протекает не в вербальных (словесных) формах. Но вместе с тем не следует полагать, что язык глухонемых представляет совершенно независимое образование, что каждый глухонемой создает свой собственный язык. Как свидетельствуют о том объективные наблюдения, язык глухонемых есть производное от языка неглухонемых, в среде которых они живут. Это есть неизбежное следствие того, что глухонемые находятся в постоянном общении с людьми, говорящими на звуковом языке, и, следовательно, неизбежно должны ориентироваться на те особенности конкретного языка, который находится в пользовании у данного общества. Язык — это не только «звуковые» слова, но и определенные структурные отношения между его элементами, определенные формы, определенные схемы построения речи, определенные типы членения мира понятий. И все эти части языка способны воспринимать глухонемые и действительно воспринимают и строят на них свои формы языка, не имеющего «звукового» характера.

Чтобы было ясно, о чем в данном случае идет речь, обратимся к примеру. В предложении на любом индоевропейском языке «крестьянин режет курицу» фактически многое остается недоговоренным, хотя мы и не замечаем этого, так как сжились с особенностями своих родных языков. Услышав это предложение, мы не знаем: режет ли крестьянин (невидимый нам, но стоящий за дверью, неподалеку от меня, причем ты сидишь вон там, от меня далеко) курицу (принадлежащую тебе) или же режет крестьянин (живущий по соседству с тобой и сейчас стоящий вон там, мы его видим) курицу (принадлежащую²⁹⁴ ему). А в языке индейцев куакакьютл имеются специальные «указывающие» элементы, которые сообщают всю эту дополнительную информацию, отсутствующую в наших языках ^[376] 2. Поэтому глухонемой, живущий среди этого

племени индейцев и общающийся со своими соплеменниками тем или иным способом, точно так же как и мысленно, для себя, должен отмечать все эти дополнительные и необязательные с точки зрения строя наших языков моменты, иначе предложение будет неоконченным и непонятным. По данным Л. Леви-Брюля ^[377] 3 во многих австралийских языках имеется не два числа, а четыре — единственное, двойственное, тройственное (которое еще подразделяется на включительное и исключительное) и множественное. Глухонемые, «говорящие» на этих языках, должны дифференцировать то или иное действие по этим четырем лицам. В языке эве (Африка) нет глагола для передачи процесса хождения вообще. Глагол *зо* употребляется только с добавочными характеристиками (свыше 30), которые передают различные виды процесса хождения — быстро, нерешительно, волоча ноги, маленькими шажками, припрыгивая, важно и т. д. ^[378] 4. Поэтому и глухонемые, связанные с этим языком, не способны передать процесс хождения вообще, но только совершенно конкретный вид этого процесса (в пределах существующих в языке эве глаголов хождения). Иными словами, если только не считать небольшого количества универсальных «изобразительных» жестов, с помощью которых можно «договориться» только о самых элементарных вещах (и то не всегда, так как многие жесты имеют условное значение ^[379] 5, язык глухонемых, живущих полноценной духовной жизнью, хотя и не носит вербальные формы, во многом всегда опирается на строй звукового языка ^[380] 6.<295>

Чрезвычайно интересные данные о различии вербальных и языковых форм мышления дают исследования о внутренней речи замечательного русского психолога — Л. С. Выготского. Свои исследования о внутренней речи, т. е. о языковых формах мышления, «речи для себя, а не для других», Выготский основывает на большом экспериментальном материале и с широким использованием существующей литературы вопроса, что делает его выводы особенно убедительными. К достоинствам его работы относится также очень бережное и осторожное обращение с достигнутыми фактами, показывающее, что он принял близко к сердцу слова Л. Толстого о том, что «отношение слова к мысли и образование новых понятий есть... сложный, таинственный и нежный процесс души».

Исходя из предпосылки, что «мысль не выражается в слове, но совершается в слове», Выготский в результате своих наблюдений приходит к выводу, что «внутренняя речь есть в точном смысле речь почти без слов» [\[381\]](#) 7. Этот вывод обуславливается функциями и формами внутренней речи. «Внутренняя речь, — пишет он, — оказывается динамическим, неустойчивым, текучим моментом, мелькающим между более оформленными и стойкими крайними полюсами изучаемого нами речевого мышления: между словом и мыслью. Поэтому истинное ее значение и место могут быть выяснены только тогда, когда мы сделаем еще один шаг по направлению внутрь в нашем анализе и сумеем составить себе хотя бы самое общее представление о следующем и твердом плане речевого мышления.

Этот новый план речевого мышления есть сама мысль. Первой задачей нашего анализа является выделение этого плана, вычленение его из того единства, в котором он всегда встречается. Мы уже говорили, что всякая мысль стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношение между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, работу, решает какую-то задачу. Это течение и движение мысли не совпадает прямо и непосредственно с развертыванием речи (т. е. разделением ее по отдельным словам, как выше пишет Выготский. — <296> В. 3.). Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом сложными переходами, сложными превращениями, но не покрывают друг друга, как наложенные друг на друга прямые линии» [\[382\]](#) 8.

Усеченный, редуцированный, предикативный и фактически внесловесный характер внутренней речи отнюдь не означает, что мышление осуществляется во внеязыковых формах. Язык создает базу для мышления в формах внутренней речи другими своими сторонами, теми же самыми, которые мы встречаем в мышлении глухонемых: структурными отношениями и типами членения своих элементов, формами, схемами построения речи. Все эти стороны языка несомненно накладывают свой отпечаток и на формы внутренней речи человека, говорящего на определенном языке. Это значит, что внутренняя речь не обладает универсальным характером,

независимым от структурных особенностей определенных языков, но, наоборот, находится в прямой зависимости от этих последних.

Вместе с тем изложенная выше постановка вопроса отнюдь не лишает слова всех тех необходимых, чрезвычайно важных и по существу обязательных для звукового языка функций, которые оно выполняет. Вне слова нет звукового языка, внесшего свою важную лепту в создание человеческого общества, сопровождавшего человечество на протяжении всего его пути, давшего ему в руки мощное орудие своего прогресса. Вне слова не имеет реального существования и мысль. К этим конечным выводам приходит и Выготский после своего тонкого и тщательного анализа форм отношения языка и мышления. «Слово, лишенное мысли, — заключает он, — есть прежде всего, мертвое слово... Но и мысль, не воплотившаяся в слове, остается стигийской тенью, «туманом, звоном и зияньем», как говорит... поэт. Гегель рассматривал слово как бытие, оживленное мыслью. Это бытие абсолютно необходимо для наших мыслей» [\[383\]](#) 9.

Слово — хранилище сокровищ человеческой культуры. Прав и другой поэт, когда говорит: <297>

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
(И. А. Бунин)

Закljučая рассмотрение этого вопроса, мы, таким образом, имеем основание прийти к выводу, что отношение языка к мышлению может принимать различные формы и что понятийное мышление обязательно протекает в языковых формах, но не обязательно в словесных. Тем самым устанавливается абсолютная правильность общего положения Маркса и Энгельса о единстве (но не тождестве) языка и мышления. Более детальные и основанные на экспериментальных данных исследования этого вопроса, вскрывая большую сложность этих отношений, уточняя и конкретизируя их, не только не противоречат

данному положению, но полностью подтверждают его. С другой стороны, отождествление языка со «звуковыми» словами приводит к неоправданному упрощению всей проблемы и не способствует ее более глубокому познанию.

Вместе с тем рассмотренная проблема наглядно показывает, как более углубленное и детальное изучение специальных проблем способствует уточнению методологических положений.

Роль языка в процессах познания

Задумываясь над природой языка, человек первоначально вскрывал в нем категории мышления, т. е. устанавливал влияние мышления на язык. Об этом свидетельствует философский подход к явлениям языка, который был столь характерен для древней Греции и который античность завещала всему европейскому средневековью. Однако уже в XVIII в. в работах Джемса Монбоддо и Иог. Готфрида Гердера возникает более разностороннее рассмотрение этой проблемы. Но совершенно исключительное внимание уделяет ей один из крупнейших языковедов — В. Гумбольдт. Его глубокое истолкование этой проблемы оказало мощное влияние на все последующие поколения лингвистов, в той или иной мере занимавшихся ею, и остается до настоящего времени на вооружении у некоторых направлений в языкознании.

«Язык, — писал он еще в начале XIX в., — есть орган, образующий мысль. Умственная деятельность — совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая бесследно — посредством звука речи материализуется и становится доступной для чувственного восприятия. Деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство» [\[384\]](#) 10.

В работах В. Гумбольдта можно обнаружить еще много и других замечательно тонких наблюдений и суждений («...в слове всегда наличествует двоякое единство — звука и понятия»; «звуковая форма есть выражение, которое язык создает для мышления» и др.). Подобного же рода высказывания встречаются и у других крупных языковедов — А. Шлейхера, Г. Штейнталя, И. А. Бодуэна де Куртене и проч.

Но, делая правильные наблюдения, В. Гумбольдт связывает их с другими своими суждениями, подсказанными его идеалистической философией, в результате чего искажению подвергаются и сами наблюдения, сделанные В. Гумбольдтом благодаря глубокому проникновению в действительную сущность языка.

В. Гумбольдт среди прочих делает и следующее замечание: «...весь язык в целом находится между человеком и воздействующей на него внутренним и внешним образом природой. Человек окружает себя

миром звуков, чтобы воспринять и усвоить мир предметов. Это положение ни в коем случае не выходит за пределы очевидной истины. Так как восприятие и деятельность человека зависят от его представлений, то его отношение к предметам целиком обусловлено языком. Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, он отдает себя в его власть; каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из^{<299>} пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг» [\[385\]](#)
11.

Эта констатация представляет собой своеобразный перекресток дорог, которые ведут в разные стороны. Действительно, поскольку язык является орудием мысли и вне языка понятийное мышление невозможно, познавательная деятельность человека, направленная на объективную действительность, всегда осуществляется с помощью языка. Таким образом, человек всегда замкнут в определенном кругу — в кругу того языка, на котором он мыслит и с помощью которого он общается. Но таких кругов существует много — каждый из языков представляет такой круг. Кроме того, эти круги не остаются неподвижными и границы их постоянно меняются — так учит нас опыт исторического изучения языков.

Чем же следует объяснить наличие разных языков (разных замыкающих человеческое мировоззрение кругов) и каковы причины и закономерности их изменения?

Одно объяснение исходит из того, что язык, включаясь составным элементом в единую цепь отношений человеческого сознания и объективной действительности, является производным и от сознания (и его деятельности, т. е. мышления) и от объективной действительности. Он отражает и состояние сознания, и направления его деятельности, и условия, в которых осуществляется эта деятельность (совокупность всех форм объективной действительности). Так как все эти факторы являются отнюдь не стабильными, а меняются во времени и в пространстве, то их различие в конечном счете (только в конечном счете, так как тут наличествует очень сложный клубок опосредствований) обуславливает и различие языков и их изменение. Это материалистический путь исследования данной проблемы.

Другое объяснение предлагает В. Гумбольдт. «Язык, — пишет он, — есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык — трудно себе представить что-либо более тождественное. Каким образом они сливаются в единый и недоступный нашему пониманию источник, остается для нас необъяснимым. Не пытаясь определить приоритет того или другого, мы должны видеть в духовной силе на³⁰⁰ рода реальный определяющий принцип и действительное основание различия языков, так как только духовная сила народа является жизненным и самостоятельным явлением, а язык зависит от нее» [386] 12. Определив дух народа в качестве причины различия языков, В. Гумбольдт с духом связывает и развитие языка. Язык, — утверждает он, — есть душа во всей ее совокупности. Он развивается по законам духа [387] 13.

Таким образом, в понимании В. Гумбольдта, язык находится в промежуточном положении между человеком и внешним миром и развивается не в процессе человеческой познавательной деятельности, направленной на объективную действительность, а по законам развития духа. Это идеалистический путь исследования проблемы языка и мышления.

Таковы различные пути объяснения непреложного факта, устанавливающего единство языка и мышления. Эти пути ведут к разным философским концепциям, определяющим методологическое истолкование основных категорий языка. Их знание понадобится нам для правильного понимания также и других различий, которые существуют в истолковании ряда проблем, находящихся в центре внимания современного языкознания. Эти проблемы также фактически представляют разные аспекты общей проблемы, составляющей предмет рассмотрения настоящей главы, и поэтому их решение помогает установить правильный взгляд на ту роль, какую язык играет в процессах познания.

История языкознания складывалась таким образом, что после постановки широких проблем философии языка, по времени связанных со становлением сравнительно-исторического языкознания, наступил довольно длительный период «мелкомасштабного», «позитивистского» подхода к изучению языка, наиболее отчетливо проявившегося в научной деятельности младограмматической школы. Конец XIX и начало XX в. характеризуются возникновением новых

направлений в науке о языке, возглавляемых Г. Шухардтом, К. Фосслером, неолингвистами. Все эти направления занимают критическую по отношению к младограмматикам позицию и в большей^{<301>} или меньшей степени пользуются идеями В. Гумбольдта. Именно в этих направлениях постепенно вырабатывается и та концепция, которая ныне резко противостоит также и новейшим математическим и логическим методам изучения языка. Сущность этой концепции неокантианец Э. Кассирер излагает в следующих словах: «Язык — не механизм и не организм, не живая и не мертвая вещь. Это вообще не вещь, если под этим термином понимать физический объект. Это — язык, очень специфическая человеческая деятельность, которую нельзя описать в терминах физики, химии или биологии. Наилучшее и самое лаконичное выражение этого факта было дано В. Гумбольдтом, когда он заявил, что язык не *ergon*, *aenergeia*» ^[388] 14.

Одновременно рождается живой интерес к проблеме отношения языка и культуры. В США возникновение этой проблемы было тесно связано с изучением языков и культуры американских индейцев. И язык и культура и поныне нередко рассматриваются американскими учеными как компоненты широкой по своим границам науки — антропологии, изучающей разные формы проявления культуры того или иного народа. Своеобразие культуры и языков американских индейцев много содействовало возникновению гипотезы о взаимосвязанности этих явлений и возможного глубокого влияния языка на становление мировоззренческих категорий. Так возникла так называемая гипотеза Сепира — Уорфа.

Иные обстоятельства способствовали возникновению подобных же тенденций лингвистического исследования в Европе, в частности в Германии. Здесь они, несомненно, были связаны со всяческим подчеркиванием национальных черт немецкой культуры. Здесь эта проблема получила несколько видоизмененный характер и может быть сформулирована не как «язык и культура», а как «язык и народ». Наиболее ярким представителем этого последнего направления является Лео Вайсгербер. Он более непосредственно, чем аналогичное американское направление, примыкает к Гумбольдту и в своей лингвистической системе реализует новейшие теории европейской науки о языке, в особенности теорию знаковой^{<302>} природы языка

Ф. де Соссюра и теорию семантических полей Йоста Трира. Его можно даже назвать структуралистом, но его структурализм восходит не к тем многочисленным разветвлениям этого модного лингвистического направления, которые возникли под влиянием работ Ф. де Соссюра в Европе и Ф. Боаса и Л. Блумфильда в Америке, а к В. Гумбольдту, который задолго до Ф. де Соссюра и Бодуэна де Куртене указывал, что «структурность является наиболее общей и глубокой характерной чертой всех языков» [\[389\]](#) 15.

Но как бы ни различались в деталях теории Сепира — Уорфа и Л. Вайсгербера, они обладают общей теоретической основой и характеризуются стремлением применить идеи В. Гумбольдта к решению этнолингвистических проблем. Поэтому их можно поместить в ряду с лингвистическими школами, возглавляемыми Г. Шухардтом, К. Фосслером и неолингвистами, в качестве отдельного направления — неогумбольдтианской этнолингвистики. Работы этого направления представляют интерес в силу того обстоятельства, что в центре их внимания стоит проблема роли языка в процессах познания и решается она «не только умозрительным путем, но и на основе обширного лингвистического материала.

Прежде чем подвергнуть критическому рассмотрению методологические основы концепции данного направления, необходимо сначала хотя бы в общих чертах ознакомиться с аргументацией его представителей и трактовкой ими обильно привлекаемого языкового материала.

Обратимся сначала к рассмотрению многочисленных работ Лео Вайсгербера [\[390\]](#) 16. Он многократно подчеркивает социальную природу языка и его творческий, активный характер. Язык он называет «социальной формой познания», усматривая его творческий характер в том, ^{<303>} что с помощью языка осуществляется «мыслительное преобразование мира»; он неоднократно приводит слова В. Гумбольдта, что «язык есть средство преобразования мира в собственность духа». Язык, в представлении Вайсгербера, обуславливает создание у человека определенных понятий, само понимание объективной реальности. Он представляет собой посредствующее звено, особый мир, находящийся между субъектом и объектом, между человеком и внешним миром. Таким образом, словарный состав, грамматика и синтаксис каждого конкретного языка

не просто отображение культуры говорящих на данном языке. Их следует рассматривать как явления культуры лишь постольку, поскольку они способны раскрывать ее понятия, ценности и традиции. «Исходя из положения, — пишет Вайсгербер, — что язык не является «эргоном», законченным и пребывающим в покое образованием, но представляет собой «энергию», находящуюся в постоянной деятельности силу, языковед устанавливает первейшую и существеннейшую функцию языка: язык является постольку силой духовного образования, поскольку он из предпосылок реального мира и человеческого духа образует мыслительный промежуточный мир, в духовной «действительности» которого отражается сознательное человеческое действие. Здесь мы имеем дело с тем «преобразованием» реального мира «в собственность духа», в котором со времен Гумбольдта видят единственное основание для существования языка и результаты которого получают выражение в мировоззрении конкретного языка. Проникновение в мировоззрение языка есть предпосылка плодотворной работы для всех видов языкового исследования. Исходя из этого принципа, можно установить и дальнейшие задачи динамического исследования языка: рассмотрение его как культуuroобразующей силы, поскольку именно язык представляет обязательное условие человеческого культурного творчества и принимает участие в формировании его результатов. Этот же принцип обуславливает понимание языка как историкообразующей силы, поскольку он... охватывает собою и духовно стимулирует постоянный носитель исторической жизни — народ» ^[391] 17. <304>

Методика изучения языка (в частности, его лексического состава) с целью определения культурного его содержания или «мировоззрения» покоится на понятии семантического поля, введенного в языкознание Й. Триром ^[392] 18, и на законе членимости или структурного характера языка. Трир пишет по этому поводу: «Каждый язык представляет систему отбора, стоящую над объективной реальностью и противопоставляемую ей. Фактически язык создает самостоятельный и законченный образ действительности. Каждый язык членит реальность по-своему и таким образом устанавливает элементы реальности, которые свойственны только данному языку. Элементы реальности, фиксированные в одном языке, никогда не повторяются в той же самой форме в другом, точно так же они не являются простым

и механическим отображением реальности. Они представляют собой лингвистико-концепциальную реализацию картины действительности, создаваемую на основе неоднородной, но определенным образом членящейся модели, которая беспрерывно сопоставляет и противопоставляет, соотносит и различает данные действительности. Отсюда следует, что ничто в языке не существует независимо. Поскольку членимость составляет существеннейшую черту языка, все лингвистические элементы являются результатом этой членимости. Конечное значение каждого элемента четко определяется только его отношением ко всей лингвистической системе и его функциями в ней» [393] 19.

Для иллюстрации своего понимания мирообразующей и познавательной роли языка, создающего «духовный промежуточный мир», Л. Вайсгербер приводит такую аналогию.

Во все времена и во всех географических пунктах земного шара перед взором человека неизменно стояла картина звездного неба. Его независимость от существования человека очевидна. Его масштабы таковы, что непосредственное и полное его познание человеком невозможно. Вместе с тем его познание практически необходимо для человека. Результаты и этапы этого позна<305>ния фиксированы в тех категориях звезд, которые находят соответствующее обозначение в языке. Самые большие звезды получили отдельные имена: Юпитер, Сириус, Венера, Полярная звезда и пр. В зависимости от времени своего появления, они делятся на утренние и вечерние звезды. Их большая или меньшая подвижность находит отражение в делении на блуждающие и неподвижные (фиксированные) звезды. Отдельные группы звезд, позволяющие легко ориентироваться в звездном небе и представляющие, таким образом, своеобразное практически важное подразделение всей картины звездного неба на отдельные участки, были выделены человеком в так называемые созвездия: Большая и Малая Медведица, Телец, Скорпион, Близнецы, Волопас и пр. (немецкое обозначение созвездий — Sternbilder — букв. «звездные картины» лучше передает принцип их образования).

Факторы, обуславливающие образование созвездий, можно, очевидно, свести к следующим. Человек, во-первых, познает их посредством органов зрения (он способен их видеть) и, во-вторых, он видит их под тем углом зрения, который обеспечивает человеку его

пребывание на земле (а, скажем, не на Марсе). В действительности звезды, объединяемые в созвездия, обычно не имеют между собой ничего общего: они отстоят друг от друга на много сотен световых лет и даже имеют различные орбиты движения. Но то обстоятельство, как их видит человек, позволяет ему группировать звезды в вышеназванные созвездия. Следовательно, между действительным бытием звездного неба и осознанием их бытия человеком включается предпосылка, которую можно назвать «земным видением».

Но это «земное видение» не является однозначным и видоизменяется в зависимости от времени и у различных народов. Наибольшее распространение имеют 48 созвездий, названных по образам греческой мифологии и доставшихся нам в наследство от Гиппарха и Птолемея. Но у древних германцев картина звездного неба рисовалась по-иному, и они выделяли другие «звездные картины»: Волчью Пасть, Битву азов, Рыбака и пр. А то, что мы знаем о созвездиях у китайцев, свидетельствует, что существующие у них с III в. н. э. 283 созвездия имеют совсем непривычный для нас вид.<306> Разумеется, подобные различия нельзя сводить только к тому, что древние греки, германцы и китайцы жили в разных местах земного шара и видели небо под различным углом зрения. Л. Вайсгербер указывает, что в данном случае в большей мере следует считаться с различиями человеческого мышления, которое стремится известным образом осмыслить увиденное, за непосредственно видимым усмотреть еще что-то. По его словам, мышление в данном случае приобретает ведущую роль, упорядочивает восприятие звездного неба таким образом, что на первый план выступает именно духовное преобразование этого явления. При этом своеобразие человеческого духа, меняющегося от народа к народу, приобретает увеличивающееся влияние и приводит к результатам, которые не в очень уж значительной мере зависят от действительного строения звездного мира.

Описанным образом и создается «мыслительный промежуточный мир». Роль языка, однако, не сводится к тому, что он дает наименование отдельным элементам этого «мыслительного промежуточного мира». Вайсгербер полагает, что сам язык является тем средством, с помощью которого осуществляется образование «мыслительного промежуточного» мира, тот путь, идя которым мир

реального бытия перерабатывается в мир осмысленного человеком бытия (как показывает разобранный выше пример с формированием созвездий, для Вайсгербера реальное бытие и его отражение в человеческом сознании совершенно несовпадающие величины). В этой своей функции язык обладает универсальным характером, так что в обход языка человеческому сознанию недоступно ни одно явление внешнего мира. В этой функции и заключается творческое качество языка. И именно потому, что язык выполняет эту функцию, т. е. определенным образом преобразует явления реального бытия в категории сознания, он и является третьим, особым и самостоятельным фактором в том действии, где основными персонажами являются, с одной стороны, человек в его познавательной деятельности, а с другой — объект, на который направлена эта деятельность, т. е. объективная действительность. В этой деятельности он играет активную посредническую роль, является своеобразным цензором и апробирует все, что становится достоянием сознания. Он — промежуточный мир, который³⁰⁷ стоит вне власти объективных закономерностей и подчиняется в конечном счете только законам духа. Именно поэтому, используя предпосылки Л. Вайсгербера, можно говорить, что существует столько миров и столько мировоззрений, сколько языков.

Но все изложенное — только философские предпосылки, теоретическая гипотеза, исходя из которых и в обоснование которой Вайсгербер обращается к исследованию языкового материала. Метод этого исследования заключается в том, что Вайсгербер стремится вскрыть и описать своеобразие «мировоззрения языка» (свои исследования он проводит преимущественно на материале немецкого языка) таким же образом, каким он поступал выше при истолковании различных систем созвездий. При этом он стремится учесть своеобразие и закономерности языковой структуры как таковой (закон языковой общности, закон обусловленного языком бытия, закон знака, закон поля и пр.). Разбор этих положений, уточняющих общую концепцию автора, был бы неуместен в данном разделе и увел бы изложение далеко в сторону, поэтому он здесь не делается,

Для примера Л. Вайсгербер берет немецкую лексику из области растительного мира. Он пишет: «Можно с легкостью собрать большое количество лексических средств, воссоздающих в немецком языке

картину растительного царства: Baum (дерево), Strauch (куст), Kraut (травы, злак, зелень), Unkraut (сорная трава), Gras (травы), Blume (цветок), Blüte (цветение), Frucht (плод, фрукт), Beere (ягода), Obst (фрукты, плоды), Gemüse (овощи), Eiche (дуб), Rose (роза) и т. д. Все эти слова обладают определенным значением. Но каковы «значения» этих слов? Не являются ли их значениями сами растения в их естественном бытии? Очевидно, что нет. Эти растения дают повод для создания перечисленных языковых единиц, но никто не скажет, имея перед глазами тот или иной цветок, что он является значением слова Blume. Область «значения» следует четко отграничивать от области «вещей»; она относится к духовному миру и тем самым к «мыслительному промежуточному миру», через посредство которого осуществляется человеческое познание. Возможно и другое толкование, которое сводится к тому, что в значениях названных слов отражаются структурные отношения,³⁰⁸ существующие в самом растительном царстве; по меньшей мере в качестве «идеи» они должны относиться к области этих явлений. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала рассмотреть два других: в какой мере фактически эти лежащие в природе самих вещей идеи составляют значения данных слов и насколько обосновано выражение этих идей в языковой форме.

Что из действительных структурных отношений, свойственных растительному царству, является определяющим для «значений» названных слов? Мы можем установить в этом отношении несколько градаций. Для одной части значений характерным примером может служить слово Unkraut (сорная трава). Посредством этого слова из растительного мира выделяется некоторая часть растений, которая никоим образом не соотносится со структурной морфологической классификацией растительного мира. На основе критериев, которые установлены в ботанике, невозможно выделить некоторую часть растений, известных нам как Unkraut (сорная трава).

Слово Unkraut, несомненно, возникло как результат человеческого суждения. Отнесение к этой категории осуществляется на основе непригодности, ненужности, второстепенности растений для человеческих потребностей. Следовательно, мы констатируем: Unkraut не существует в природе, а только в суждении человека. Растительное царство включает Hahnenfuß (лютик), Gansedistel (осот) и пр., но

никакой Unkraut (сорной травы) не знает. Только в человеческом мышлении лютик и осот выделены в Unkraut и только с человеческой точки зрения. Это положение применимо ко всем словам, в которых человеческая оценка является ведущим началом: Obst (фрукты, плоды), Gemyse (овощи), Getreide (злаки) — «значения» всех этих слов обосновываются не действительными отношениями внешнего мира, а человеческим суждением. Они находятся в одном ряду с созвездиями, в которых неизмеримо далеко отстоящие друг от друга объекты на основе «земного видения» объединены и связаны в мыслительные единства.

Если исключить эти зависящие от человеческой оценки образования, то, видимо, от остальных слов, обозначающих растительный мир, можно ожидать большей обусловленности сущностью самих вещей. Но это отнюдь не значит, что в них находит отражение внутренняя структура растительного царства. Возьмем, например, слова Beere, Blume. Не случайно, что в словарях (вроде словаря Г. Пауля) не даются определения их значений. Трудно ли это сделать или они разумеются сами по себе? Попробуем определить Beere (ягоды) как «род плодов с мясистой оболочкой, в которую включены семена»; в этом случае наряду с «подлинными» ягодами — Johannisbeeren (смородиной), Heidelbeeren (черникой), мы должны будем отнести сюда также и Orangen (апельсины), Gurken (огурцы) и даже Dpfel (яблоки) и Birnen (груши), которые обычно не считаются ягодами, в то время как, с другой стороны, самые обычные Beeren (ягоды), как Himbeeren (малина), Erdbeeren (земляника) оказываются вовсе и не Beeren, а Schein- und Sammelfruchte (мнимые или сборные плоды). Очевидно, «область значений» Beeren (ягод) также определяется «мыслительным промежуточным миром»; в форме, величине, строении этих плодов содержатся определенные предпосылки, но «ягодами» они становятся на основании человеческих суждений, которые ни в коем случае нельзя представлять в форме идей, стоящих за явлениями в готовом виде. И, конечно, нельзя эти образования принимать как «само собой разумеющиеся»; надо вскрывать принцип, на котором они основываются» [394] 20.

В том, как язык классифицирует предметы и явления внешнего мира, какие отношения устанавливает он между ними, как их оценивает со своей «человеческой точки зрения», Л. Вайсгербер и

усматривает «мировоззрение языка» и именно на вскрытие этих своеобразий каждого языка и направляет свое исследование, интересуясь в первую очередь «картиной мира» немецкого языка. Эта картина не является стабильной, но подвергается постоянным изменениям в процессе исторического развития языка. «Известно, — говорит по этому поводу Л. Вайсгербер, — что многие слова, относящиеся к животному царству, обладали в средневерхненемецком иными «значениями», нежели те, какими они обладают в современном немецком: средневерхненемецкое *tier* не является общим обозначением для всего животного мира, но озна<310>чает только «четвероногих диких зверей» (в противоположность *vihe* — «домашним животным»); средневерхненемецкое *Wurm* гораздо шире, чем современное *Wurm* (червь), так как включает не только *Schlangen* (змей) и *Drachen* (драконов), но и *Spinnen* (пауков) и *Raupen* (гусениц); средневерхненемецкое *vogel* (птица) охватывает также *Bienen* (пчел), *Schmetterlinge* (бабочек) и даже *Fliegen* (мух). Если сравнить все совокупности слов, то выявляется, что имеют место не отдельные «смещения значений», но что весь животный мир в средневерхненемецком строился совершенно иначе, чем в современном немецком языке. Мы не обнаруживаем общего обозначения в средневерхненемецком для животных вообще, только выделение отдельных их групп: с одной стороны, домашние животные — *vihe*, с другой — четыре подразделения диких животных, группирующихся по способу движения: *tier* (бегающее животное), *vogel* (летающее животное), *wurm* (ползающее животное), *visch* (плавающее животное). Это четко членимая картина, но она совершенно не совпадает ни с зоологическими классификациями, ни с состоянием ее в современном немецком языке. Так же как в отношении современного немецкого языка, мы можем сказать о средневерхненемецком, что и в нем речь идет об особой языковой картине мира» [\[395\]](#) 21.

Подобного рода различия, разумеется, отчетливее всего проявляются при сопоставлении разных и в особенности достаточно далеких друг от друга языков. Сам Вайсгербер проводит свои исследования по преимуществу в пределах немецкого языка (приемом сравнения языков широко пользуется Уорф), но различию языков он придает большое философское, лингвистическое, культурно-

историческое и даже эстетическое и правовое значение. Он указывает на односторонность, известную «субъективность» мировоззрения каждого языка в отдельности. «Если бы, — пишет он, — у человечества существовал только один язык, то его субъективность раз и навсегда установила бы путь познания объективной действительности. Эту опасность предупреждает множественность языков: множественность языков — это множественность путей реализации человеческого дара речи, она обеспечивает человечеству необходимое многообразие способов видеть мир. Таким образом, неизбежной односторонности одного единственного языка множественность языков противопоставляет обогащение посредством многообразности мировоззрений, что препятствует также и переоценке единичного способа познания как единственно возможного. Эту мысль наилучшим образом передает классическая формулировка Гумбольдта: «Взаимная зависимость мышления и слова ясно свидетельствуют о том, что язык есть не столько средство устанавливать уже известные истины, сколько в значительно большей степени открывать еще неизвестные. Различие языков заключается не в различиях звуковой оболочки и знаков, но в различии самих мировоззрений... Каждый человек может приблизиться к объективному миру не иначе, как в соответствии со своим способом познания и ощущения, т. е. субъективным путем». Каждый отдельный язык и есть такой субъективный путь собственной оценки» [396] 22.

Таковы в очень общих чертах взгляды Л. Вайсгербера на отношения, существующие между языком и мышлением. Схожими путями стремится исследовать эту проблему и Бенджамен Уорф, заимствовавший общую идею своей гипотезы у известного американского лингвиста Э. Сепира. В отличие от Вайсгербера американский ученый обращает основное внимание на различия грамматических структур языков, которые нагляднее всего вскрываются посредством сопоставления этих структур [397] 23.

Сепир также исходит из того общего тезиса, что язык есть не столько средство для передачи общественного опыта, сколько способ определения его для говорящих на данном языке. «Язык, — пишет он, — не просто более или менее систематизированный инвентарь различных элементов опыта, имеющих отношение к индивиду (как это часто наивно полагают), но также замкнутая в себе, творческая и

символическая система, которая не только соотносится с опытом, в значительной мере приобретенным помимо ее помощи, но фактически определяет для<312> нас опыт посредством своей формальной структуры и вследствие того, что мы бессознательно переносим свойственные ей особенности в область опыта. В этом отношении язык напоминает математическую систему, которая отражает опыт в действительном смысле этого слова только в самых своих элементарных началах, но с течением времени превращается в замкнутую систему понятий, дающую возможность предугадать все возможные элементы опыта в соответствии с определенными принятыми формальными правилами... [Значения] не столько раскрываются в опыте, сколько накладываются на него вследствие тиранической власти, которой лингвистическая форма подчиняет нашу ориентацию в мире» [\[398\]](#) 24.

Эти мысли своего учителя Уорф развивает следующим образом: «...лингвистическая система (другими словами, грамматика) каждого языка не просто передаточный инструмент для озвученных идей, но скорее сама творец идей, программа и руководство для интеллектуальной деятельности человеческих индивидов, для анализа их впечатлений, для синтеза их духовного инвентаря... Мы исследуем природу по тем направлениям, которые указываются нам нашим родным языком. Категория и формы, изолируемые нами из мира явлений, мы не берем как нечто очевидное у этих явлений; совершенно обратно — мир предстоит перед нами в калейдоскопическом потоке впечатлений, которые организуются нашим сознанием, и это совершается главным образом посредством лингвистической системы, запечатленной в нашем сознании» [\[399\]](#) 25.

Исследуя языки американских индейцев (в частности, язык хопи), Уорф из сопоставления их с английским или же с условным языком SAE (т. е. StandardAverageEuropean — «среднеевропейский стандарт»), объединяющим в себе особенности обычных европейских языков — английского, немецкого, французского, черпает примеры для иллюстрации своего принципа лингвистической относительности или положения о том, что «люди, использующие резко отличную грамматику, понуждаются своими грамматическими структурами к различным типам<313> наблюдений и к различной оценке внешне тождественных предметов наблюдения и поэтому в качестве

наблюдателей не могут быть признаны одинаковыми, так как обладают различными взглядами на мир» [400] 26. Как и Вайсгербер, он устанавливает существование «мыслительного мира», который определяет совершенно в духе Гумбольдта. «Этот «мыслительный мир», — пишет он, — есть микрокосм, который человек повсюду носит с собой и с помощью которого он измеряет и познает все, что только в состоянии, в макрокосме» [401] 27. На основе всех этих предпосылок Уорф и делает свой главный вывод о том, что «каждый язык обладает своей метафизикой». Этот вывод фактически повторяет утверждение Вайсгербера о наличии у каждого языка своего мировоззрения, запечатленной в структуре языка особой «картины мира».

Какие же языковые факты дают основание Уорфу делать подобные выводы о том, что язык определяет мышление? В качестве иллюстрации того, что он понимает под руководящей ролью языка в «нормах поведения» человека, Уорф приводит пример из своей практики инженера по противопожарным устройствам (что было его основной специальностью). Он рассказывает о том, что, как им было установлено, люди у складов с надписью «пустые бензиновые контейнеры» ведут себя гораздо беззаботней и допускают известные вольности в обращении с огнем, нежели у складов с надписью «бензиновые контейнеры», хотя первые из-за взрывчатых испарений более опасны в пожарном отношении, чем вторые. Это происходит потому, объясняет Уорф, что слово «пустой» предполагает отсутствие опасности и люди соответственно реагируют на заложенную в самом слове идею беззаботности, они подчиняются «тирании слова», если употреблять выражение Ст. Чейза [402] 28. Тем самым человек в своем мышлении и в поведении идет на поводу у языка.

Как уже указывалось, различие в «метафизике» языков лучше всего постигается путем сопоставления<314> языков и особенно их грамматической структуры, в элементах которой фиксируются основные категории лингвистической «метафизики». Именно из-за грамматических различий даже самые простые словосочетания иногда с большим трудом поддаются переводу с одного языка на другой. Так, английское *hishorse* (его лошадь) и *hishorses* (его лошади) чрезвычайно трудно перевести на язык навахо, так как он не только не имеет категории множественности для имен, но и не обладает различиями

между английскими притяжательными местоимениями his, her, its и their. Дело усложняется еще и тем, что язык навахо делает различия между третьим лицом, психологически близким говорящему, и третьим лицом, психологически далеким говорящему [403] 29.

Не безынтересно познакомиться и с манерой истолкования Уорфом различий грамматических структур языков с целью показа специфической для них «лингвистической метафизики». Так, анализируя состав общих категорий в языке SAE и в языке хопи, Уорф следующим образом устанавливает различия во временной системе их глаголов: «Трехвременная система глагола в SAE окрашивает все наше мышление относительно времени. Эта система сливается с более широкой схемой объективизации субъективного восприятия длительности, проявляющейся и в других элементах языка — в двучленной формуле, применимой к именам вообще, к именам с временным значением, к категории множественности и исчисляемости. Эта объективизация позволяет нам мысленно «выстроить времена в ряд». Представление о времени как об определенном ряде гармонирует с системой трех времен, в то время как двувременная система более раннего и более позднего времени, очевидно, больше соответствует чувству длительности, как она дается нам в опыте. В нашем сознании нет прошедшего, настоящего и будущего, а есть только единство, составляющее комплекс. Все — в сознании, но это все — в совместном виде. И чувственное и внечувственное. Чувственным мы можем назвать то, что мы видим, слышим, ощущаем — «настоящее», тогда как во внечувственном объединяется безграничный мир памяти, именующий «прошлым», и область веры, интуиции и неопределенности — «будущее». Но все — и чувственное, и память, и предположение — существует в сознании совместно — ничто в нем не делится на то, что «еще не наступило», или «было однажды, но не теперь». Реальное время наше сознание отражает как процесс становления «более поздним», изменяющим определенные отношения необратимым образом. В этом отнесении к «более позднему» или в установлении «длительности», как мне кажется, заключается постоянный контраст между самым недавним, позднейшим, находящимся в фокусе внимания, и остальным — «более ранним». Немало языков прекрасно обходятся двумя временными формами, соответствующими этому

постоянному отношению «более позднего» и «более раннего». Конечно, мы можем сконструировать и постигнуть сознанием систему из прошлого, настоящего и будущего в виде объективированного расположения точек на линии. На это и ориентирует нас общая тенденция к объективации, а наша система времен демонстрирует это.

Настоящее время (*presenttens*) в английском обнаруживает наименьшую гармонию с основным отношением времен. Его как бы заставляют выполнять различные и не связанные друг с другом функции. Одна функция превращает его в объективированное среднее звено, находящееся между объективированным прошлым и объективированным будущим — в повествовании, обсуждении, аргументации, логике, философии. Другая функция знаменует включение в чувственную область: *I see him* (я вижу его). Третья — используется для обычной или очевидной констатации: *We see with our eyes* (мы видим своими глазами). Эти различные употребления вносят хаос в мысль, чего, однако, мы обычно не осознаем.

В языке хопи в этом отношении все обстоит совершенно по-другому. Глаголы не имеют «времен», подобных нашим, но обладают формами констатации («утверждения»), аспектами, соединяющими предложения формами (наклонениями), которые вносят в речь большую точность. Формы констатации указывают, что говорящий (но не субъект) сообщает о ситуации (соответствует нашему прошедшему или настоящему), или ожидает ее наступления (соответствует нашему будущему), или же констатирует ситуацию (соответствует описанному выше «объективному» употреблению нашего настоящего времени). Аспекты указывают на различные степени длительности и различные виды тенденций «в течение этой длительности». Как мы видим, ничто не указывает на то, что одно событие происходило раньше, чем другое, когда речь идет о двух событиях. Но потребность в этом не возникает до тех пор, пока не употребляются два глагола, т. е. два предложения. В этом случае «наклонения» указывают на отношения между предложениями, включающие отношения более раннего к более позднему или же одновременности. Кроме того, существует множество отдельных слов, выражающих подобные же отношения и уточняющих наклонения и аспекты. Функции нашей трехвременной системы с ее трехчленным расположением на линии

объективированного «времени» распределены между различными глагольными категориями, отличными от наших времен. Язык хопи не располагает другими средствами для передачи объективированного времени, но это нисколько не мешает ему находить в своих формах способы выражения отношений, существующих в реальных ситуациях» [\[404\]](#) 30.

Из подобного рода лингвистических предпосылок (особых метафизических качеств языков) Уорф считает возможным делать выводы о нормах поведения и умственном складе носителей соответствующих языков. Так, формы и содержание западной цивилизации, по его мнению, обусловлены характером языков SAE. «Ньютоновские понятия пространства, времени и материи не есть данные интуиции, — утверждает он. — Они даны культурой и языком. Именно оттуда взял их Ньютон» [\[405\]](#) 31. И далее он детализирует эту мысль: «Наше объективизированное представление о времени соответствует историчности и всему, что связано с регистрацией фактов, в то время как представление хопи противоречит этому... Наше объективизированное время вызывает в представлении что-то вроде ленты или свитка, разделенного на равные отрезки, которые должны быть заполнены записями. Письменность несомненно способствовала нашей языковой трактовке времени, так же как последняя направляла использование письменности. Благодаря этому взаимобмену между языком и всей культурой мы получаем, например:

1. Записи, дневники, бухгалтерию, счетоводство, математику, стимулированную учетом.

2. Интерес к точной последовательности — датировку, календари, хронологию, часы, исчисление зарплаты по времени, время, как оно применяется в физике.

3. Летописи, хроники — историчность, интерес к прошлому, археологию, проникновение в прошлые периоды, как оно выражено в классицизме и романтизме.

Подобно тому, как мы представляем себе наше объективизированное время простирающимся в будущем так же, как оно простирается в прошлом, наше представление о будущем складывается на основании записей прошлого, и по этому образцу мы вырабатываем программы, расписания, бюджеты. Формальное

равенство якобы пространственных единиц, с помощью которых мы измеряем и воспринимаем время, ведет к тому, что мы рассматриваем «бесформенное явление» или «субстанцию» времени как нечто однородное и пропорциональное по отношению к какому-то числу единиц. Так, стоимость исчисляем пропорционально затраченному времени, что приводит к созданию целой экономической системы, основанной на стоимости, соотнесенной со временем: заработная плата (количество затраченного времени постоянно вытесняет количество вложенного труда), квартирная плата, кредит, проценты, издержки по амортизации и страховые премии. Конечно, эта некогда созданная обширная система продолжала бы существовать при любом лингвистическом понимании времени, но сам факт ее создания, обширность и та особая форма, которая ей присуща в западном мире, находится в полном соответствии с категориями языков SAE. Трудно сказать, возможна была бы или нет цивилизация, подобная нашей, с иным лингвистическим пониманием времени. Во всяком случае нашей цивилизации присущи определенные лингвистические категории и нормы поведения, складывающиеся на основании данного понимания времени, и они полностью соответствуют друг другу... Наш лингвистически детерминированный мысли³¹⁸ тельный мир не только соотносится с нашими культурными идеалами и установками, но захватывает даже наши собственно подсознательные действия в сферу своего влияния и придает им некоторые типические черты» [406]

32.

Таковым рисуется в изложении Уорфа то мощное влияние, которое оказывают на нормы человеческого поведения и мышления различные «метафизики» языков.

Для того чтобы дать правильную оценку этой теории, надо располагать недвусмысленными ответами на ряд вопросов.

Весьма важным является вопрос о происхождении подобного рода «метафизики» у языков. Каким образом они возникают и что способствует их возникновению? Наконец, в каком отношении «метафизика» языка находится с культурой народа, поскольку Уорф всю проблему рассматривает в контексте: язык и культура?

У самого Уорфа ответ на эти вопросы можно найти в следующих его словах: «Каким образом исторически создается переплетение языка, культуры и поведения человека? Что было первичным —

лингвистические модели или культурные нормы? В основном они возникают совместно, оказывая постоянное влияние друг на друга. Но в этом содружестве природа языка является фактором, который ограничивает его свободную гибкость и весьма властным образом устанавливает пути развития. Это происходит потому, что язык представляет систему, а не собрание норм. Крупные системообразующие единства могут развивать новые явления чрезвычайно медленно, в то время как другие культурные инновации возникают с относительной быстротой. Язык, таким образом, воплощает массовое сознание, он подвергается влиянию инноваций и усовершенствований, но поддается им в незначительной степени..»

[407] 33. И в другом месте: «Понятия «времени» и «субстанции» не даются в опыте людям абсолютно одинаковым образом, но зависят от природы языка или языков, с помощью которых развиваются эти понятия. Они зависят не столько от частной системы (например, времен или имени) в пределах данного грамматического строя, сколько от способов анализа и сообщения опыта, фиксированных в языке в виде особой «манеры речи» и выражающихся в форме типичных грамматических классификаций, так что такая «манера» может включать лексические, морфологические, синтаксические и другие в иных случаях несоотносимые средства, скоординированные в определенную структуру согласованных элементов» [408] 34. И, наконец, «между культурными нормами и лингвистическими моделями существуют связи, но не корреляции или прямые соответствия... Существуют случаи, где «манеры речи» находятся в отношениях тесного взаимопроникновения с общей культурой (хотя это положение и не обязательно носит универсальный характер), и при таком взаимопроникновении существуют связи между языковыми категориями, различными поведенческими реакциями и формами, которые принимает развитие различных культур... Эти связи вскрываются не посредством сосредоточения внимания на типичных данных лингвистических, этнографических или социологических описаний, а исследованием культуры и языка (в тех случаях, когда они совместно развивались исторически значительное время) как целого, в котором должна существовать взаимозависимость обеих этих областей; на открытие ее и должно быть направлено исследование»

[409] 35.

Таким образом, и в гипотезе Сепира-Уорфа, как и у Л. Вайсгербера, в конце концов возникает неизвестная иррациональная величина, которая обуславливает становление в языке определенной «метафизики», обеспечивающей ему ведущую роль по отношению к мышлению и нормам поведения, и которая устанавливает формы взаимопроникновения языка и культуры.

В. Гумбольдт с предельной определенностью называл эту иррациональную величину, обеспечивающую в конечном счете возникновение замыкающих человеческий разум магических «кругов» и создающую особые «мировоззрения» языков. Язык есть душа во всей ее совокупности, — писал он. — Он развивается по законам духа [410] 36.<320>

Следовательно, дух и есть искомая величина. В этом объяснении все ясно, и оно не требует детальных комментариев. Но прямолинейная наивность такого объяснения неприемлема для Вайсгербера и Уорфа так же, впрочем, как и тот путь, которым в изучении данной проблемы идет материалистическая наука. Вайсгерберу кажется, что сам языковой материал в данном случае толкает исследователя на какой-то третий, промежуточный путь. Он пишет в этой связи: «В антитезе идеализм — реализм (так Вайсгербер называет материалистическую трактовку проблемы. — В. З.) лингвистическое решение занимает обоснованное срединное положение: не наивное перетолкование мыслительного мира в смысле простого отражения совокупности явлений «объективного» характера, но также и не уход в область чистых идей, не имеющих никакого отношения к реальному миру» [\[411\]](#) 37. В другой его работе мы находим более развернутое обоснование этой промежуточной позиции: «Признавая объективный характер природы, мы должны учитывать и различия, существующие между «реальной» и «мыслимой» природой, и задача как раз и заключается в том, чтобы показать, как эта природа духовно постигается и преобразуется. И обратно: устанавливая, что духовные «реальности» могут принимать форму для сознательного человеческого мышления только тогда, когда они определяются в виде языковых полей, не следует думать, что эти духовные величины имеют только языковое существование» [\[412\]](#) 38. По мысли Л. Вайсгербера, лингвистическое решение этой проблемы потому предлагает средний путь между идеалистическим и материалистическим ее истолкованием, что языковое мировоззрение или языковая «картина мира» есть то место, где субъективно человеческое встречается с объективно существующим.

Но человеческое сознание и объективная действительность не противостоят друг другу как духовное начало со своими независимыми законами развития материальному миру, только и обладающему «объективной ценностью». Непонимание этого находит прямое отражение в трактовке Вайсгербером и Уорфом всех аспектов проблемы взаимоотношения языка и мышления и противоречит языковому материалу, собранному в их же работах.

Материал, который мы находим у Вайсгербера и Уорфа, прежде всего свидетельствует о том, что ни о каком третьем, промежуточном

(между идеалистическим и материалистическим) пути фактически не может быть и речи. Мы обнаруживаем у них явное смешение разных планов. Их исследования направлены не столько на вскрытие причин образования у языков особых «мировоззрений» или «метафизик» (в соответствии с которыми они якобы и преобразуют для человеческого сознания внешний мир), сколько на то, чтобы доказать существование их. Само же доказательство существования этих метафизических качеств языка строится у Вайсгербера на двух факторах: на том, что «картина мира», фиксированная в структуре языка, механически не повторяет структуры внешнего мира, а всегда отклоняется от нее («творчески преобразует»), и на том, что различные языки не обладают тождественными «картинами мира».

В поддержку этих взглядов Вайсгербера выступает Уорф. Он совершенно недвусмысленно говорит о том, что «понятия «времени» и «субстанции» даются в опыте людям не абсолютно одинаковым образом, а зависят от природы языка или языков, с помощью которых развиваются эти понятия», и что язык «весьма властным образом устанавливает пути развития» культуры.

Различие языковых структур — очевидный факт. Вайсгербер и Уорф приводят достаточно убедительные доводы для доказательства и того, что «картины мира» разных языков не одинаковы и фактически отклоняются от реальной картины мира объективной действительности. Но речь ведь не об этом.

Для доказательства неправомерности выводов Вайсгербера и Уорфа о преобразующей силе языка нет никакой надобности пытаться отрицать совершенно бесспорный факт, что разные языки представляют далеко не одинаковые «картины мира», но только это обстоятельство, несомненно, правильнее формулировать обратным порядком и говорить о том, что действительная и объективная картина мира запечатлена в языках неодинаковым образом. При этом сам факт различия языков указывает на то, что не языки образуют различные³²² «картины мира», а что неодинаковое отражение в языках картин объективного мира обуславливается теми главными действующими силами, посредническую деятельность в отношениях между которыми выполняет язык — человеческим сознанием в его познавательной деятельности и объективной действительностью, на которую направлена эта деятельность. Таким образом, язык

действительно является посредником, но не в том смысле, в котором употребляет это определение Вайсгербер; будучи посредником, язык не управляет развитием человеческого сознания, не указывает человеческому мышлению определенного пути его движения. Он ниоткуда не мог получить этого руководящего и направляющего качества. Но язык является посредником в том смысле, что без его участия невозможна сама познавательная деятельность, не может осуществиться процесс мышления. Ведь язык есть орудие мысли; однако быть орудием мысли не значит быть ее руководителем.

Язык, включаясь в единую цепь отношений, существующих между человеческим сознанием и объективной действительностью, является производным и от сознания и от объективной действительности. Язык отражает и состояние развития сознания, и направления его деятельности, и материальные условия общественной жизни, в которых осуществляется функционирование языка. Уорф и Вайсгербер выхватывают из указанной единой цепи отношений язык в его посредническом качестве и превращают это качество в ведущее и основное для всей деятельности языка. Таким образом происходит прямое искажение зависимостей, существующих между языком, сознанием и объективной действительностью.

Почему все же существует такое великое разнообразие языковых структур, что служит опорой всех построений Уорфа и Вайсгербера? Во-первых, потому, что не одинаковы физические и общественные условия познавательной деятельности человеческого сознания, результаты которой фиксирует в своей структуре язык. Если говорить об этом факторе очень грубо обобщенно, то это значит, что надо считаться с тем, что, например, народы Севера и Юга сталкиваются с различными природными явлениями и эти явления играют разную роль в их общественной жизни. Именно поэтому мы сталкиваемся в одном случае с чрезвычайно разветвленной и очень точно<323> дифференцированной номенклатурой разных состояний льда, снега, мороза и пр., а в другом — с не менее дробной и подробной номенклатурой действия солнечных лучей, красочных оттенков песка, зелени и т. д. В древнеанглийском языке мы обнаруживаем десятки синонимов с разными смысловыми оттенками для моря, корабля, битвы, героя. А в арабских диалектах нас поражает необыкновенное

богатство синонимии, связанной с пустыней, верблюдами, конями, водой.

Исследования П. Цинсли [\[413\]](#) 39 позволили установить замечательные различия швейцарско-немецкого диалекта и литературного немецкого языка в словах, относящихся к горному ландшафту. Швейцарско-немецкий диалект обнаруживает поразительное разнообразие слов для обозначения специфических аспектов гор, причем эти слова не имеют в большей части своей соответствий в литературном немецком языке. Цинсли сгруппировал всю собранную лексику по 9 разделам и достаточно убедительно показал, что речь идет не просто о синонимическом богатстве, а о совершенно определенном и специфическом понимании некоторых аспектов горного ландшафта. Работа Цинсли, таким образом, также свидетельствует в пользу того вывода, что различные группы людей познают неорганическую природу неодинаковым путем, что и находит свое отражение в разнообразных типах ее членения в лексических системах. Вне всякого сомнения, что если с этой точки зрения пересмотреть данные «географии слов» (Wortgeographie), то можно получить дополнительно огромный материал, наглядно показывающий зависимость образования подобных лексических систем и их структурного членения от того, какие явления находятся в центре внимания общественной жизни народов. При этом необходимо считаться с тем, что народы обычно живут не в изоляции, а в общении друг с другом, что приводит и к различным формам контактов языков и к их взаимному влиянию.<324>

Во-вторых, человеческое сознание не есть безошибочно действующий механизм с прямолинейной направленностью на адекватное познание объективной действительности. Нет, путь познания действительности очень извилист, сопряжен с ошибками, отклонениями в сторону, заблуждениями, которые не проходят для человечества бесследно, а обременяют его продвижение по этому пути своей тяжестью и нередко заставляют спотыкаться. И все эти ошибки и отклонения как отдельные этапы долгого пути человеческого познания отражает и фиксирует в своей системе язык, так что достижение нового этапа на этом пути часто происходит посредством преодоления старых заблуждений и недостаточно точных осмыслений, в том числе и тех, которые прочно вошли в структуру языка.

Мы располагаем по этому поводу очень точным замечанием В. И. Ленина: «Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепок (= понятия) с нее *не есть* простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, в сложный, раздвоенный, зигзагообразный, *включающий в себя* возможность отлета фантазии от жизни;...Ибо и в самом простом обобщении, в элементарнейшей общей идее («стол» вообще) *есть* известный кусочек фантазии» ^[414] 40. Подобное уклонение от зеркально-мертвого отражения явлений и отношений действительности, включение известной доли «фантазии» (субъективного начала, как сказал бы Вайсгербер) обнаруживается как в лексике, так и в грамматических категориях языков.

Данные, которыми мы располагаем об истории индоевропейских языков, позволяют сделать вывод о том, что временные категории в глагольной системе современных индоевропейских языков развивались из видовых категорий нередко путем переосмысления видовых форм во временные. Относительно новая родовая классификация имен в индоевропейских же языках накладывается на старую, засвидетельствованную основообразующими элементами. Принцип этой древней классификации не ясен, можно только предполагать, что он приблизительно аналогичен делению имен на классы<325> в языках банту, т. е. ориентируется на внешний вид предметов, обозначаемых именами, их общественное и ритуальное использование и значение. В некоторых индоевропейских языках, как например в английском, вообще исчезает классификация имен по родам. Исходя из точки зрения Уорфа все подобные процессы следовало бы истолковать как полное видоизменение «метафизики» языка. Изменяли ли при этом языки свою «метафизику», свое «мировоззрение» сами по себе, следуя неведомому указанию свыше, вмешательству некоей третьей силы — духу? У нас нет никаких данных для такого утверждения, а различие языковых структур само по себе, как показывает все изложенное, ничего в данном случае не доказывает. Но у нас есть основания полагать, что подобные процессы перестройки языка в определенной мере стимулируются человеческим сознанием, так как в конечном счете и в самых общих очертаниях путь развития языков укладывается в то направление, каким идет познавательная деятельность человеческого мышления, все глубже

проникающая в тайны и закономерности бытия, вырабатывающая все более точные и верные понятия о нем.

В-третьих, в том факте, что языковая «картина мира» не дает «зеркального» отражения действительной картины, немаловажную роль играет и отмеченная Уорфом особенность языка: «Язык представляет систему, а не собрание норм, — пишет он. — Крупные системообразующие единства могут развивать новые явления чрезвычайно медленно, в то время как другие культурные инновации возникают с относительной быстротой». В известной степени правомерной оказывается и аналогия развития языка с развитием математической системы, которую дает Э. Сепир. Возникновение математической системы обусловлено реальными отношениями, познаваемыми в опыте, но дальнейшее ее развитие приводит к созданию в ней отношений, основанных уже не на опыте, а на формальных законах самой системы. Характерная особенность языка заключается в том, что он фиксирует в элементах своей структуры результаты познавательной деятельности человеческого сознания. Невозможно говорить об изначальном периоде становления человеческих языков и о том, как они первоначально складывались в системы и как происходило закрепление в языковой форме этих результатов познавательной деятельности человеческого мышления. Но в доступной человеческому взору истории человечества языки всегда представляли определенную систему, в которой существуют определенные отношения между ее элементами.

Внутренние системные или структурные отношения, характерные для каждого языка в отдельности, обуславливают и свои особые пути, тенденции, направления их развития. Эти особенности, принимающие формы внутренних законов развития данного языка, вносят свои существенные коррективы в способы отражения в элементах системы языка результатов познавательной деятельности человеческого мышления, и с этим обстоятельством нельзя не считаться.

В. Гумбольдт многократно подчеркивает, что в языке находит отражение человеческий (субъективный) подход к объективной действительности, что якобы и превращает язык в своеобразный промежуточный мир. Из этой предпосылки выводится и другое заключение общетеоретического характера о том, что язык есть не независимая реальность, а производная величина. Это заключение

требует, однако, правильного истолкования. Как явление социальное, язык — производная величина: он существует постольку, поскольку существует человеческое общество. Но этим не ограничивается его обусловленность, и, кроме того, сама эта обусловленность носит относительный характер. Уже В. Гумбольдт в вышеприведенной формулировке указывает на две силы, в зависимости от которых находится язык как производная от них величина: человеческое сознание и объективная действительность. Но эти силы у него (так же как и у Вайсгербера и Уорфа) не равнозначны. Одна из них занимает ведущее положение, а другая — подчиненное. Ведущей силой является человеческое сознание, как выражение духовного начала; сознание поэтому и управляется законами духа. Поскольку же мышление и язык представляют неразрывное единство и вне языковых форм невозможно и само мышление, постольку на язык (хотя и производную величину) переходят качества, свойственные мышлению — его ведущая, руководящая роль и подчинение процессов его развития духовному началу. <327>

Фактически, однако, ведущей и определяющей силой как для языка, так в конечном счете и для сознания является действительность. И какой бы элемент «фантазии» не вносило сознание в истолкование действительности, оно всегда будет замкнуто теми рамками, какие создает для него действительность, во всем ее неисчерпаемом разнообразии. Успехи познавательной деятельности человеческого сознания состоят в том, что оно глубже вникает в закономерности действительности, узнает все новые факты действительности, устанавливает новые связи и зависимости между ними и тем самым приближается ко все более адекватному познанию реального мира. «Отлет фантазии от жизни», о котором говорит В. И. Ленин, не означает проникновение в какую-то новую сферу, стоящую за миром объективной действительности. Нет, этот «отлет» состоит из тех ошибок, заблуждений и уклонений, которые сопровождают трудный путь познавательной деятельности человеческого разума. При этом совершенно очевидно, что характер этих «отлетов фантазии», этих заблуждений человеческого разума будет иным в зависимости от состояния развития человеческого сознания, в зависимости от культурного развития общества. Поскольку же мышление и язык представляют неразрывное единство и вне языковых форм невозможна

деятельность человеческого сознания, постольку язык в конечном счете является производным от действительности, хотя и с теми «поправками», которые вносит неизбежный для пути развития человеческого сознания «отлет от жизни». Зависимость такого порядка, где язык является производным и от сознания и от реальной действительности, а ведущим оказывается в конечном счете действительность, лишает язык той руководящей силы, которую приписывает ему В. Гумбольдт и его современные последователи, но отнюдь не умаляет его качеств как орудия мышления.

Такова действительная зависимость языка, превращающая его в производную величину. Но, как выше было уже указано, эта производность носит относительный характер, и это обстоятельство превращает его из абсолютно производной величины в определенную реальность. Это не только специфический вид человеческой деятельности, но и определенное явление, само существование которого, так же как и формы развития, обусловливается определенными закономерностями, характерными именно для данного явления. И здесь мы возвращаемся к тому, что отметил Уорф: «...язык — система, а не собрание норм». Это значит, что, сложившись в систему, он приобретает и качества системы, т. е. как и математическая система, характеризуется особыми закономерными отношениями своих элементов, обуславливающих и особые закономерности развития системы ^[415] 41. Таким образом, служа орудием общения, выступая в качестве орудия мышления, фиксируя в элементах своей структуры результаты познавательной деятельности человека, он соотносит все эти формы своей деятельности со своими структурными особенностями, с теми закономерными отношениями, которые сложились между отдельными элементами внутри данной языковой системы.

Следовательно, язык, несмотря на свою конечную зависимость от действительности, а также и от познавательной деятельности человеческого сознания, есть все же реальное, социальное по своей природе явление, со своими особыми формами существования и закономерностями развития. В этом смысле он не только деятельность, но и явление (*ergon*).

В чем же проявляются эти характерные для языка как реального явления закономерности функционирования и развития? В том, что

язык, отталкиваясь от во многом тождественной действительности, фиксирует ее в своей системе по-разному. Реально существующие моменты язык подчеркивает по-разному, проводит не одинаковым образом их группировку и расчленение, устанавливает разные связи между ними.

Выше были приведены примеры подобного рода разных членений животного мира на разных стадиях развития немецкого языка. Вайсгербер приводит обильный материал для характеристики «картины мира» немецкого языка. Он пишет, например: «Немцам, происходящим из южных и западных областей и попавшим в северные области, легко может броситься в глаза, что здесь не все благополучно обстоит с *Beine* (ногами). Достаточно ему подняться в трамвай, как его сосед может вежливо попросить его не наступать ему на *Beine*. Но на юге Германии наступают на *Fuß* (ступни ног). В чем тут дело? В анатомическом отношении немцы из южных и северных областей не настолько отличаются, чтобы одни имели *Beine*, а другие *Fuß*. Речь, следовательно, идет не о различиях предметов, а о разных способах видения, но в действительности обычно наступают на *Zehen* (пальцы ноги), которые можно причислить как к *Bein*, так и к *Fuß*» [416] 42. Таких «анатомических» различий можно привести еще много. Английский, немецкий и французский языки различают разные части рук (кисти руки и часть руки от кисти до плеча) и соответственно дают им разные наименования: в английском *arm and hand*, во французском *main et bras*, в немецком *Arm und Hand*. А в русском языке наличествует только одно общее слово — рука. Ввиду таких различий русские предложения *носить на руках*, *идти под руку* переводятся, например, на английский с помощью слова *arm*: *carry in one's arm*, *walk arm-in-arm*, а предложения *из рук в руки*, *здороваться за руку* — с помощью слова *hand*: *from hand to hand*, *shake hands*.

Но все это не разные способы «видения», свойственные разным языковым «мировоззрениям», а разные структурные особенности лексической системы языков, становление которых поддается историческому объяснению (в тех случаях, разумеется, когда в руках исследователя есть необходимый исторический материал). Это то различие членений и объединений элементов действительности, которое складывалось в языках исторически и которое обуславливается не только самой действительностью и направленной

на ее осмысление деятельностью мышления, но и закономерностями функционирования и развития системы данного языка. Описание и изучение различных «картин мира» в указанном смысле представляет, таким образом, важную и увлекательную область лингвистического исследования, но направлено оно должно быть не на вскрытие мифической силы, придающей языку руководящую роль (дух народа), а на определение доли и форм участия в возникновении подобного рода своеобразных явлений трех факторов: действительности в широком смысле этого слова, общественного сознания, законов функционирования и развития данного языка.

До сих пор речь шла о том, каким образом происходит становление различных языковых форм и какие факторы принимают участие в том, что разные языки обладают не одинаковыми «картинами мира». Уже при таком генетическом подходе к рассмотрению этих явлений удалось сделать некоторые выводы относительно того, в какой мере языковые формы способны оказывать влияние на формирование мышления и его категорий.

Но если отвлечься от генетического подхода и считаться только с тем, чем языки уже обладают, то как в этом случае будет обстоит дело с выдвинутой проблемой? Здесь перед нами, следовательно, другая сторона одного и того же вопроса. Основное положение в данном случае будет формулироваться следующим образом: не направляют ли все же сами формы и категории языка (поскольку они уже существуют) человеческое мышление по определенным путям? Не накладывает ли форма языка определенный отпечаток на действительность? Не формирует ли язык действительность на свой лад? Или, говоря словами Уорфа, не является ли «сам язык творцом идей, программой для интеллектуальной деятельности человеческих индивидов»?

Ответ на этот единый, хотя и сформулированный не одинаковым образом вопрос, также должен учитывать несколько моментов. Означают ли разные формы языка также разные формы мышления? Если под этим разуметь психическую «механику» процесса мышления, это несомненно так, и иначе быть не может, поскольку вне языковых форм невозможно человеческое мышление, а языки показывают очевидное многообразие своих форм. Но различие форм языкового выражения познавательной деятельности человеческого

сознания отнюдь не обуславливает разных результатов этой деятельности. В разных языковых формах человек может мыслить об одном.

Языковая форма способна подчеркнуть и выдвинуть на первое место определенные признаки предмета. О материале, состоящем наполовину из шерсти и наполовину из бумажной ткани, мы можем сказать, что он полубумажный или полушерстяной, и эта различным образом^{<331>} определенная, но одинаково правильная констатация факта производит на нас различный эффект.

Различие форм языкового выражения одного и того же содержания может носить более или менее нейтральный характер. Ср., например, предложения: *Завод изготавливает машины* и *На заводе изготавливаются машины* (синтаксическая синонимика). Но она может и выразить определенное отношение к передаваемому содержанию. Ср.: *Это была крепко сбита́я девушка с огненного цвета волосами* и *Это была девка с рыжими патлами*.

Подобного рода способность языка к передаче различных стилистических и смысловых оттенков, к выделению разных аспектов в одном и том же предмете, к подчеркиванию этих аспектов и сторон (а все это связано и с разной языковой формой) мы считаем естественной для языка; эта способность входит в функции языка, и мы используем ее более или менее сознательно и намеренно. Иными словами, мы управляем этой способностью, а не она нами. Во всех подобных случаях не может быть и речи о власти языка.

Но можно пойти даже дальше и согласиться с тем, что наличие в одном языке, например, одних лексических элементов, а в другом языке — других лексических элементов (т. е. определенный способ классификации предметов объективной действительности), так же как и характер самого обозначения способны оказывать на человека определенное воздействие. Здесь можно воспользоваться примерами, приводимыми тем же Уорфом. Как выше уже упоминалось, он рассказывает, что его практика инженера по технике пожарной безопасности давала много примеров того, что само языковое обозначение нередко побуждало людей относиться с недостаточной осторожностью к легко воспламенимым вещам, в результате чего вспыхивали пожары. Так, например, «около склада так называемых *gasolinedrums* (бензиновых цистерн) люди ведут себя

соответствующим образом, т. е. с большой осторожностью; в то же время рядом со складом с названием emptygasolinedrums (пустые бензиновые цистерны) люди ведут себя иначе — недостаточно осторожно, курят и даже бросают окурки. Однако эти «пустые» (empty) цистерны могут быть более опасны, так как в них содержатся взрывчатые испарения. При наличии реально опасной ситуации лингвистический<332> анализ ориентируется на слово «пустой», предполагающее отсутствие всякого риска. Возможно два различных случая употребления слова empty (пустой): 1. Как точный синоним слов null, void, negative, inert (порожний, бессодержательный, бессмысленный, ничтожный, вялый) и 2. В применении к обозначению физической ситуации, не принимая (в нашем случае) во внимание наличия паров, капель жидкости или любых других остатков в цистерне или другом вместилище. Обстоятельства описываются с помощью второго случая, а люди ведут себя в этих обстоятельствах, имея в виду первый случай. Это становится общей формулой неосторожного поведения людей, обусловленного чисто лингвистическими факторами» [417] 43.

Уорф приводит целый ряд подобных же примеров, но все они в лучшем случае способны доказать только одно и именно то, что язык может оказывать воздействие на поведение людей. Но никак не больше и никак не дальше этого. Как уже указывалось выше, различное языковое обозначение одного и того же предмета как полушерстяной материи или как полубумажной материи производит на нас определенный эффект и заставляет реагировать соответствующим образом, т. е. обуславливает определенные формы нашего поведения. Но формы поведения — это не нормы мышления, и Уорф поступает совершенно неправомерно, когда ставит между этими явлениями знак равенства. Фактически весь ход его доказательств основывается на материале, свидетельствующем о возможности посредством языковых средств воздействовать на поведение человека. Ничего метафизического в этом воздействии, конечно, нет [418] 44. Совершенно неоправданное применение выводов, сделанных в одной области (психической), к совершенно иной области (логической) служит Уорфу основанием для приписывания языку, как таковому, абсолютно не свойственных ему качеств творца логических ценностей, истолкователя мира объективной действительности, механизма,

устанавливающего нормы мышления и тем самым<333> детерминирующего также и поведение всего языкового коллектива.

Ко всему этому следует добавить, что различное языковое обозначение (что по Уорфу и приводит к различному толкованию действительности) возможно и фактически широко используется в пределах одного языка. Это, видимо, не делает стабильным его «метафизические» качества, позволяя их чрезвычайно гибко варьировать. Но если даже говорить о каких-то устойчивых и коренящихся в самой структуре языка способах выражения таких общих категорий, как субстанции, пространства и времени, или об особых для каждого языка в отдельности видах классификации (через лексические системы) предметов и явлений объективной действительности, то и в этом случае нет никаких оснований для тех выводов, которые делают и Уорф и Вайсгербер. В обоснование сказанному обратимся к примерам. Английский автор XIV в. Джон де Тревиза, рассказывая в своем «Полихрониконе» об одном событии, пишет, что оно происходило юе-зере ofoureLordea юowsand юrehundredandfourescoreandfyve, т. е. «в год господа нашего одна тысяча три сотни четыре двадцатки и пять» (1385). Эту дату мы выражаем по-русски следующим образом: в тысяча триста восемьдесят пятом году (т. е. составляем из следующих чисел: 1000+300+80+5). Современный немец сказал бы в этом случае imJahredreizehnhundertfunfundachtzig (т. е. 13 сотен, 5 и 80). Здесь мы имеем дело с разным членением одного и того же явления действительности и соответственно с разными отношениями входящих в эту систему чисел. Эта разная членимость находит прямое отражение в языке. Но приводит ли эта различная членимость и разная форма языкового выражения к разным познавательным результатам? Очевидно, что нет.

Говоря о подобных же явлениях, С. Эман пишет: «Человек, живущий за границей, часто испытывает большие затруднения, сталкиваясь с иными мерами, чем те, к которым он привык. Он не тотчас понимает значение чужеродных для него мер длины, площади, объема, веса или температуры. Очевидно, что эти трудности создает не сам иностранный язык, а чуждая система выражения этих мер. Человек, говорящий по-немецки и привыкший к употреблению километров как меры дли<334>ны, поймет выражение dixkilomètres,

если даже он располагает очень скудными познаниями во французском языке. И, наоборот, даже при отличном знании английского языка и при долгом пребывании в Англии он не в состоянии представить себе конкретную картину расстояния, выраженную в английских милях, пока не переведет их в знакомые ему километры. Точно так же для многих трудно перейти от 12-значной к 24-значной системе времени. Люди, привыкшие к термометру Фаренгейта, не в состоянии оценить показаний термометров Цельсия и Реомюра, хотя они точно знают соотносимость этих систем. Таким образом, чтобы подогнать их под свою концепцию мира, человек должен перевести чуждую систему выражения мер на знакомую ему систему» [\[419\]](#) 45.

По сути говоря, переход с одной языковой системы на другую, от одной языковой «картины мира» к другой аналогичен переходу от одной системы «мер» и их внутренних отношений к другой. Формы языка и мышления, свойственные им системы членений и объединений при этом меняются, но за ними стоит в основном единое реальное, понятийное и логическое содержание. И никаких новых идей, нового содержания форма языка и мышления в такой же степени не способна создать, как и разные системы мер — все сводится только к различиям в членении этого содержания. Единственно, о чем можно в этой связи говорить, это об особых «стилях» языка, в том смысле, в каком о них говорил Ш. Балли [\[420\]](#) 46. Рассматривая сопоставительно французский и немецкий языки, он видел характерные черты первого в большей аналитичности и абстрактности его структурных элементов, в то время как в немецком языке он подчеркивал его синтетические и феноменистические тенденции. Но эти «национальные» особенности французского и немецкого Ш. Балли не связывал с различными типами духовного строя народов и их культурой, а искал их в корреляции фонологических и морфологических структур обоих языков. Так, типичный для французского порядок слов определяемое — определитель, противопоставляемый немецкому порядку определитель — определяемое, он соотносил с тенденцией французского языка к конечному ударению и с начальным ударением в немецком языке (ср. французское *chapeaugris* и немецкое *grauerHut*). А это в свою очередь ставится в связь с предрасположением французского к открытым слогам и отсутствием в нем сложных фонем (аффрикат) и нисходящих дифтонгов в противоположность обратным

тенденциям немецкого языка. Совершенно очевидно, что подобного рода «стилистические» особенности языков, покоящиеся на структурных отношениях их элементов, не могут обладать теми формирующими и руководящими качествами по отношению к «идейному содержанию», о которых говорит Уорф.

В марте 1953 г. группа видных американских лингвистов, антропологов, психологов и философов собралась на конференцию, чтобы всесторонне обсудить гипотезу Сепира — Уорфа и по возможности проверить ее на языковом материале ^[421] 47. Один из докладчиков на этой конференции, Джозеф Гринберг, таким образом формулировал свое отношение к гипотезе: «Поскольку естественные языки не придумываются философами, а развиваются как динамичное орудие общества, стремящееся удовлетворить постоянно меняющиеся его потребности, не следует ожидать и, как подсказывает мне опыт, невозможно обнаружить существования некоей особой семантической подосновы, которая необходима семантической системе языка для того, чтобы отражать какое-то всеобъемлющее мировоззрение метафизического характера» ^[422] 48. Мнение о том, что ни о какой метафизике применительно к структурным особенностям языка не может быть и речи, в той или иной формулировке высказывалось и другими участниками конференции.

В процессе обсуждения отдельных аспектов гипотезы Сепира — Уорфа Джозеф Гринберг прибег к гипотетической ситуации, чтобы подкрепить свои рассуждения, приведшие его к вышеприведенному заключению. Допустим, говорит он, на луну попадают два человека, говорящие на разных языках. Они оказываются в совершенно новой обстановке, абсолютно отличающейся от земной, и дают ее описание каждый на своем языке. Если допустить, что язык формирует действительность, то тогда, очевидно, в этих двух описаниях перед нами должны возникнуть два различных мира. Сам Гринберг говорит по этому поводу следующее: «Моя точка зрения сводится к тому, что они (т. е. люди разных языков. — В. З.) не в состоянии будут сказать одно и то же, если они говорят на различных языках, но это будет результатом различий в системах убеждений, а эти последние определяются не структурой языка, а общей культурной ситуацией и прошлой историей народов» ^[423] 49. Подобная предположительная ситуация, действительно, дает повод для рассмотрения разбираемой

проблемы с новой стороны. Мимоходом стоит, однако, заметить, что эта ситуация не настолько уж фантастична и (если не буквально, то в приближенном виде) многократно повторялась в истории человечества, так что она носит не только теоретический характер, но и обладает реальными практическими результатами. В качестве примера можно сослаться на описание арабскими путешественниками природы и обычаев скандинавских викингов, мир которых был для арабов, по-видимому, столь же чужд и необычен, как и лунный. И тем не менее описания, составленные на арабском и древнескандинавском языках, не представляют нам два различных мира. Мы легко узнаем в них одни и те же явления и события. Обратимся, однако, именно к теоретической стороне этой предполагаемой ситуации.

Она заставляет нас прежде всего делать строгое разграничение между содержанием языка и его структурой, причем это разграничение должно касаться преимущественно лексической и семантической сторон языка. К содержанию будет относиться вся та совокупность понятий о мире объективной действительности, которую приобрел тот или иной народ в процессе своего исторического развития. В содержании языка, иными словами, находит свое отражение культура народа и формы этой культуры. К структуре языка (если пока говорить о его лексической и семантической сторонах) относятся способы членения, классификации и объединения тех явлений и предметов объективной действительности, которые составляют содержание языка. Говоря словами Вайсгерберга, структура языка и составляет особые в каждом отдельном случае «картины языка».

Возвращаясь к «лунной ситуации», мы должны признать справедливость не только общего вывода Гринберга, но и той части его суждения, где содержится утверждение, что люди разных языков «не в состоянии будут сказать одно и то же». Это, несомненно, так, однако при одной существенной оговорке: в той мере, в какой будет различаться содержание их языков, но независимо от структурного своеобразия последних.

Желая, например, дать представление о высоте какого-нибудь предмета, один может сказать, что он высотой с пальму, а другой измерит его высотой айсберга. Один будет измерять быстроту движения полетом чайки, а другой — полетом попугая или колибри и т. д. В данном случае мы будем иметь дело с теми же самыми

явлениями, которые обуславливали видение разных «небесных картин» (созвездий): в одном случае битвы азов, а в другом — центавра. Но все это относится к содержанию языка, а речь идет не о нем, когда Вайсгербер и Уорф говорят о преобразующей силе языка, о его «метафизике». В этих случаях они имеют в виду именно структурные стороны языка.

При всем многообразии культур люди «земного мира» имеют столько общего, что они всегда в состоянии понять друг друга и составить правильное представление о предметах речи — об этом свидетельствует практическая возможность перевода с любого языка на любой. Во всяком случае, они находятся в среде одних и тех же реальных категорий пространства, времени и субстанции, которые в первую очередь имеет в виду Уорф. И вот эти-то категории и находят разное выражение в структурных элементах языков, в их грамматических категориях и свойственных им членениях и объединениях. И в этом, по уверению Уорфа, находит свое выражение «метафизика» языка, обуславливающая и особый способ видения действительности.

Поскольку у людей «земного мира» реальные категории пространства, времени и субстанции являются общими, а различно только их языковое (структурно-языковое) выражение, мы будем иметь ситуацию, в общих чертах и в своем принципе повторяющую положение^{<338>} о соотносимости разных систем мер (о чем была речь выше). Здесь также одни и те же реальные категории выражаются разными языковыми «мерами», т. е. особыми их членениями и системными объединениями.

Следовательно, располагая единым для обоих языков знаменателем, каковым является земная действительность, и зная, что все земные языки в конечном счете являются производными от этой действительности, мы вправе ожидать, что в описаниях необычной лунной обстановки, сделанной средствами разных в структурном отношении языков, мы будем иметь не два, а один мир. А различия культур будут различиями *couleur locale*, вносящими своеобразную окраску, но не меняющими существа дела.

Употребляя аналогию, можно сказать, что две различные системы языков подобны двум различным системам денежных знаков, имеющим единое золотое обеспечение — их земную

действительность. И так же как единое золотое обеспечение позволяет производить перерасчет с рубля на доллар и обратно, так и единая земная действительность позволяет по установленному «курсу» производить «перерасчет» логических ценностей, которыми орудуют языки, например с английского на язык хопи и обратно. Это и будет переходом из одного «круга» в другой, о чем говорил В. Гумбольдт и что послужило основой для теорий Вайсгербера и Уорфа. Но только у этих «кругов» не оказывается никаких магических качеств, никакой «метафизики», а есть лишь абсолютно естественные качества, поддающиеся научному объяснению и анализу в отношении как их становления, так и функционирования.

Все предыдущее изложение позволяет, таким образом, с уверенностью заключить, что языку никак нельзя приписывать преобразующих действительность свойств. Вместе с тем это изложение показало большую сложность проблемы отношений языка и мышления. Оно предупреждает против слишком прямолинейных решений данной проблемы, указывает на ее многоаспектность и многогранность. Именно поэтому ее рассмотрение нельзя считать законченным даже в очень общих чертах до тех пор, пока не будет исследовано другое направление взаимодействий языка и мышления, о чем говорилось в самом начале настоящего раздела. Под этим<339> иным направлением разумеются формы влияния мышления на отдельные элементы языка. Как уже указывалось, в этом направлении необходимо выделить несколько конкретных теоретических задач.

Понятие и лексическое значение

В последние годы проблема отношения понятия и лексического значения заняла в советском языкознании видное место и послужила предметом многочисленных статей [\[424\]](#) 50.

Язык — многостороннее явление. Как уже указывалось, он собран как бы из разных элементов. Звуковая сторона языка представляет нам его как физическое явление. Но речевые звуки произносятся человеком, т. е. рождаются в живом организме, и это позволяет связать язык с физиологией. Так как речь связана с высшими формами деятельности человеческого организма (образование так называемой «второй сигнальной системы»), то язык можно рассматривать и в психологическом аспекте. Но язык неразрывно связан с мышлением, мышление протекает в языковых формах, в системе языка фиксируются результаты познавательной деятельности человеческого мышления, и это обстоятельство дает основание утверждать, что категории мышления также получают свое отражение в системе языка.

Сложная, «сборная» природа языка, поворачивающегося к испытующему человеческому взору то одной, то<340> другой своей стороной, привела к тому, что в разные периоды истории науки о языке он изучался то как логическая система, условно обозначаемая звуковыми комплексами, то как живой организм, то как индивидуальное психофизиологическое явление, то как одна из систем знаков и т. д.

Однако язык не механическое соединение всех этих элементов, легко распадающееся на них. Изучение языка может получить известную помощь и от физики, и от психологии, и от физиологии, и от логики, но мы никогда не постигнем подлинной природы языка, если будем изучать его как предмет каждой из этих наук и методами этих наук. Даже совокупные усилия названных наук не раскроют перед нами секретов природы языка. Язык — предмет самостоятельной науки — языкознания, или лингвистики, и изучается он специальными методами, ориентированными на специфические особенности языка.

Это происходит потому, что все элементы языка в своем объединении образуют особую, социальную по своему характеру структуру, сама организация которой (так же как и функционирование)

подчинена определенным целям — быть орудием мысли и служить средством общения. Это значит, что какие бы элементы ни составляли структуры языка, как только они становятся ее компонентами, они обретают новые качества, которые определяются точкой зрения тех функций, которые выполняют эти элементы в структуре языка. Можно говорить, что они обретают при этом «качество структурности» (Strukturqualitt).

Это не означает, однако, что, войдя в структуру языка, тот или иной элемент уходит из-под власти законов своей «первичной» природы и полностью отдает себя в подчинение своего нового господина и повелителя — структуры языка. Нет, «первичная» природа элементов языка сохраняет свою власть над ним, но и законы этой «первичной» природы элементов структура языка обычно реализует в своих целях, направляет на служение определенным функциональным потребностям этой структуры. Поясним сказанное примером.

Звуковая сторона языка образует его фонологическую систему. В фонологическую систему конкретного языка, во-первых, входят не все звуки, которые способен артикулировать речевой аппарат человека. Каждый язык как бы производит в этом отношении определенный отбор, и поэтому, хотя число фонем в разных языках может быть неодинаковым, оно для каждого языка в определенный период его развития строго ограничено. Язык «глух» по отношению ко всем тем речевым звукам, которые оказываются за пределами его фонологической системы. Для англичанина звуки русского языка, передаваемые буквами *щ*, *ж* или *ы*, не являются речевыми звуками, точно так же как английское *th* в звонком и глухом произношении — для русского. В случае необходимости язык истолковывает чужеродные звуки через качество фонем своего языка. Так, английское *Theckerau* и *Plimouth* превращаются в русском языке в Теккерей и Плимут.

Во-вторых, все фонемы каждого языка находятся в строгих системных отношениях друг с другом, в результате чего один и тот же по своим акустическим качествам звук, употребленный в фонетической системе разных языков и тем самым оказывающийся в разных системах позиционных чередований и нетождественных фонемных рядах, как языковое явление перестает быть «одним и тем же». Он обретает «качество структурности», превращающее его из

простого звука, произнесенного речевым аппаратом человека, в характерный для данного языка звуковой тип, в фонему, облеченную определенной функцией — различать звуковую оболочку слов, связанных с определенным значением (в этом плане говорят также о смыслоразличительной функции фонем) [\[425\]](#) 51.

Но войдя в фонологическую систему языка и приобретая как член этой системы «качества структурности», речевой звук не отрешается от своих «физических» качеств, не уходит от их власти, а обращает их на службу новым целям. Все те дополнительные характеристики, которые речевой звук приобретает в конкретной фонологической системе, строятся не на основе только систем³⁴²ных отношений как таковых, а наоборот, эти системные отношения строятся на реальных «физических» качествах данного речевого звука. Поэтому и фонологическая система языка — это не система чистых отношений, а система отношений материальных элементов со своими физическими качествами, находящими свое выражение во всех вариантах, разновидностях и формах фонем, характерных для данного языка [\[426\]](#) 52. В таком же плане надо, очевидно, подходить и к решению проблемы отношения понятия и лексического значения слова.

Слово «понятие» употребляется в языкознании не в строго терминологическом смысле. Философы определяют понятие как «результат обобщения массы единичных явлений. В процессе этого обобщения мы отвлекаемся, абстрагируемся от случайных моментов, несущественных свойств и образуем понятия, которые отражают существенные, основные, решающие связи, свойства явлений, вещей» [\[427\]](#) 53. Понятие — это отдельная мысль, выделяемая из состава суждения. Его важнейшей логической функцией является способность отражать в мысли более или менее полный итог знаний. «Понятие как итог познания предмета есть уже не простая мысль об отличительных признаках предмета: понятие-итог есть сложная мысль, суммирующая длинный ряд предшествующих суждений и выводов, характеризующих существенные стороны, признаки предмета. Понятие как итог познания — это сгусток многочисленных уже добытых знаний о предмете, сжатый в одну мысль» [\[428\]](#) 54.

Когда языковеды говорят о связях понятия со значением слова, то они обычно имеют в виду лишь обобщающую природу слова. Ведь знаменательное слово всегда обозначает определенную совокупность

предметов, объединяемых по тому или иному признаку в определенный класс предметов [429] 55. Основываясь на этой обобщающей природе слова и сближая ее с одним из признаков понятия (оно есть результат обобщения массы единичных предметов), но не учитывая других существенных черт понятия (отражение в нем основных, решающих связей, свойств явлений и предметов, его итоговый характер, суммирующий ряд предшествующих выводов и суждений, и пр.), языковеды нередко ставят знак равенства между понятием и значением слова. «В большинстве слов, — пишет, например, Е. М. Галкина-Федорук, — значение и понятие совпадают, образуя единое логико-предметное значение, но такое явление наблюдается далеко не во всех словах. Например, все междометия понятий не образуют. Нет понятий как логических категорий и в некоторых местоимениях, и в словах-союзах, частицах» [430] 56.

Такое отождествление, разумеется, едва ли можно признать правомерным. Слово действительно служит основой для осуществления процесса обобщения, и в данном случае язык (или, точнее говоря, элементы языка) показывает нам наглядным образом, как он выполняет свою функцию орудия мысли. Но сам этот процесс обобщения протекает не в тех формах, в каких осуществляется логическое суждение, и в своих конечных результатах очень часто не может претендовать на приложимость к нему совокупности тех перечисленных выше признаков, которыми характеризуется понятие как логическая категория.

Возьмем для примера самое обычное слово — *стол* и посмотрим, как в нем проходил процесс обобщения, какие классы предметов оно объединяет в своем значении и на какие существенные, решающие связи и свойства опирался этот процесс обобщения. Этимологические данные свидетельствуют, что оно изначально связано со словом *стлать* и первоначально обозначало собственно некое место, на котором «расстилалась» еда (ср. диал. *столечник* — «скатерть»). Так как еда обычно накрывалась на возвышенном месте, то этим словом стали в дальнейшем обозначать всякого рода возвышенные места (причем в прямом и переносном смысле). Ср. *престол* — «трон», «княженье», «епископская кафедра», «алтарь в церкви» (также *стольный град* — «столица», *стольник* — дворцовая должность). Словом *стол* обозначали и определенного вида мебель —

определенный класс предметов, также обладающий своими признаками. Но за столом едят, и поэтому *стол* это также и еда («диетический стол») — уже другой класс предметов и также со своими признаками. За столом выполняют также и работу, поэтому возникают *адресный стол*, *стол заказов* и пр. — новый класс предметов со своими признаками. Самое замечательное при этом то, что разные значения слова *стол* (так же как и многих других) сосуществуют в нем одновременно. Сам процесс обобщения идет, следовательно, в слове зигзагообразно, переходит от одного класса предметов к другому, перегруппировывает и объединяет их по-разному в разные исторические периоды жизни слова и т. д. Чем же объясняется такой зигзагообразный путь процесса обобщения в слове — только ли особенностями логического суждения? И можно ли при этих условиях говорить о тождественности значения слова и понятия?

Прямого уподобления здесь, конечно, нет, но между значением и понятием не может быть и разрыва. Каким бы извилистым ни был путь обобщения в слове и какими бы причинами ни была вызвана эта извилистость (об этом ниже), это все-таки процесс обобщения, на основе которого происходит и формирование логического понятия. Понятие как логическая категория, как итог знаний о предмете, как сложная мысль, суммирующая длинный ряд предшествующих суждений и признаков, как отражение существенных, решающих признаков и свойств предмета — это целеустремленное и логическое оформление того процесса обобщения, который как бы «стихийно» совершается в слове в силу его обобщающей природы.

Входя в структуру языка, понятие обретает новые качества, которые придает ему эта структура; оно получает «качество структурности», которое проводит существенное разграничение между ним как логической категорией и как компонентом языка. Происходит то же самое, что и со звуком, который превращается в элемент языка — в фонему. Просто звук, произведенный речевыми органами человека — это только физическое (или физико-физиологическое) явление, но как элемент фонологической системы языка, как фонема он — структурная его часть и приобретает новые качества, которые превращают его в лингвистическое явление. Точно так же и понятие, войдя составным элементом в структуру языка — в лексическое

значение слова, перестает быть логической категорией и превращается в лингвистическое явление.

К чему же сводятся различия между понятием, как логической категорией, и его лингвистическим воплощением? Какие новые качества, обуславливающие переход логического явления в лингвистическое, придает понятию структура языка? И как в подчинении у нового властелина — структуры языка — понятие реализует в лингвистической плоскости свою «первичную» природу (как это имеет место в случае с фонемой)? Вот круг вопросов, которые имеют прямое касательство к проблеме отношений понятия и значения слова.

Различие между понятием и лексическим значением слова заключается в том, что в формировании первого принимают участие, так сказать, две силы: предмет и мышление, а в формировании второго — три силы: предмет, мышление и структура языка.

Но ведь мышление (понятийное) всегда протекает в формах языка. Каким же образом оказывается возможным исключить языковой фактор при образовании понятий? Этот вопрос частично затрагивался в предыдущем разделе, и из того, что там по этому поводу было сказано, явствует, что если только допустить в данном случае примат фактора, представляющего структурные особенности языка, то это значит неизбежно признать наличие национальных своеобразий в понятиях, влияние структуры языка на самый процесс познания мира и, следовательно, присутствие в языке тех метафизических качеств, о которых говорил Уорф. Однако ничего подобного в действительности нет.

Как происходит формирование понятий? Возьмем для наглядности несколько упрощенный случай, намеренно сблизив его с образованием «значения» слова.

В своей практической деятельности человек сталкивается с рядом предметов, обладающих внешним сходством и общностью назначения или использования. Вы^{<346>}явление в этих предметах указанных общих черт есть мыслительный процесс обобщения определенных признаков, устранения случайных моментов и выявления основных, решающих. Имея дело, например, со столами, мы отвлекаемся от того, что столы бывают маленькие и большие, с тремя, четырьмя или шестью ножками, с ящиками или без ящиков, кухонные, столовые или

письменные и т. д. Мы выявляем только некоторую и общую для всех столов совокупность признаков, на основании которых и подводим определенные предметы под категорию «стола». А этот процесс установления общих признаков, отвлечения от случайных, выявления единой категории предметов даже и в этом упрощенном случае есть сложный мыслительный процесс, связывающий ряд мыслей, суммирующий многочисленные наблюдения, сопоставляющий и разъединяющий их; иными словами, это есть процесс суждения. И такой процесс суждения протекает, конечно, всегда в формах языка, опираясь на них. Но, будучи сложной мыслью, он строится в виде развернутых предложений и, конечно, не может протекать в пределах одного единственного слова *стол*. Само возникновение этого слова в языке есть фиксирование результата сложного суждения, итог познания предметов данной категории, который, будучи закреплён определенным словом, обогащает язык и поступает в распоряжение данного общества для дальнейшего использования наравне с другими, уже существующими в нем лексическими элементами. Как видно, без языка и в данном случае никак нельзя обойтись. Но в формировании логического понятия язык не непосредственный «участник» разыгрывающегося действия, а только «обслуживающий персонал», обеспечивающий это действие. Иными словами, он есть только средство, орудие мысли, но не ее содержание (или какая-то ее часть содержания).

Важно при этом отметить, что построение сложной мысли может проходить в формах разных языков, но это не может препятствовать тому, что в конечном счете возникает один и тот же итог, т. е. формируется одно и то же понятие. Структура языка в данном случае не может играть какой-либо ведущей роли. Ведь в Москву можно приехать и поездом, и самолетом, и даже на верблюде, а характер Москвы как конечной цели поездки от этого не изменится.<347>

Не менее важным является и другое обстоятельство. Формирование понятия в длинной цепи суждений протекает в языковых формах, но это понятие как итог познания предмета не обязательно фиксируется единым словом, хотя сама обобщающая природа слова создает очень удобную основу для этого и потому широко используется для этой цели. Так, открывая «Краткий философский словарь», мы сталкиваемся в нем с такими названиями отдельных его статей:

«Пережитки капитализма в сознании людей», «Переход количественных изменений в качественные», «Материалистическое понимание истории» и т. д. Все это — понятия, хотя они и не закреплены единым словом, и уж, конечно, никакая структура языка не оказала влияние на их формирование. Понятие может быть выражено описательным образом и более многословно (особенно когда оно находится в процессе становления), его истолкованию и изложению может быть посвящена даже целая книга.

Но обычно, и в частности, в науке мы прибегаем в подобных случаях к фиксированию даже и очень сложных понятий единым словом: *сенсуализм, спиритуализм, телеология, теогония, теизм, феномен, фетишизм* и т. д. Это уже отдельные слова, но особого порядка. Это термины, и их особенность заключается в том, что они не обладают тем, чем обладают обычные слова — лексическим значением. Их «значением» является научное понятие, на жизнь которого, изменение и развитие система языка не оказывает прямого влияния. Они развиваются и изменяются вместе с развитием и изменением науки, которую обслуживают. Так, например, термин *атом* у философов классической древности покрывал собой одно понятие, которое с развитием физики многократно видоизменялось, прежде чем стать таким, каким оно является в современной физике. При этом никакой, конечно, язык не оказывал никакого влияния на изменение понятия атома, а следовательно, и его значения. Используясь во множестве языков, этот термин (и ему подобные) оказывается как бы вне языка. Особая природа чистых терминов наделяет их независимостью по отношению к тем обязательствам, которые структура языка накладывает на свои элементы. Они вместе с тем с наибольшей ясностью и наглядностью показывают, что в формировании понятия, как логической категории, действительно³⁴⁸ участвуют только две силы: предмет и человеческое сознание (см. раздел «Элементы знаковости в языке»).

Но в языке во множестве существуют и слова двойственной природы. Это такие слова, терминологическое значение которых складывалось по сходству или на основе лексического значения обычного слова. Таковы, например, слова *корень, основа, перенос, подъем, такт, приставка* и пр. Эта категория слов напоминает двуликого Януса, который глядит в разные стороны. Так, например,

слово *корень* в терминологическом смысле может быть основной частью слова без приставок и суффиксов (лингвистическое понятие) или величиной, которая при возведении в определенную степень дает определенное число (математическое понятие), но, с другой стороны, оно может употребляться в своих лексических значениях, т. е. в смысле вросшей в землю части растения (*дуб глубоко пустил корни в землю*), места соединения отдельных органов с телом (*корни зуба, корень языка* и пр.), начала или происхождения чего-либо (*корни зла, корни крепостного права*) и т. д. Степень близости между терминологическим и лексическим значением у слов этой категории может быть различной: от бесспорных омонимов (ср. например, *башимак* — как род обуви и как вид тормоза, применяемого в железнодорожном транспорте) до таких случаев, когда линия разделения терминологических и лексических значений очень неясна (ср., например, значения, которые «Толковый словарь русского языка» под редакцией Ушакова дает для слова *жизнь*: 1. Существование вообще, бытие в движении и развитии. *Жизнь мира. Законы жизни*. 2. Состояние организма в стадии роста, развития и разрушения. *Жизнь человека. Жизнь растений*. 3. Время от рождения до смерти человека или животного. *В течение всей жизни. Раз в жизни*. 4. Развитие чего-нибудь: события, происходящие с чем-нибудь существующим. *Переломный момент в жизни государства*. 5. Совокупность всего сделанного и пережитого человеком. *Жизнь Ленина — неустанная, кипучая работа*. 6. Деятельность общества и человека во всей совокупности ее проявлений. *Жизнь есть борьба и труд*. 8. Уклад, способ существования, времяпрепровождение. *Городская жизнь. Праздная жизнь*. 9. Энергия, внутренняя бодрость. *Жизнь так и кипит в нем* и т. д.). Надо отметить, что категория подобных<349> слов двойственной природы очень обширна, а типы взаимодействий и связей их терминологических и лексических значений многообразны, хотя и совершенно не изучены. Но недоучет особенностей этой категории слов часто приводит к большой путанице при определении отношений, существующих между понятием и лексическим значением.

Наконец, имеется категория так называемых «обычных» слов (и они-то и рассматриваются в первую очередь, когда речь идет об отношениях понятия и значения слова), т. е. слов, лишенных

терминологических значений и обладающих только лексическим значением. Характерной особенностью этой категории слов является то, что развитие их лексического значения, которое также основывается на процессе обобщения, всегда протекает в пределах одного и при этом определенного слова, т. е. слова данного языка со всеми особенностями его лексической системы и существующими в ней внутренними смысловыми отношениями. Это обстоятельство вносит весьма существенные коррективы и в самый процесс обобщения. Эти коррективы обуславливаются тем, что процесс обобщения, составляющий основу образования понятия, протекает в данном случае под контролем структуры языка, подчиняется господствующим в данной структуре лингвистическим закономерностям и, таким образом, «первичная» природа понятия подчиняется потребностям языковой структуры. Понятие получает «качество структурности» и из логической категории превращается в лингвистическую.

Для ясности обратимся опять-таки к примеру. Выше приводились два случая развития значения слова *стол*. В первом случае приводилось его фактическое развитие от исходного значения, связывающего его со словом *стлать* (так, как нам излагают развитие этого слова этимологические словари). И затем во втором (и, как указывалось, в действительности, упрощенном) случае описывался связанный с ним процесс обобщения с точки зрения образования понятия «стол», т. е. таким образом, как если бы речь шла о формировании терминологического чисто понятийного «значения», представленного у терминов типа приведенных выше *феномен*, *телеология*, *теизм* и пр. При этом отмечалось, что процесс обобщения, засвидетельствованный в развитии лексического значения слова *стол*, поражает своим извилистым, зигзагообразным путем, который нередко характеризуется переходом от данной категории предметов к другой (такие переходы в семасиологии обычно именуются переносными значениями).

Эта особенность развития лексического значения объясняется тем, что сам процесс обобщения, на основе которого проходит развитие лексического значения, привязан к определенному слову и протекает на базе уже существующего лексического значения данного слова. Таким образом, и в данном случае, так же как и при формировании

логического понятия, предполагающего развернутый и сложный мыслительный процесс, все осуществляется в языковых формах, но здесь он происходит в пределах одного слова и отталкивается от конкретного лексического значения этого слова, видоизменяющегося по мере того, как в процессе обобщения к нему «подключаются» все новые и новые предметы. То обстоятельство, что в русском языке слово *стол* первоначально означало любое место, на котором «расстилалась» еда, а затем преимущественно возвышенное место, на которое ставилась эта еда для большего удобства, обусловило возможность «подключения» к этому слову любого возвышенного места (трон, стул и в переносном смысле должность — *стольник* и даже просто возвышение — *стольный град*). Таким образом, первоначальное лексическое значение слова *стол* способствовало протеканию процесса в данном направлении, так же как в последующие этапы своего семантического развития оно направляет обобщение по новым направлениям. Со временем был создан специальный вид мебели для еды, и за ним закрепилось название *стола*. Он — тоже возвышенный предмет, но этот признак начинает все более и более отступать на задний план, и в конце концов происходит смысловой разрыв между словом *стол* и теми его прочими употреблениями, которые основывались на этом признаке; современное языковое сознание уже не связывает *стол* и *столицу*, *стольный город* и пр. На первый план выступает изначальный признак стола как места еды. Отсюда идет семантическое развитие в сторону обозначения еды, и возникают *диетический стол*, *сытный стол*, *квартира со столом* и т. д. Но *стол* ныне не только мебель для еды, но и для разных видов занятий; поэтому возникает новая линия развития: *кухонный стол*, *ломберный стол*, *письменный стол* и далее уже в «переносном» смысле — *адресный стол*, *стол заказов* и пр.

Немецкое *Tisch* — «стол» опиралось на иное первичное лексическое значение, поэтому и путь его семантического развития был иным. В немецкий язык это слово пришло из греческого (греч. — «метательный диск») через посредство латинского в форме *discus* — уже со значением «блюдо», «миска». Древненемецкое *tisc* сохранило латинское значение, но употреблялось также и в значении «стол». Этому способствовало то обстоятельство, что стол в ту эпоху представлял из себя круглую деревянную дощечку (дискообразной

формы), которая на специальной подставке ставилась перед каждым евшим и одновременно служила блюдом или миской. Когда позднее установилась особая форма мебели для еды, слово Tisch закрепилось за ней. Это слово не имело того семантического развития, которое позволяло русское *стол* применять по отношению ко всякого рода возвышенным предметам. Однако в более позднее время немецкое Tisch в определенной мере повторило семантическое развитие русского *стол* и стало обозначать, с одной стороны, также и еду, а с другой — разные виды столов: Arbeitstisch, Eßtisch, Schreibtisch, Spieltisch и др. Но и современное немецкое Tisch не имеет употреблений вроде *адресный стол*, *стол заказов*, которые свойственны русскому слову *стол*.

Третьим путем шло развитие английского table — «стол». Это слово было заимствовано через французский язык из латинского (tabula), в древнеанглийском оно имело форму tabule, позднее table и уже в новоанглийском table. Первоначально это слово сохраняло латинское значение и употреблялось для обозначения пластинок или табличек из какого-нибудь твердого материала (камня, металла или дерева). Позднее оно обозначало эти же пластинки, но уже с письменами на них. Только в среднеанглийский период это слово стало употребляться и для подставок с плоской деревянной доской сверху, используемых для установки на них всяких предметов, сидения, а также и для еды. Так возникли употребление слова table для обозначения столовой мебели и ряд «переносных» значений — «еда» и «застольная компания» (ср. с одной стороны, aliberal, goodtable, а с другой — <352> tosetthetableinaroar). Так же как и в русском и немецком языках, table со временем стало обозначать разные виды столов: billiard-table, card-table, dressing-table. Но в отличие от вышеназванных языков в английском это слово, во-первых, сохранило свое первоначальное значение «таблица для письма», а во-вторых, развило его дальше и стало использоваться не только для обозначения таблиц как материалов для письма, но для обозначения того, что написано на них. Отсюда идут такие употребления, как theLord'sTables — «заповеди господа», theTwelveTables — «двенадцать правил» (римского закона), tablesofweightsandmeasures — «таблицы мер и весов» и т. д.

Таким образом, в английском *table* мы обнаруживаем моменты, общие с русским и немецким словами и отличные от них.

Различия путей семантического развития слов русского, немецкого и английского языков с тождественным значением «стол» обуславливаются различием структур этих языков. Влияние же структур, разумеется, не ограничивается только тем, что в исходном пункте их лежали разные лексические значения. Это только один (хотя и немаловажный) момент придания понятию «качества структурности», превращающего понятие у данной категории слов в лексическое значение. «Качество структурности» понятия, отраженного в лексическом значении, проявляется в данном случае в том, что процесс обобщения в слове осуществляется как бы сквозь призму его лексического значения. Но на процесс обобщения, проходящий в слове, оказывают влияние и другие языковые факторы, во многом способствующие его зигзагообразному пути. Ведь слово живет в языке неизолированной жизнью. Оно входит в различного рода лексические системы; оно связано с другими словами данного языка разнообразными смысловыми связями, которые могут строиться либо на противопоставлении (антонимические связи), либо на сближении (синонимические связи); оно в разных языках может входить в различные грамматические классы слов, которые также оказывают влияние на связи данного слова с другими ^[431] 57. Словом, в структуре языка оно подвержено многообразным влияниям, и каждая форма подобного рода влияния есть один из путей подчинения развития лексического значения, опирающегося на единый с понятием процесс обобщения, потребностям структуры данного языка. Совокупность этих влияний и приводит к тому, что, по-видимому, нет таких разноязычных слов с одинаковой направленностью на действительность, лексическое значение которых полностью бы совпадало. В данном случае имеются в виду «обычные» слова, не знающие терминологических «значений». У чистых терминов, как раз наоборот, «значения» обычно совпадают во всех языках, в которых они употребляются. Так, термин *атом*, так же как и *dasAtom* и *theatom*, и в русском, и в немецком, и в английском языках будет иметь абсолютно одно и то же значение. Это происходит даже тогда, когда употребляются и неодинаковые по форме термины, например, русское *бетон* (и немецкое *Beton*) и английское *concrete*. Все это потому, что,

как явствует из всего вышеизложенного, «значением» термина является понятие, а «обычное» слово обладает собственно лексическим значением, в котором понятие переработано в лингвистическое явление таким же образом, как речевой звук перерабатывается в фонему.

Но в путях развития русского, немецкого и английского слов со значением «стол» мы обнаруживаем и общие моменты. Все они в конечном счете обозначают определенный вид мебели, хотя и отправлялись от разных смысловых точек. Все они обладают и «переносным» значением «еда». Это определяется культурно-исторической общностью, общностью действительности, которая является ведущим фактором в становлении всех языковых явлений. Даже и первоначальный выбор отправных смысловых точек в известной мере был обусловлен конкретными культурно-историческими факторами: тем, что у русских столом было любое место, на котором «расстилалась» еда, а у германских народов столом служила деревянная дощечка — дискообразная у немцев и подобная табличкам с письменами у англичан. Однако в дальнейшем культурно-исторические условия всех этих народов значительно сблизились и у них появилось много тождественных предметов с одинаковыми функциями. У всех у них, в частности, есть столы и во всех случаях³⁵⁴ они используются для еды. Отсюда и та общая им направленность на действительность, которую мы обнаруживаем и у русского стола, и у немецкого Tisch, и у английского table, несмотря на все различие лексических значений этих слов.

Различие лексических значений этих и им подобных слов (или, как еще говорят, национальные особенности лексических значений) в конечном счете обуславливается, таким образом, неодинаковым распределением у них обозначения явлений действительности. В данном случае играет роль даже простой количественный момент. Когда, например, цвета спектра в современных индоевропейских языках обозначаются семью словами, а во многих туземных языках Америки только тремя, — ясно, что такие слова будут значительно различаться по своему значению, хотя они и обозначают в своей совокупности одно и то же явление. Но, как правильно отмечает Вандриес, «с точки зрения обозначения, все, что может быть сказано на одном языке, без сомнения, может быть сказано и на любом

другом... различия будут наблюдаться только в структуре форм и их дополнительных значениях» [\[432\]](#) 58.

Следовательно, и в данном случае формирования лексических значений слов и их отношений к логическому понятию мы опять сталкиваемся с явлением, подобным тому, которое было описано в предыдущем разделе, несмотря на все различие в отношениях участвующих тут величин. Различия в лексических значениях разноязычных слов сводятся как бы к различиям разных систем мер: системы мер различны, но измеряемые ими пространства, высоты и долготы остаются одними и теми же. И определим ли мы длину какого-либо предмета в 10 аршин или в 7,1 метра — объективное содержание этого различного способа измерения не изменится для нашего сознания.

Логические и грамматические категории

Этот вопрос обычно рассматривается в лингвистической литературе в широком плане. Отношение логических и грамматических категорий и взаимоотношение суждения и предложения чаще всего исследуются как единая проблема [433] 59. Представляется более целесообразным, однако, рассматривать их раздельно, так как между ними существует известное различие. Достаточно указать на тот факт, что в проблеме отношений суждения и предложения в отличие от проблемы взаимоотношения логических и грамматических категорий мы имеем дело с комплексными, сложными образованиями, которые на первый план научного исследования, естественно, выдвигают вопрос о законах их построения и соотносимости этих законов.

В общем комплексе вопросов, связанных с почти безграничной проблемой языка и мышления, последовательнее сначала заняться выяснением взаимоотношений логических и грамматических категорий. Здесь необходимы, однако, сначала некоторые уточнения.

Этот вопрос, может быть, правильнее следовало бы формулировать несколько иным образом и говорить о взаимоотношении логических понятий и грамматических значений. Во всяком случае именно понятие и значение должны быть исходными пунктами исследования. Так же как и понятия, грамматические значения могут быть очень разнообразными, и говорить, как это часто делают, что они выражают лишь отношения, было бы неправомерно. М. И. Стеблин-Каменский справедливо замечает, что грамматические значения разнообразны «прежде всего по своему содержанию. Значение падежа, например, — одно из наиболее распространенных грамматических значений — имеет своим содержанием то или иное отношение между словами или, точнее, между тем, что обозначает слово, стоящее в данном падеже, и тем, что обозначает другое слово. Другие грамматические значения имеют своим содержанием совсем другие отношения. Залог, например, выражает определенные отношения действия к его субъекту или объекту, тогда как наклонение выражает определенные отношения действия к действительности. Грамматическое значение, которое называется «определенностью» и «неопределенностью»

существительного, имеет своим содержанием известное отношение между значением слова и действи<356>тельностью. Еще более сложное отношение, очень условно определяемое как «предметность в грамматическом смысле слова» и т. п., является содержанием значения существительного как части речи. Сомнительно, впрочем, можно ли в последнем случае говорить об отношении в собственном смысле, т. е. связи между двумя величинами. По-видимому, грамматическое значение вовсе не обязательно имеет своим содержанием то или иное отношение в собственном смысле. Так, глагольный вид выражает, очевидно, не отношение или связь между двумя величинами, а некоторый присущий действию признак (мгновенность, законченность и т. д.). Точно так же и число существительного выражает в сущности не отношение, а некоторый присущий предметам признак (множественность)» [\[434\]](#) 60. Специально различным видам грамматических значений посвящена интересная работа И. П. Ивановой [\[435\]](#) 61, в которой всесторонне рассматривается этот вопрос.

Но при всех своих возможных различиях грамматические значения обладают общим качеством, отделяющим их от лексических значений. В плане чисто лингвистическом это различие заключается в их функциях и в способах выражения средствами грамматической структуры языка. Выражение грамматических значений определенными показателями, имеющими в языке систематический характер, превращает их в грамматические категории. Академическая «Грамматика русского языка» определяет грамматическую категорию следующим образом: «Общие понятия грамматики, определяющие характер или тип строя языка и находящие свое выражение в изменении слов и в сочетании слов в предложениях, обычно называются грамматическими категориями» [\[436\]](#) 62. Несомненно, более удачное и более точное определение грамматической категории дается в упомянутой работе И. П. Ивановой: «Понятие грамматической формы включает два обязательных элемента: грамматическое значение и грамматический показатель. Грамматическое значение, выраженное постоянным, закрепленным за ним формальным показателем, является необходимым элементом грамматической формы. Совокупность форм, передающих однородное грамматическое значение, составляет грамматическую категорию» [\[437\]](#) 63.

В вопросе об отношениях грамматических категорий (грамматических значений) и логических понятий можно обнаружить резко противоположные мнения. Одну точку зрения, пожалуй, с наибольшей точностью высказал английский философ, историк и экономист Стюарт Милль. «Задумаемся на мгновение над тем, что такое грамматика, — пишет он. — Это наиболее элементарная часть логики. Это начало анализа процесса мышления. Принципы и правила грамматики — средства, с помощью которых формы языка приспособляются к универсальным формам мышления. Различия между разными частями речи, между падежами имен, наклонениями и временами глаголов, функциями частиц являются различиями мысли, а не просто слов... Структура всякого предложения есть урок логики» [438] 64. Не следует думать, что логицизм в грамматике умер вместе с К. Беккером или Ф. И. Буслаевым. Он всегда проявлялся в той или иной форме и достаточно активно дает себя знать и в наши дни. Для примера можно привести попытку упорядочения грамматики на логической основе, сделанную датским языковедом Вигго Брёндалем. Он исходит из четырех частей речи, выделенных Аристотелем, отрицая последующие классификации и, в частности, даже те, которые были сделаны александрийцами и римскими грамматиками. Эти четыре части речи он именует новыми именами: *relatum* (R), *descriptum* (D), *descriptor* (d) и *relator* (r). Когда между всяким соотносимым элементом устанавливается отношение и когда каждый определяемый элемент определен, т. е. когда налицо полный комплект указанных частей речи — RDrd, тогда предложение можно считать законченным. Между четырьмя частями речи и логическими категориями у Брёндаля наличествует строгое соответствие: языковой *relatum* соответствует логической категории субстанции и находит свое наиболее полное выражение в именах собственных; *descriptum* соответствует количеству и получает свое чистое выражение в числительных; *descriptor* отождествляется с качеством и в чистом виде представлен в наречиях; наконец, *relator* равнозначен отношению и свое чистое выражение находит в предлогах. Таким образом, имена собственные, числительные, наречия и предлоги являются первичными частями речи всех языков мира [439] 65. Иное воплощение получает логический принцип в трудах А. Сэше, который связывает части речи с реальными категориями внешнего мира через посредство

представлений ^[440] 66. В своем капитальном труде Ф. Брюно стремится, как он сам говорит, к «методическому определению фактов мышления, рассматриваемых и классифицируемых с точки зрения их отношения к языку, а также установлению средств выражения, соответствующих этим фактам мышления» ^[441] 67. Этими именами, конечно, далеко не исчерпывается список лингвистов, в том или ином виде опирающихся на логический принцип истолкования грамматических категорий.

Другие языковеды занимают диаметрально противоположную позицию в этом вопросе. «Языковые и логические категории, — пишет, например, Г. Штейнталь, — являются несовместимыми понятиями, они соотносятся друг с другом так же, как понятия круга и красного» ^[442] 68. В другом своем труде он говорит: «Универсальная (логическая) грамматика не более постижима, чем универсальная форма политической конституции или религии, универсальное растение или универсальная форма животного; единственное, что должно нас занимать, — это определение того, какие категории в действительности существуют в языке, не исходя при этом из готовых ^[443] 69. И Мадвиг всячески подчеркивал, что «грамматические категории не имеют ничего общего с реальными отношениями вещей как таковых» ^[444] 70. Эта точка зрения также имеет своих представителей в современной лингвистике, и даже в большей степени, чем логистическое направление. К ней, по сути говоря, примыкают все представители лингвистического бихейвиоризма и американской дескриптивной лингвистики, стремящиеся обойтись вообще без смысловой стороны языка (подведомственной металингвистике) и сосредоточивающие свои усилия на описании внешней формальной структуры языка. Против каких-либо отношений грамматических категорий с логическими выступают и современные языковеды, придерживающиеся более или менее традиционных и отнюдь не крайних взглядов. Так, В. Грэфф пишет по этому поводу: «Классификации, обнаруживаемые в лингвистической структуре, бессознательны и практичны, но не логичны. Они создаются и употребляются инстинктивно, способствуя организации лингвистического материала и создавая удобную систему знаков для индивидуального выражения и социального общения.

Грамматисты не должны стремиться постулировать какие-либо категории, а затем искать их эквиваленты в соответствующих языках... Грамматические и логические классификации обычно расходятся» [445] 71.

Между этими двумя крайними позициями можно обнаружить большое количество промежуточных, даже приблизительное описание которых заняло бы слишком много места. Не вдаваясь в их перечисление, обратимся к свидетельству лингвистического материала, чтобы выяснить, в какой мере он оправдывает выводы описанных двух точек зрения.

Языковеды, занимающиеся вопросом отношения грамматических и логических (покоящихся на обобщении предметов действительности) категорий, обычно указывают на их расхождение. Так, если взять предложение<360> *Солнце всходит и заходит*, то грамматически оно выражено в формах настоящего времени, но его действие можно одинаково правомерно отнести и к настоящему, и к прошлому, и к будущему времени. Формами настоящего времени мы нередко описываем события, происшедшие в прошлом: *Иду я вчера по улице и встречаю своего знакомого*. Глагольные формы настоящего времени можно употреблять и для описания будущих действий: *Завтра я еду в Ленинград*. На различие между грамматическим и объективным временем указывает и неодинаковое количество временных форм в разных языках. В современном английском глагол имеет 12 временных форм (а в древнеанглийском их было всего 2), в немецком 6, в русском 3 (с видовыми модификациями), в арабском 2, а в некоторых языках глагол вообще не имеет временных форм (например, в языке вай, бытующем в Либерии, *nta* означает и «я иду», и «я шел», и «я буду идти»). В ряде языков временные различия носят весьма осложненный характер. Так, глагол ненецкого языка имеет две временные формы — одну специально для прошедшего времени и другую для обозначения настоящего, прошедшего и будущего (например, *илем* — «я живу», «я жил» и «я буду жить»). В некоторых языках временные значения не обязательно связываются с глаголом. В эскимосском языке Аляски *ningia* — «холод», «мороз» имеет прошедшую форму *ninglithluk* и будущую *ninglikak*: из *puvok* — «дым» можно образовать прошедшую форму *puyuthluk* — «то, что было дымом» и будущую *puuoqkak* — «то, что будет дымом» — слово, употребляемое для обозначения пороха

[446] 72. В языке хупа (язык американских индейцев) суффикс neen обозначает прошедшее время и употребляется как при глаголах, так и при именах: xontaneen — «дом в развалинах (бывший дом)», xoutneen — «его покойная жена (жена в прошлом)» и т. д. [447] 73.

Такие же несоответствия мы обнаруживаем и в числе. Употребляя в русском выражении *мы с тобой, вы с братом*, мы допускаем логическую нелепость, так как, <361> например, в выражении *мы с тобой* речь идет не о каком-то множестве (*мы*), к которому добавляется еще кто-то (*с тобой*), но это *мы* уже включает это добавление (*с тобой*). Так называемые вежливые формы обращения *Вы (Вам, Ваши и пр.)* и архаические *они, она* также обнаруживают противоречия между грамматической формой и реальным содержанием, что приводит и к нарушениям грамматического согласования: *Вы сегодня не такая как вчера* (вместо *не такие*). Неправильны с логической точки зрения и выражения типа *хорошее вино делают в Грузии, из рыбы мы едим только щуку и сазана* (ср. так называемое «неизменяемое» множественное число в английском manyfish и датском mangefisk — «много рыбы»). Логические неправильности в грамматическом выражении числа проявляются многообразными способами. Ср., например, такие несовпадения, как в англ. thereople, русск. люди и немецк. dieLeute. В современном исландском языке в einirsokkar — «пара носков» наличествует своеобразное множественное число от einn — «один». Сложно обстоит дело с обозначением парных предметов, например: очки — нем. eineBrille, англ. a pair of spectacles, франц. une paire de lunettes, датск. et par briller. В венгерском языке, когда по-русски говорят *у меня слабые глаза* (мн. ч.), *у него дрожат руки* (мн. ч.), существительные употребляются в единственном числе; а szemem (ед. ч.) gyenge, reszketakeze (ед. ч.). Такое употребление приводит к тому, что в отношении одного глаза или ноги вводится обозначение fél — «половина»: fél szemmel — «одним глазом» (буквально «половиной глаза»), fél láb barasbnta — «хромой на одну ногу» (буквально «хромой на половину ноги»).

Если обратиться к категории рода, то и в этом случае обнаруживаются прямые несоответствия, которые можно продемонстрировать на следующих сопоставлениях примеров из русского, немецкого и французского языков: солдат — der Soldat —

lesoldat (естеств. род. — мужск., грамм. род — мужск.); *дочь* — dieTochter — lafille (естеств. род — женск., грамм. род — женск.), *воробей* — derSperling — lecheval (естеств. род — женск. и мужск., грамм. род — мужск.), *мышь* — dieMaus — lasouris (естеств. род. — женск. и мужск., грамм. род — женск.), dasPferd (естеств. род — мужск. и женск., грамм. род. — средн.); dasWeib (естеств. род — женск., грамм. род — <362< средн.); *комната* — dieFrucht — latable (естеств. род — нет, грамм. род — женск.) и т. д. ^[448] 74.

В каждом языке можно обнаружить значительное количество подобных логических неправильностей и несоответствий. Они и дают некоторым языковедам основания для обвинения языка в нелогичности или даже алогичности. Но действительно ли примеры, подобные приведенным выше, оправдывают такой вывод?

При прямом сопоставлении логических и грамматических категорий между ними устанавливается значительное расхождение. Это обстоятельство дает основание утверждать только то, что грамматические значения никак нельзя отождествлять с логическими понятиями. Но значит ли это, что надо вдаваться в другую крайность и отрицать вообще всякую связь между логическими и грамматическими категориями? Если отказаться от прямолинейного сопоставления логических понятий и грамматических значений (что необходимо только для доказательства равнозначности грамматических и логических категорий), то такой вывод отнюдь не обязателен. Можно ли утверждать, что грамматические значения совершенно независимы от логических понятий и в той или иной мере не отражают эти последние? Для такого утверждения нет, конечно, никаких оснований. Если между понятиями и грамматическими значениями нет прямого параллелизма, то между ними нет и разрыва. Всякий раз, когда мы пытаемся осмыслить сущность грамматического значения, мы неизбежно приходим в конечном счете к понятию. Не случайно так трудно провести демаркационную линию между грамматическим и лексическим значением, а связь последнего с понятием совершенно очевидна.

Зависимость грамматических значений от понятий очень тонко подметил О. Есперсен. Описав на основании чисто грамматических признаков ряд синтаксических категорий, он пишет далее: «Мы установили все эти синтаксические понятия и категории, ни на минуту

не выходя за пределы сферы грамматики, но, как только мы зададимся вопросом, что за ними стоит, мы тотчас же из области языка вступаем во внешний мир (конечно, в той^{<363>} его форме, в какой он отражается в человеческом сознании) или в сферу мышления. Так, многие из перечисленных выше категорий обнаруживают очевидное отношение к сфере вещей: грамматическая категория числа совершенно ясно соответствует существующему во внешнем мире различию между «одним» и тем, что «больше одного»; чтобы осмыслить различные грамматические времена — настоящее, имперфект и т. д., — необходимо соотнестись с объективным понятием «времени»; различия трех грамматических лиц соответствуют естественному различию между говорящим человеком, человеком, к которому обращена речь, и человеком, находящимся вне данной речевой коммуникации. У ряда других категорий их совпадение с предметами и явлениями, находящимися за пределами языка, не столь очевидно. Поэтому-то так часто безнадежно запутываются те ученые, которые стремятся установить такое соответствие и, например, полагают, что грамматическое различие между существительным и прилагательным совпадает с различием внешнего мира между субстанцией и качеством, или пытаются построить «логическую» систему падежей и наклонений... Внешний мир, отражающийся в человеческом сознании, чрезвычайно сложен и поэтому не следует ожидать, что люди всегда находят наиболее простой и точный способ обозначения для мириадов явлений и всего многообразия существующих между ними отношений, о которых им надо сообщить друг другу. По этой причине соответствие между грамматическими категориями и категориями внешнего мира никогда не бывает полным и повсюду мы обнаруживаем самые необычные и курьезные переплетения и перекрещивания» ^[449] 75.

О. Есперсен правильно подметил зависимость грамматических категорий от логических (отражающих, как он говорит, категории внешнего мира, т. е. категории объективной действительности). Но его объяснение несовпадений между ними едва ли выдерживает критику. По О. Есперсену получается, что язык в «спешке» общения хватается за первый попавшийся и более или менее подходящий способ передачи нового содержания, который не всегда может оказаться наиболее удачным и^{<364>} адекватным этому передаваемому

содержанию. Такое объяснение отдает язык во власть слепой случайности и лишает процессы его развития всякой закономерности. Сам язык предстает в этом случае в виде более или менее хаотического нагромождения иногда удачных, а иногда неудачных «отражений» внешнего мира.

В предшествующем изложении уже многократно отмечалось, что язык представляет структуру, функционирование и развитие которой подчинены строгим закономерностям. Поэтому и отношения между грамматическими и логическими категориями покоятся не на цепи более или менее удачных или неудачных «встреч» явлений внешнего мира с языком, а на определенной закономерности, в известном смысле повторяющей ту, которая связывает понятие и лексическое значение (см. предыдущий раздел).

Выше приводились определения грамматического значения и грамматической категории. Из этих определений явствует, что грамматическое значение не существует независимо, а лишь в составе грамматической категории, образуя его «смысловую» сторону. Несмотря на то, что в грамматическом значении сосредоточиваются собственно логические элементы, на основании которых только и возможно соотносить его с объективными категориями «внешнего мира», оно именно в силу того, что существует только в составе грамматической категории в качестве его «внутренней» стороны, является чисто лингвистическим фактом и как таковой неизбежно должен отличаться от логического.

Ведь когда, например, мы имеем дело с грамматическими временами, мы сталкиваемся не с чистыми понятиями объективного времени. Понятие времени в данном случае только подоснова, на которой вырабатывается собственно лингвистическое явление, когда оно в составе языка приобретает «качество структурности» в том его виде, которое характерно для грамматической стороны языка. С помощью грамматических форм времени передается последовательность действий во времени — это от понятия объективного времени. Но в структуре языка временные формы выполняют наряду с этим и другие собственно языковые функции, упорядочивая языковой материал и включаясь в закономерные отношения, существующие внутри структуры языка. При этом очень часто они настолько тесно переплетаются с другими

грамматическими категориями, что употребление одной в обязательном порядке требует согласования с другой. В немецком, например, наличествует три формы прошедшего времени, которые обычно именуют имперфект, перфект и плюсквамперфект. Употребление их строго дифференцировано: изложение может проходить в формах имперфекта или перфекта, но это будет сопровождаться дополнительными смысловыми и стилистическими разграничениями. Область имперфекта — последовательное повествование, не содержащее утверждения; перфект, напротив того, подчеркивает определенное утверждение, и сфера его употребления — разговорная, более живая по своим интонациям речь, диалог. Плюсквамперфект не самостоятельная временная форма: он используется для разграничения последовательности действий, совершающихся в прошлом, и строго сочетается только с имперфектом: *Georg dachte an seine Brüder, besonders an seinen kleinsten, den er selbst aufgezogen hatte* Русский язык часто прибегает в этих случаях к использованию видовых значений: *Георг думал* (несов. вид) *о своих братьях, особенно о самом маленьком, которого он сам воспитал* (сов. вид). В русском языке временные формы глагола неотделимы от видовых, и когда это обстоятельство игнорируется, нарушаются законы функционирования структуры русского языка.

Прекрасным примером того, что в русском языке нельзя ориентироваться только на одну объективную временную отнесенность событий, а необходимо учитывать и их положение в структуре языка, сочетаемость с другими (видовыми) грамматическими категориями и собственно языковые функции, может служить следующий отрывок из изданной в Ужгороде (в 1931 г.) книги: «Старик, впрочем, был хорошим квартирантом. Наемное платил точно и повёл себя во всяком отношении честно. Раз в неделю приходила служанка и сделала в квартире порядок. Старик обедал в городе, но завтрак к вечеру приготовил себе сам. Иначе был аккуратный и точный, вставал утром в часов семь, а часов восемь оставил квартиру. Три часа провел в городе, но между одиннадцатью и часом дня всегда находился дома, когда часто принимал посетителей, впрочем очень странных. Приходили дамы и господа, частью хорошо одетые, частью же с сомнительной внешностью. Иногда и карета

приостановилась на углу улицы, выступил из нее господин, осматривался осторожно, потом залез в квартиру Баргольма» [\[450\]](#) 76.

Как уже указывалось выше, временные формы глагола могут употребляться даже во «вневременном» (абсолютном) значении: *Мы живем в Москве; Свет движется быстрее звука; Солнце восходит и заходит* и т. д.

Таким образом, как и в лексическом значении, понятие в грамматическом значении перерабатывается в лингвистическое явление, и, как в лексическом значении, «первичные» качества понятия используются в грамматических категориях для собственно языковых целей. Следовательно, исходными в данном случае являются понятия, а грамматические категории — производными от них. «В этих условиях, — пишет М. Коэн, — совершенно очевидным становится следующее: понятия отражаются в грамматических системах и воспроизводятся в них в большей или меньшей степени; не грамматические системы обуславливают возникновение понятий» [\[451\]](#) 77. Это утверждение М. Коэна подтверждается и наблюдениями над становлением грамматических категорий, отдельные из которых, несомненно, восходят к лексическим явлениям.

Отмеченные между грамматическими и лексическими значениями сходства не должны давать повод для заключения о их полной равнозначности. Равнозначными они не могут быть уже потому, что лексические и грамматические элементы выполняют в структуре языка отнюдь не одинаковые функции. Если они и имеют общие исходные элементы (понятие), то, получив специфические для разных сторон языка (лексика и грамматика) «качества структурности» и превратившись в лингвистические явления неоднородного порядка, они никак не могут быть тождественными по своим языковым качествам.

Но в лексических и грамматических значениях есть различия и внутреннего порядка. Как уже указывалось, в рождении лексического значения участвуют три силы: структура языка, понятие и предметная соотнесенность.<367>

Понятие находится в данном случае как бы в положении между структурой языка и предметом и, превращаясь в лексическое значение, испытывает воздействие с обеих сторон — со стороны структуры языка и со стороны предмета. Иное дело грамматическое значение.

Здесь фактически участвуют только две силы: структура языка и понятие, которое хотя и возникло в мире предметов, но затем «отмыслилось», абстрагировалось от них. Это обстоятельство и делает грамматическое значение малочувствительным к конкретным лексическим значениям слов, подключающихся под ту или иную грамматическую категорию. В этом случае обычно говорят о том, что грамматика устанавливает правила не для конкретных слов, а для слов вообще.

Суждение и предложение

Вопрос об отношении суждения и предложения — один из наиболее сложных и вместе с тем, пожалуй, наименее исследованных. Здесь более чем в какой-либо иной области путаются и взаимно подменяются языковые и логические явления и признаки. Но, с другой стороны, провести разграничивающую линию здесь сложнее и труднее, чем в других случаях взаимоотношений категорий языка и категорий мышления.

Как уже указывалось в предыдущем разделе, в данном случае приходится иметь дело со сложными, составными образованиями как в области языка, так и в области логики, и этим своим качеством данный вопрос отличается от разобранных выше вопросов о формах отношения языка и мышления. Соответственно с этим и общее направление исследования несколько меняется. На первый план здесь выступают законы построения суждения и предложения, их структурные компоненты и способы взаимосвязи. Немаловажным является в данном случае также и вопрос о функциях предложения и суждения. Ведь очевидно, что предложение, с одной стороны, нельзя отождествлять с языком вообще (а такое отождествление довольно часто), и с другой — предложение и суждение имеют перед собой неодинаковые цели, выполняют разные функции — даже по отношению друг к другу. Достаточно сказать, что, например, суждение не обязательно ставит перед собой задачи коммуникации,^{<368>} в то время как предложение не только не отделимо от этой функции, но наряду с функцией формирования мысли прямо поставлено на ее службу.

Конкретные решения вопроса об отношении суждения и предложения следуют в науке о языке по общим направлениям, выделенным уже выше. Одни ученые (логического направления) допускают прямое отождествление суждения и предложения. В русском языкознании к ним, например, примыкает Ф. И. Буслаев, который писал: «Суждение, выраженное словами, есть предложение»^[452] 78. Другие — к ним, например, относится А. А. Потебня — исходят из противоположной точки зрения. «Грамматическое предложение, — писал А. А. Потебня, — вовсе не тождественно и не

параллельно с логическим суждением» [\[453\]](#) 79. Существуют, разумеется, и менее категоричные по своим выводам точки зрения.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо прежде всего возможно более точно и определенно представлять себе, что такое суждение (и каковы его характерные черты) и что такое предложение (и каковы его характерные особенности).

Но тут сразу же возникают почти непреодолимые трудности: определений суждения и предложения такое количество и они так отличаются друг от друга, что уже сам выбор того или иного определения может привести к прямо противоположным конечным заключениям [\[454\]](#) 80. Критический разбор даже наиболее ходовых определений [\[455\]](#) 81 увел бы изложение далеко в сторону, поэтому в качестве отправных пунктов в дальнейшем будут использованы наиболее употребительные в советской науке.

Советские логики определяют суждение следующим образом: «Суждением, — пишет П. С. Попов, — называется мысль о предмете (или предметах), в которой посредством утверждения или отрицания раскрывается тот<369> или иной его признак или отношение между предметами» [\[456\]](#) 82. Несколько по-иному (однако не настолько, чтобы внести противоречия в последующее рассмотрение вопроса) определяется суждение в другой работе: «Суждение есть мысль, в которой утверждается или отрицается что-либо о чем-либо» [\[457\]](#) 83. К этому определению делается существенная оговорка: «В этом определении суждения как мысли, которое в основном совпадает с определением, данным Аристотелем, указывается отличительный признак формы суждения. Формальная логика изучает не все стороны суждения. Она занимается рассмотрением готовых суждений со стороны их структуры, а также тех вопросов, уяснение которых существенно для выявления структуры суждения» [\[458\]](#) 84. Эта оговорка направляет наше внимание на те вопросы, которые выше были формулированы как наиболее важные при изучении отношения суждения и предложения.

Основными чертами суждения являются: 1. Атрибутивный его характер. «По своему содержанию всякое суждение имеет атрибутивный характер, т. е. оно отображает принадлежность или непринадлежность признака предмету. При этом следует иметь в виду,

что под предметом суждения понимается все то, о чем мы что-либо утверждаем или отрицаем» ^[459] 85. 2. Способность отображать тождества и различия предметов. «Не существует не только предметов без признаков, но и признаков без предметов. Отсюда следует, что, утверждая или отрицая принадлежность признака предмету суждения, мы вместе с тем отображаем тождество или различие предметов действительности. Утверждая принадлежность признака предмету, мы отображаем тождество предмета суждения со всеми теми предметами, которые обладают указанным в суждении признаком. Отрицая принадлежность признака предмету, мы отображаем отличие предмета суждения от тех предметов, которые обладают указанным в суждении признаком» ^[460] 86. 3. Суждение — мысль, которая является либо истинной, либо ложной. «Так как то, что мы утверждаем (или отрицаем), мыслится в суждении как на самом деле присущее (или не присущее) предмету суждения, то в силу этого всякое суждение является либо истинным, либо ложным. Суждение истинно, если то, что в нем утверждается, действительно присуще, а то, что отрицается, не присуще тому, о чем идет речь в суждении. Суждение ложно, если то, что в нем утверждается, на самом деле не присуще, а то, что отрицается, присуще тому, о чем идет речь в суждении» ^[461] 87.

Таковы характерные черты суждения, определяемого как категория логики. Обратимся теперь к выяснению структуры суждения и элементов, из которых оно строится.

«Элементами суждения являются субъект, предикат и связка. Субъект есть знание о предмете суждения, предикат есть знание о том, что утверждается или отрицается о предмете: связка устанавливает, что мыслимое в предикате присуще или не присуще предмету суждения... Понятие «субъект суждения» необходимо четко отличать от понятия «предмет суждения». Предмет суждения — это то, о чем мы утверждаем или отрицаем что-либо в суждении. Субъект суждения — это понятие предмета суждения, т. е. понятие того, в отношении чего мы нечто утверждаем или отрицаем» ^[462] 88.

П. С. Попов называет субъект и предикат двумя основными элементами суждения, а связке он отводит следующую двойную роль: 1. связь между указанными двумя основными элементами суждения; 2. установление утверждения или отрицания мысли ^[463] 89.

Обратимся теперь для сопоставления к определениям грамматического предложения, его основных черт, структуры и структурных элементов.

Мы будем исходить из того определения, которое дает этому языковому явлению академическая «Грамматика русского языка»: «Предложение — это грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, выражения и сообщения мысли. В предложении выражается не только сообщение о действительности, но и отношение к ней говорящего. Язык как орудие общения и обмена мыслями между всеми членами общества пользуется предложением как основной формой общения. Правила соединения слов и словосочетаний в предложения — ядро синтаксиса того или иного языка. На основе этих правил устанавливаются разные виды или типы предложений, свойственные данному конкретному языку. Каждый конкретный язык обладает своей системой средств построения предложения как предельной целостной единицы речевого общения.

Каждое предложение с грамматической точки зрения представляет собой внутреннее единство словесно выраженных своих членов, порядка их расположения и интонации. Грамматические формы членов предложения специфичны для отдельного языка или группы родственных языков» [464] 90.

Что касается структурных членов предложения, то в нем, во-первых, выделяются главные члены (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (определение, дополнение и обстоятельство). Во-вторых, в зависимости от наличия в предложении обоих его главных членов или же только одного [465] 91, предложения могут быть двучленными, или двусоставными (*Ребенок гладит кошку*), и одночленными, или односоставными (*Светает, морозит* и пр.) Наконец, в отличие от логического строя мысли, который одинаков у всех народов, законы построения предложения значительно варьируются от языка к языку. «Один язык, — пишет в этой связи В. Энвисл, — осуществляет предикацию качества по отношению к субстанции посредством порядка субъект — предикат (СП), как арабский *Allahu'akbar* — «бог велик», или же порядка ПС, как в самоанском *uaamiotonuiealii* — «справедливы вожди». В китайском определительное прилагательное предшествует подлежащему, а

предикативное<372> следует за ним, но в малайском определение следует за подлежащим, а за ним после паузы идет предикативное. В русской орфографии эта пауза иногда обозначается через тире, хотя определительное прилагательное предшествует подлежащему и имеет отличное от предикативного склонение. Устанавливать связь между подлежащим и сказуемым можно при помощи семантического ослабления указательного местоимения, как в китайском и арабском, или же осуществлять предикацию посредством семантически ослабленных глаголов со значением «становиться», «стоять», «вызывать» и т. п. Точно так же, когда предложение составляется из субъекта, глагола и объекта (СГО), то порядок их следования может быть СГО, как во французском, английском и китайском, или ГСО, как в гэльском *bhuailiadamboard* — «они ударили по столу», или ГОС, как в испанском *batiy laretiradatodoelejrcitofrancýs* — «вся французская армия била отбой», или СОГ, как в латинском *Balbusmururnaedificat*. В языке может быть два или несколько таких порядков с некоторым варьированием смысла или же порядок может быть абсолютно безразличным, поскольку изменения форм слов достаточно ясно указывают на их отношения» [466] 92. Следует также отметить, что в качестве главных членов предложения не обязательно могут выступать только подлежащее и сказуемое. Так, например, в иберийско-кавказских языках, обладающих так называемой эргативной конструкцией, в качестве главного члена предложения выступает дополнение или объект (который, кстати говоря, в логическом суждении не выделяется). «Эргативная конструкция, — объясняет А. С. Чикобава, — состоит из переходного глагола и связанных с ним субъекта и объекта действия, причем реальный субъект — в специфическом падеже — эргативном или активном, ср. груз. *sxeni* (имен. п.) *gaqídamaman* (эргат. п.), аварск. *џи* (имен. п.) *bičanainsuca* (эргат. п.) с русск. *лошадь продал отец*, где объект (*лошадь, коня*) стоит в винительном падеже, а субъект (*отец*) — в именительном. Между тем в языках с эргативной конструкцией винительный падеж вообще отсутствует, и объект, как мы уже говорили, всегда стоит<373> в именительном падеже» [467] 93, т. е. именно в том падеже, который в языках номинативного строя характеризует подлежащее.

Установив таким образом характерные черты и особенности как суждения, так и предложения (разумеется, речь при этом может идти

только об основных и самых существенных моментах), постараемся теперь выяснить, что различает суждение и предложение и что их связывает.

Может быть, основное различие между предложением и суждением заключается в том, что конкретное содержание суждения, устанавливающее истинность или ложность мысли и, как было отмечено выше, являющееся для суждения определяющим моментом, не имеет никакого значения для предложения. Говоря языком грамматики, мы констатируем, что «конкретное содержание предложений не может быть предметом грамматического рассмотрения. Грамматика изучает лишь структуру предложения, типические формы предложений, присущие тому или иному общенародному языку в его историческом развитии» [468] 94. Говоря языком логики, мы устанавливаем, что предложение и его структура не имеют никакого отношения к тому, является ли выраженное им суждение истинным или ложным. Иными словами, предложение никак не может быть критерием или арбитром истинности суждения. Это происходит потому, что истинность суждения определяется согласием заключенного в нем знания с объектом материального мира действительности, а предложение и его структура не отражают знания черт, сторон, свойств и отношений объектов материальной действительности и, следовательно, не способны определять соответствия знания объекту. Обратный вывод был бы равносителен признанию того, что истинность определяется структурой языка (в частности, истинность суждения — структурой предложения), что язык, таким образом, обладает качеством метафизики (о чем говорилось выше) и что так как структура предложения различна, то и критерии истины<374> (а следовательно, и сама истинность) различны. А это представляется уже очевидной нелепостью.

Этот момент, различающий суждение и предложение, заслуживает самого внимательного к себе отношения в силу того, что он в настоящее время определяет целые лингвистические и философские концепции. Представители логического позитивизма — Р. Карнап [469] 95, Б. Рассел [470] 96, Ч. Моррис [471] 97 и др. — оказали в этом плане известное влияние на оформление ряда новых проблем в науке о языке. Так, например, Р. Карнап, способствовавший своими работами

предельной формализации логики, выдвинул тезис, что логика — это есть (или должна быть) синтаксис.

Ставя знак равенства между логикой и синтаксисом, Р. Карнап доказательство истинности того или иного суждения (т. е. логической категории) строит на основе формальных отношений, существующих внутри предложений (т. е. в языковой категории). Таким образом, предложение и различные его типы (как чисто формальная система исчислений или *calculus*) превращается в средство логического манипулирования, и истинность суждения определяется не согласием знания, фиксированного в суждении, с объектом, а посредством синтаксических формальных отношений.

Не следует думать, что зарубежные лингвисты целиком принимают теории логических позитивистов и свои лингвистические исследования строят на положениях, подобных изложенному выше. Скорее наоборот. На предпоследнем международном лингвистическом конгрессе (в Лондоне, 1–6 сентября 1952 г.), где этот вопрос был подвергнут специальному обсуждению, он с большей или меньшей уклончивостью решался почти всеми выступавшими в этой связи лингвистами отрицательным образом. Так, В. Хаас (Англия) заявил следующее: «От Аристотеля до наших дней анализ логического языка обычно путают с логическим анализом языка. Язык отличается от *calculus* как организм от машины. Логическая грамматика обеспечивает речи логическую структуру посредством ограничения: а) предложений до двух типов синтаксических структур — предикативной и реляционной, и б) слов до трех частей речи — субъекта, предиката и связки. Каждое предложение выражает определенный анализ (т. е. отбор известного количества особенностей или отрезков речи), а каждое слово указывает на отдельный отрезок, особенность или отношение. Если бы эти ограничения носили универсальный характер, ни один язык не мог бы быть живым. Синтаксис, сведенный только к соединению того, что дано в словах, перестал бы исполнять свое основное назначение, которое заключается в том, чтобы из ограниченного количества простых символов (слов) создавать безграничное многообразие сложных символов (предложений). Речь — творческий процесс, способный выражать то, что не выражено ни в одной ее части, ни в их совокупности. Предложения (из которых строится речь) раскрывают

регулярные типы взаимодействия составляющих их символов... Логическое понятие значения не соответствует действительным отношениям синтаксического взаимодействия» [472] 98.

«С моей точки зрения, — отметил Дж. Уотмоу (США), пожалуй, больше, чем кто-либо из лингвистов, приближающийся к позициям логического позитивизма, — не «синтаксис» создает логику (как считают одни), и «логика» не создает синтаксиса (как считают другие) — истина лежит где-то посередине между этими двумя крайними позициями, и язык и «мышление» взаимодействуют и формируют друг друга. Уорф, например, был неправ, когда заявлял, что ньютоновская физика — прямое следствие языка определенной структуры, как будто современная физика есть лингвистическое изобретение. Но, с другой стороны, не следует полагать, что наши языковые привычки не имеют ничего общего с логикой» [473] 99.

А. Вассерштайн (Англия) высказал еще более категорическую точку зрения: «Формальная логика имеет отношение к процедуре вывода заключения, но она не имеет отношения к истине. Другими словами, она имеет дело лишь с формой, но не с содержанием. Можно даже пойти еще дальше и утверждать, что логики исследуют не форму суждения как таковую, а форму процесса перехода от одного утверждения к другому. Истина, вне зависимости от того, как она определяется, не имеет к этому никакого отношения. Повторяем еще раз: форма и содержание раздельны и отличны. Лингвистика имеет дело и с формой и со значением... Значение, разумеется, совершенно отлично от истинности или соответствия фактам. Например, утверждение — *Этот стол сделан из шоколада* — неправильно, но оно имеет значение... В логике, далее, нет никакой связи между формой и содержанием; можно даже сказать, что в ней одна форма без содержания. В лингвистике, напротив того, форма и значение (содержание) нераздельны» [474] 100.

Таким образом, даже при очень различном понимании задач логики и синтаксиса можно с полной определенностью утверждать, что та характерная черта суждения, которая связана с утверждением его истинности или ложности, совершенно неприменима к предложению.

Обратимся теперь к другой характерной черте суждения — его атрибутивному характеру — и посмотрим, в какой степени она применима к предложению. Сюда же можно присоединить и ту

особенность суждения, что оно отображает тождества и различия предметов. Для того чтобы предложение способно было обладать атрибутивным характером и отображать тождества и различия предметов, оно должно иметь прямое отношение к своему содержанию, так как только в нем возможно выявление указанных двух качеств. Между тем, как уже отмечалось, содержание предложения не может иметь никакого отношения к его грамматическим качествам. Следует также отметить, что для осуществления атрибутивности (так же как и для выявления тождественности) необходимы минимум два члена — субъект и предикат (не говоря уже о связке), а предложения могут быть одночленными (*Морозит.*) и, следовательно, не обладать необходимым для осуществления суждения минимумом своих элементов. Подводя итог сопоставлению характерных черт суждения с особенностями предложения, мы не обнаруживаем между ними прямых параллелей. Характерные черты суждения целиком покоятся на соотнесении его с объектами материальной действительности и существующими между ними реальными отношениями. Предложение же (его структура) никакого отношения к ним не имеет.

Не менее существенные различия между суждением и предложением выявляются при обратном сопоставлении — приложимости особенностей предложения к суждению. Предложение, помимо отмеченной полной отреченности от реальных качеств явлений, о которых оно сообщает (т. е. от содержания сообщения), обладает рядом свойств, которые не находят никакого отражения в природе суждения. Возникающие здесь различия целиком покоятся на наличии у предложения коммуникативной функции, которой суждение не знает. Так, предложение не только сообщает определенное содержание, но и выражает отношение говорящего к этому содержанию (наклонения). В структуре предложения находят прямое отражение вопрос, волеизъявление, эмоциональные и стилистические качества. Совокупности всего этого, включаемого в прагматику, суждение лишено.

Быть может, среди состава членов предложения и суждения мы обнаружим больше сходств, поскольку именно они чаще всего отождествлялись друг с другом: субъект с подлежащим, предикат со сказуемым. Различия здесь прежде всего количественные: суждение

знает только три члена (субъект, предикат и связку), предложение же, помимо главных членов (которые только и поддаются отождествлению с указанными элементами суждения), обладает еще и второстепенными, которые не находят никакой параллели среди элементов суждения. Но и главные члены предложения очень часто показывают значительные отличия от элементов суждения. Цитированная уже выше «Логика» отмечает в этой связи: «... подлежащее и сказуемое предложения часто не совпадают с субъектом и предикатом суждения. В простом нераспространенном предложении *Стакан разбился* подлежащим будет *стакан*, а сказуемым *разбился*. Предикатом же здесь может быть как *разбился*, так и *стакан*. Если предметом суждения у нас был *стакан*, то тогда предикатом будет *разбился*. Если же предметом суждения был *предмет, который разбился*, то предикатом будет *стакан*, и мы скажем в таком случае: *стакан разбился*, выделяя ударением предикат суждения, либо: *разбился стакан*, выделяя предикат суждения не только ударением, но и постановкой его на второе место в предложении. Еще рельефнее несовпадение субъекта и предиката суждения со сказуемым и подлежащим предложения выступает в распространенных предложениях» [475] 101.

Приведенный пример с большой отчетливостью показывает, что различия членов предложения и суждения обуславливаются самыми качественными особенностями суждения и предложения и проистекающими отсюда отличиями функций их членов, в составе суждения, с одной стороны, в структуре предложения — с другой.

До сих пор мы говорили только об отличиях суждения и предложения и обнаружили между ними значительные расхождения. Эти расхождения дают нам основание утверждать, что совершенно неправомерно говорить об отождествлении суждения и предложения как в целом, так и отдельных их элементов (например, субъекта с подлежащим и предиката со сказуемым). Отсюда, далее, следует, что определение синтаксических явлений в терминах логики (весьма распространенный обычай), равно как и явлений логики в синтаксических терминах (как это делает, например, Р. Карнап) также неправильно.

Но значит ли это, что суждение и предложение представляют две независимые друг от друга величины, никак взаимно не соотносимые?

Этого никак нельзя утверждать по той простой причине, что суждение протекает в языковых формах, оно оперирует словами и опирается на их лексические значения. Таким образом, наличие связи между предложением и суждением нельзя подвергать сомнению, но эта связь имеет менее интимный и взаимопроникающий характер, чем, например, у понятия и грамматической категории. Она более свободна, так как суждение и предложение являются сложными образованиями, а закономерности их построения обуславливаются несхожими факторами и потому различны. По каким же линиям проходит взаимодействие суждения и предложения?<379>

Как только что указывалось, предложение (так же как и суждение) есть сложное образование и, по-видимому, настолько подвижное, что оно способно воспроизводить в общих чертах структуру суждения. А необходимость такого воспроизведения диктуется не только тем, что само суждение протекает в языковых формах, но также и тем, что предложение служит целям сообщения (чего не знает суждение). Уже по своим функциям, следовательно, предложение имеет перед собой более широкие задачи и соответственно располагает, как это было констатировано выше, более разнообразными средствами, большей сложностью своей структурной организации, большим количеством типов построения, большей гибкостью. Но все это также в определенных пределах. Ведь предложение строится из элементов языка — слов, которые несут на себе печать структурных особенностей языка; в известном смысле их даже можно рассматривать как порождение его структуры. Слова обладают лексическими значениями, на которые и опирается построение суждения, но лексическое значение — это собственно языковое явление, оно есть элемент лексической системы данного языка и во многом в своем конкретном семантическом качестве обуславливается особенностями этой лексической системы. Со словом связаны определенные грамматические категории, которые относят его в определенный разряд слов и устанавливают закономерности его использования, в соответствии с которыми, например, нельзя имя существительное использовать как глагол и обратно. В слове находят свое отражение и более общие структурные особенности языка — его агглютинативный, флективный или корневой (аналитический) строй. Именно поэтому законы построения предложения, выражающего

универсальную и не знающую никаких национальных модификаций структуру суждения, опираются на грамматические качества элементов (слов), из которых оно строится. Этим объясняется то общее, что мы обнаруживаем в структуре предложений разных языков, и то раздельное, что характеризует их как представителей определенных языковых структур.

Общее у них идет от универсальной природы суждения, которое стремится найти свое выражение в формах любого языка и накладывает определенный отпечаток³⁸⁰ на предложение. Следует при этом учесть, пожалуй, наибольшую сравнительно с другими частями языка эластичность предложения и его способность поддаваться внешним влияниям. История языков знает много случаев синтаксических влияний одного языка на другой (например, латинского на древнегерманские, среднегреческого на древнерусский, русского на мордовские и тюркские и т. д.). И как раз ассимиляционные качества предложения не в малой степени мешают построению сравнительно-исторического синтаксиса родственных языков.

Отдельное и частное у предложений идет от особенностей грамматической структуры языка. Эти особенности приводят к тому, что порядок построения предложения, как это было уже показано выше на примерах, значительно варьируется от языка к языку даже в пределах круга родственных языков. К этому следует добавить и ряд отмеченных дополнительных свойств предложения, обусловленных наличием в нем коммуникативной функции, которая имеет дело не только с мыслью, но и с чувством.

По сравнению с другими явлениями языка предложение обладает рядом специфических качеств. Оно отрешено от всякого рода, так сказать, «привходящих» свойств. Лексическое значение слова прямо направлено на предметы действительности, грамматические категории опираются на логические понятия и поэтому всегда имеют определенное «содержание», через посредство которого соотносятся с внешним миром (а иногда и с лексическими значениями слов). Иное дело предложение. Оно никак не соотносится с сообщаемым им содержанием и поэтому замкнуто внутренним, собственно языковым миром. Оно стремится повторить структуру суждения, но только его форму, а не «содержание». Совершенно очевидно, что когда слова

связываются в предложение, сама их связь осуществляется на основе их содержания (т. е. лексического значения), и если мы отвлечемся от лексических значений слов и позволим себе здесь произвол, то никакой действительной удобопонятной речи не получится. Но дело заключается в том, что когда мы связываем слова друг с другом на основе их лексических значений (т. е. их содержания), то и в этом случае действуют закономерности суждения, так как³⁸¹ только через посредство этих лексических значений суждение соотносится с миром объективной действительности. А без такого соотнесения суждение не способно проявлять те свои качества, которые и превращают его в суждение — устанавливать истинность или ложность мысли, тождественность или нетождественность явлений и пр. Но когда вступает в свои права предложение и начинает осуществлять связь слов, служивших опорой суждения, то она основывается не на лексических значениях слов. Предложение отвлекается от всякого их содержания и устанавливает между словами связь исключительно на основе грамматических качеств слов, из которых оно составляется. Можно сказать, что предложение не знает никакого «содержания» в указанном смысле, но только реализует грамматические качества конструирующих его слов.

Таким образом, и в данном случае, при разборе отношений суждения и предложения, мы опять-таки сталкиваемся с прямым взаимодействием категорий языка и мышления. Это взаимодействие носит специфический характер в силу сложного характера как предложения, так и суждения, но не вносит сколько-нибудь существенных изменений в принцип взаимоотношения категорий языка и мышления, в соответствии с которым язык, являясь орудием мысли, сам собой не создает логических величин.

История советского языкознания последних десятилетий складывалась таким образом, что ему стремились придать строго унифицированные формы. Сначала «новое учение» о языке, а затем догматизм культа личности допускали лишь одно единственное и обязательное решение важнейших, в том числе и сугубо специальных, частных проблем науки о языке. Этими решениями могли быть только те, которые постулировались указаниями «вождей» науки, и которые языковедам предлагалось рассматривать в качестве стоящих вне

влияния времени и развития науки. Для ряда советских лингвистов такое положение стало настолько привычным, что они и не мыслят себе иного, и поэтому первоочередную задачу<382> сегодняшнего дня советского языкознания, проходящего в борьбе мнений и переживающего творческий подъем, видят в поисках нового обязательного стандарта научных взглядов, а по сути дела — новой догмы. Такое понимание задач советского языкознания есть бесспорный пережиток недавнего прошлого и он находится в полном противоречии с интересами советской науки. В соответствии со сказанным изложенные в настоящей книге положения не следует рассматривать как такие, которые претендуют на положение нового непогрешимого канона. Как уже указывалось в предисловии, они выражают точку зрения автора, и если послужат лишь стимулированию дискуссии по затронутым вопросам, то и в этом случае оправдают публикацию книги.<383>

Примечания

1

Я.Гримм. О происхождении языка. «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков», составленная В. А. Звегинцевым. Учпедгиз, М., 1956, стр. 58. Далее дано: «Хрестоматия».

2

Там же, стр. 64.

3

Там же, стр. 61.

В.Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. «Хрестоматия», стр. 80

А.Шлейхер. Немецкий язык. «Хрестоматия», стр. 96.

6

В.Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. «Хрестоматия», стр. 68.

Цит. по кн.: В. Delbrück. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen, 6. Aufl., 1919, SS. 50—51

А.Потебня. Из записок по русской грамматике, чч. I–II, изд. 2.
Харьков, 1888, стр. 5.

9

Там же.

10

Там же, стр. 6.

Там же, стр. 7.

Ф. Ф. Фортунатов. Сравнительное языковедение (общий курс).
Избранные труды, т. I. Учпедгиз, М., 1956, стр. 111.

В.Поржезинский. Введение в языковедение, изд. 4. М., 1916, стр. 7.

Там же, стр. 129.

В. А. Богородицкий. Лекции по общему языковедению. Казань, 1911, стр. 4.

В. А. Богородицкий. Лекции по общему языковедению. Казань, 1911, стр. 105.

Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. ОГИЗ, М., 1933, стр. 40.

Обзор основных теорий знаковой природы языка см. в кн.: Н. Spang-Hanssen. Recent Theories on the Nature of the Language Sign. Copenhagen, 1954.

E. Benveniste. Nature du signe linguistique («Acta linguist.», I, 1939, pp. 23–29); Ch. Bally. Sur la motivation des signes linguistiques («Bull. de la Soc. de Linguist. de Paris», 1940, XLI, I, pp. 75–88).

V. Pisani. Allgemeine und vergleichende Sprachwissenschaft.
Indogermanistik. Bern, 1953, SS. 13–14.

Ñ_M. A. Nehring. The Problem of the Linguistic Sign. «Acta linguist.»,
1950, vol. VI, f. I

M.Sandmann. Subject and Predicate. Edinburgh. 1954, pp. 47–57.

См. ст.: N. Ege. Le signe linguistique est arbitraire. «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague», 1949, No. 5, pp. II—29. Л. Ельмслев правда, осложняет определение языка как системы знаков. В своих рассуждениях по этому поводу он первоначально констатирует: «То, что язык является системой знаков, представляется a priori очевидным и исходным положением, которое лингвистическая теория должна принять на самом своем раннем этапе». Затем, основываясь на том, что знак всегда что-то обозначает или указывает, а некоторые элементы языка (фонемы и слоги) не имеют значения, хотя и входят в состав собственно знаков (морфемы и слова), Ельмслев выдвигает понятие фигуры и пишет в этой связи: «Языки таким образом не могут описываться как чисто знаковые системы. По цели, обычно приписываемой им, они, конечно, в первую очередь знаковые системы, но по своей внутренней структуре они нечто иное, а именно системы фигур, которые могут быть использованы для построения знаков» (L. Hjelmslev. Omkring Sprogteoriens Grundlæggelse. Kshbenhavn, 1943, p. 43).²⁴ В чисто философском аспекте этот вопрос разбирается также в ст.; Л. О. Резников. Против агностицизма в языкознании. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз... 1948, вып. 5. См. также его работу «Понятие и слово». Изд-во ЛГУ. 1958.

Там же, стр. 78.

F.Kainz. Psychologie der Sprache, Bd. 1. Stuttgart. 1941, S. 81.

Е. М. Галкина-Федорук. Знаковость в языке с точки зрения марксистского языкознания. «Иностранные языки в школе», 1952, № 2, стр. 9.

К.Маркс. Капитал, т. 1. Госполитиздат, 1953, стр. 107.

Е. М.Галкина-Федорук. Ук. соч., стр. 8.

B.Delbruck. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen.
3. Aufl. Leipzig, 1893, S. 191.

См. в этой связи сб. «Speaking and thinking», «Acta psychologica». Amsterdam, 1954, vol. 10, No. I—2, а также работы: F. Kainz. Psychologie der Sprache, Bd. I—II. Wien.

Примеры взяты из журнала «Октябрь», 1953, № 9.

J.Grimm. Über den Ursprung der Sprache. Kleinere Schriften. Bd. 1. Berlin, 1864. S. 284. Этот так называемый «звуковой символизм» получил своеобразное применение и даже теоретическое обоснование в символической и декадентской поэзии.

Б. А. Серебренников. Сравнительно-исторический метод и критика так называемого четырехэлементного анализа. Сб. «Вопросы языкознания». Изд-во МГУ, 1950, стр. 146.

A.Gardiner. The Theory of Speech and Language. Oxford, 1932. p. 29.

А. И. Смирницкий. Объективность существования языка. Изд-во МГУ, 1954, стр. 27.

Думается, что нет надобности специально оговаривать такие явления как иностранные заимствования, которые, конечно, никак не могут поколебать общего принципа обусловленности языковых элементов.

Ф. деСоссюр. Курс общей лингвистики, стр. 81–82.

А.Мейе. Сравнительный метод в историческом языкознании. ИЛ, М., 1954, стр. 11–12.

W.Porzig. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets.
Heidelberg, 1954, SS. 54–55.

А. И. Смирницкий. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. Изд-во МГУ, 1955, стр. 45.

А.Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, М.—Л., 1938, стр. 69.

Ф. деСоссюр. Курс общей лингвистики, стр. 127.

Ф. деСоссюр. Курс общей лингвистики, стр. 129.

А. И. Смирницкий. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства, стр. 26.

Р. А. Будагов. Из истории языкознания. Соссюр и соссюрианство.
Изд-во МГУ, 1954, стр. 17.

См. Г. О. Винокур. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии. «Труды МИФЛИ», 1939, т. V; Р. Г. Пиотровский. К вопросу об изучении термина. Сб. «Вопросы грамматического строя и словарного состава языка», вып. 2. Изд-во ЛГУ, 1952, стр. 24.

Чаще всего здесь играют роль всякого рода ассоциативные представления. Но нередки примеры, когда термин создается и формируется на основе «обычного» слова, постепенно отрываясь от него, и в этом последнем случае возможны переходные явления. Наконец, возможны также и обратные образования, т. е. образования «обычных» слов от терминов (что, например, имеет место в случаях с плюсом и минусом). Вопрос о путях образования терминов, несомненно, заслуживает отдельного исследования и, конечно, не может быть рассмотрен в настоящей работе.

Как было указано выше, в действительности отношения знака и слова в данном случае строятся в обратном направлении: не знак замещает слово, а слово есть обозначение знака («знак знака», но, конечно, не в том смысле, в каком употребляет это выражение А. А. Потебня).

51 Например, в упоминавшейся выше статье Р. Г. Пиотровского «К вопросу об изучении термина».

52 J.Marouzeau. Lexique de la terminologie linguistique. 3 edit. Paris, 1951, p. IX.

53 См. ст.: В. В. Иванов. Лингвистические вопросы создания машинного языка для информационной машины. Сб. «Материалы по машинному переводу», вып. 1. Изд-во ЛГУ, 1958.

54 Y. R. Firth. A synopsis of linguistic theory. 1930—1955. Studies in Linguistic Analysis. Oxford, 1957, pp. 1–2.

55 Подробнее об этом см. ниже в разделе о закономерностях развития языков.

56 Ф. деСоссюр. Курс общей лингвистики, стр. 93.

57

57 Там же, стр. 88.

58 А. И. Смирницкий. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке. «Иностранные языки в школе», 1953, № 5, стр. 21–22.

59 А. И. Смирницкий. Так называемая конверсия и чередование звуков в английском языке. «Иностранные языки в школе». 1953, № 5, стр. 24; его же. По поводу конверсии в английском языке. «Иностранные языки в школе», 1954, № 3; его же. Лексикология английского языка. Изд-во лит-ры на иностр. яз., М., 1956, стр. 71–99.

60 Г.Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. ИЛ, М., 1959, стр. 323–324.

61 Материалы к IV Международному съезду славистов. «Вопросы языкознания», 1958, № 2, стр. 43

62 А. С. Чикобава. Введение в языкознание, ч.1, изд. 2. Учпедгиз, М., 1953, стр. 59.

63

63 Там же, стр. 55.

64 А. А. Реформатский. Введение в языкознание. Учпедгиз, М., 1955, стр. 24–25.

65 А. А. Реформатский. Введение в языкознание. Учпедгиз, М., 1955, стр. 24.

66 Там же, стр. 24–25.

67 Ср. следующее место из работы Й. Вахека: «Если язык определяется как система систем, такое определение прежде всего предполагает существование в языке нескольких уровней или планов, каждый из которых характеризуется специфической структурой и своими специфическими проблемами (в качестве наиболее важных планов обычно называют фонемный, грамматический и лексический). Но системный характер языка подразумевает не только факт, что любой подобный план образует более или менее уравновешенную (но никогда не абсолютную) систему. Несомненно более характерным для языка является то обстоятельство, что каждый из его планов более или менее тесно взаимосвязан с другими планами... А если все языковые планы взаимозависимы, отсюда логически следует, что изменение в одном плане может вызвать одно или несколько изменений в других планах данного языка» (J. Vachek. Notes on the development of language seen as a system of systems. Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. Rada jazykovědná, ročník VII, 1958, str. 94).

69 Р. Якобсон в свое время указывал на то, что статику и синхронию неправомерно рассматривать в качестве синонимов, так как во всякой синхронии присутствуют элементы диахронии. Довод Р. Якобсона скорее говорит в пользу утверждения о динамическом характере языка и неоправданности подхода к языку как явлению статическому, но не проводит никакого действительного разграничения между статикой и синхронией (См. ст.: R. Jakobson. *Prinzipien der historischen Phonologie*. «Travaux du Cercle linguistique de Prague», 1931 vol. 4, p. 264).

70 Искусственный характер понятия системы в применении к языку отлично понимал и Соссюр. Указывая на трудности статического изучения системы языка в определенном его состоянии, он пишет: «... «состояние» языка не есть математическая точка, но более или менее длинный промежуток времени, в течение которого сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Это может равняться десяти годам, смене одного поколения, одному столетию, даже больше... Абсолютное «состояние» определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, как бы ни мало, все же преобразуется, постольку изучать язык статически на практике значит пренебрегать маловажными изменениями...» («Курс общей лингвистики», стр. 104).

71 А. А. Реформатский. Принципы синхронного описания языка. «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР». М., 1957, стр. 10.

72 О необходимости «динамического» подхода к изучению языка с большой настоятельностью говорит В. М. Жирмунский, сохраняя, однако, нерасчлененность термина «система». Он пишет: «... пониманию «синхронии» как «статической лингвистики», характерному для Соссюра и его школы, мы противопоставляем рассмотрение языка как системы, которая находится в движении и развитии — как в целом, так и во всех своих частях, так что взаимоотношение между частями системы определяется не статическими противопоставлениями на горизонтальной плоскости, а динамически — законами движения системы и ее элементов» («О синхронии и диахронии в языкознании». «Вопросы языкознания», 1958, № 5, стр. 47). Как явствует из приведенных слов, также и терминологическое разграничение понятий «система» и «структура» (в применении к языку) необходимо уже из соображения ясности, так как обозначение через термин «система» по существу противоположных качеств (статичность и динамичность) может привести только к путанице.

73 A.Martinet. Linguistique structurale et grammaire comparee.
Travaux de l'Institute de linguistique, vol. 1. Paris, 1956, pp. 7—21.

74 A.Martinet. Op. cit., pp. 17–18.

75 F. deSaussur. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes. Leipzig, 1878.

76 A.Martinet. Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique. Bern, 1955.

77 Л.Ельмслев. Метод структурного анализа в лингвистике.
«Хрестоматия», стр. 419.

78 В. М. Жирмунский. О синхронии и диахронии в языкознании. «Вопросы языкознания». 1958, № 5, стр. 49.

79 См. картинное изложение такого разбора в популярной книге: Л. Успенский. Слово о словах. Детгиз, М... 1954, стр. 247 и далее.

80 А. А. Реформатский. Введение в языкознание, стр. 259.

81 Во избежание недоразумений следует оговориться, что сам Л. В. Щерба предлагал глокую куздру как эксперимент, как упражнение в абстрагировании грамматических моделей и никогда не выдавал это за «языковой факт». Интересно отметить, что к подобным же «модельным» грамматическим построениям прибегают лингвисты, стоящие на структурных позициях. Так, для доказательства наличия «структурного значения», независимого от «внеязыкового значения» Ч. Фриз предлагает следующую английскую «глокую куздру»: The vary kools dasaked the citar molently, которая «позволяет установить... субъект, объект и т. д., хотя читатель не понимает в этом предложении ни единого слова» (Ch. Fries. The Structure of English. N. Y., 1952. p. 197).

Л. В. Щерба. Что такое сравнительный метод в языкознании?
«Избранные работы по языкознанию и фонетике», т. 1. Изд-во ЛГУ,
1958. стр. 104.

А. И. Смирницкий. Сравнительно-исторический метод и определение языкового родства. Изд-во МГУ, 1955, стр. 11.

Ф. Бопп. Сравнительная грамматика. «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков», составленная В. А. Звегинцевым. Учпедгиз, М., 1956, стр. 30. Далее дано: «Хрестоматия».

O. Jespersen. Die Sprache. Heidelberg, 1925. S. 37.

Ф. Шпехт. «Индоевропейское» языкознание от младограмматиков до первой мировой войны. Сб. «Общее и индоевропейское языкознание». ИЛ, М., 1956, стр. 30–31.

К. Фосслер. Позитивизм и идеализм в языкознании.
«Хрестоматия», стр.294–295.

Там же, стр. 297.

Сб. «Вопросы методики сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков». Изд-во АН СССР, 1956, стр. 58.

См. Е. Д. Поливанов. Сб. «За марксистское языкознание». «Федерация», М., 1931.

Сб. «Против буржуазной контрабанды в языкознании». ГАИМК, 1932, где содержится полемика со всеми лингвистами, не разделявшими взглядов Н. Я. Марра.

Ряд его участников вошел позднее в «Леф».

См. посвященную этому книгу: V. Erlich. Russian Formalism. History, Doctrine. Hague, 1955.

Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании». Изд-во АН СССР, ч. 1, 1951; ч. II, 1952.

«Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР», 1953,
вып. 3.

16 См. Дж. Бонфанте. Позиции неолингвистики. «Хрестоматия».

17 А. В. Десницкая. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. Изд-во АН СССР, 1956, стр. 5.

18 Пути развития советского языкознания. «Вопросы языкознания», 1957, № 5. стр. 17.

19 См. материалы обсуждения работ И. И. Мещанинова, собранные в «Докладах и сообщениях Института языкознания АН СССР», 1953, вып. 3.

2 °См. В. В. Виноградов. Об основном словарном фонде и его словообразующей роли. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1951, вып. 3.

21 «Вопросы языкознания», 1953, № 1, стр. 8.

22 Н. В. Крушевский. Предмет, деление и метод науки о языке.
«Хрестоматия», стр. 242.

23 А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, М. — Л... 1938, стр. 447.

24 E. Cassirer. Structuralism in Modern Linguistic. «Word», 1945, vol. 1, No. 2, p. 120.

25 J. Mukařovský. Strukturalism v estetice a ve vědě i literatuře.
Kapitoly z České poetiky, I. Prague, 1941, str. 14–15.

26 Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. Paris, 1932. см.
статью под словом «forme».

27 Там же, см. статью под словом «structure».

28 В. Брёндаль. Структуральная лингвистика. «Хрестоматия», стр. 415.

29 Называя сравнительно-историческое языкознание и дескриптивную лингвистику важнейшими разделами науки о языке, Г. Глисон, например, говорит о сотрудничестве этих двух научных принципов: «Методы обеих дисциплин в принципе очень близки. Они различаются между собой в основном отбором материала, подлежащего изучению. Точные методы изучения языка были впервые разработаны именно сравнительным языкознанием. Поэтому дескриптивная лингвистика в области методики многим обязана сравнительному языкознанию. В свою очередь, чтобы добиться лучших результатов от применения метода, сравнительное языкознание обращается к дескриптивной лингвистике за фактическим материалом» (Введение в дескриптивную лингвистику. ИЛ, 1958, стр. 447). О соединении разных научных принципов и их сотрудничестве см. также: А. Martinet. *Linguistique structurale et grammaire comparée*. «Travaux de l'Institut de linguistique», 1956, vol. 1, p. 7, его же. *The Unity of Linguistics*. «Word», 1954, vol. 10. No. 2–3.

30 V. Pisani. *Linguistica generale e indoeuropea*. Milano, 1947, p. 13.

31 Л. Ельмслев. Метод структурного анализа в лингвистике. «Хрестоматия», стр. 423–424.

32 L. Hjelmslev. Omkring sprogteoriens grundlæggelse. København, 1943, p. 19.

33 См. О. С. Ахманова. Основные направления лингвистического структурализма. Изд-во МГУ, 1955; ее же. Глоссематика Ельмслева как проявление упадка современного буржуазного языкознания. «Вопросы языкознания», 1953, № 3.

34 Выражением такого рода смещения различных по своей сущности понятий является тот факт, что существует немало языковедов, которые целиком принимают фонологию и в то же время резко выступают против структурализма. А ведь фонология — кровное детище структурального подхода к изучению языка.

35 V. Pisani. August Schleicher und einige Richtungen der heutigen Sprachwissenschaft. «Lingua», 1955, v. IV, S. 349.

36 Сб. «Общее и индоевропейское языкознание». ИЛ, М., 1956, стр. 87.

37 B. Siertsema. A Study of Glossematics. Amsterdam, 1954.

38 E. Haugen. Directions in Modern Linguistics. «Language», 1951, v. 27, p. 216. Суммарную оценку глоссематики с учетом высказываний зарубежных языковедов см. в статье: В. А. Звегинцев. Глоссематика и лингвистика. Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М., 1960.

39 К сожалению, это не всегда делает С. К. Шаумян, в результате чего структуральная лингвистика выступает у него как методологически и методически целостное направление (с главной ориентацией на глоссематику). См. его работы: О сущности структурной лингвистики. «Вопросы языкознания», 1956, № 5; Структурная лингвистика как имманентная теория языка. Изд-во вост. лит., 1958. С другой стороны, А. И. Смирницкого можно определить как наиболее последовательного среди советских языковедов структуралиста в том здоровом смысле, который заслуживает данный термин, если его освободить от всех ложных идеологических напластований.

40 Интересно в этой связи привести суждение Дж. Бернала: «В настоящее время изучение научного метода идет гораздо медленнее, чем развитие самой науки. Ученые сначала находят что-то, а затем уже, как правило, безрезультатно размышляют о способах, которыми это было открыто» (Наука в истории общества. ИЛ, М., 1956, стр. 21). Приведенные примеры убеждают в справедливости этого суждения применительно к языкознанию.

41 Подробнее об этом см. вступительную ст. В. А. Звегинцева «Дескриптивная лингвистика» к кн. Г. Глисона «Введение в дескриптивную лингвистику». ИЛ, М., 1959.

42 К применению структурального принципа в исследовании отношений и контактов языков призывает, например, Hans Vogt (см. его ст. «Contact of Languages». «Word», 1954, vol. 10, No. 2–3). см. также работу: Weinreich. Languages in Contact. N. Y., 1953.

43 М.Коэн. Современная лингвистика и идеализм. «Вопросы языкознания», 1958, № 2, стр. 64.

44 В. В. Виноградов. О трудах И. В. Сталина по вопросам языкознания. «Правда», М., 1951, стр. 57.

45 Л. П. Якубинский. Несколько замечаний о словарном заимствовании. «Язык и литература», 1926, т. 1, вып. 1–2.

46 В. И. Абаев. Язык как идеология и язык как техника. «Язык и мышление», 1934, вып. II.

47 Р. Раск. Исследования в области древнесеверного языка.
«Хрестоматия», стр. 38.

48 В. И. Абаев. О взаимоотношении иранского и кавказского элемента в осетинском. «Осетинский язык и фольклор», I. Изд-во АН СССР, 1949, стр. 116.

129

49 Там же.

50 Из многочисленных статей М. Сводеша, посвященных этому вопросу, наиболее последовательно суть лексикостатистики излагают две следующие: *Lexico-statistic dating of prehistoric ethnic contacts*. *Proc. Am. Philos. Soc*, 1952, pp. 452–463. *Toward greater accuracy in lexicostatistic dating*. «*Intern. Journ. of Am. Ling.*», 1955, pp. 121–137. см. также изложение теории М. Сводеша в ст.: S. C. Gudschinsky *The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology)*. «*Word*», 1956, vol. 12, No. 2. В советском языкознании теоретический разбор положений М. Сводеша см. в ст.: В. А. Звегинцев. *Лингвистическое датирование методом глоттохронологии (лексикостатистики)*. Сб. «*Новое в лингвистике*», вып. 1, ИЛ, М., 1960.

51 Достаточно подробный обзор советских работ по проблеме основного словарного фонда см. в ст.: Н. А. Янко-Триницкая. О границах основного словарного фонда в словарном составе языка. «Вопросы языкознания», 1953, № 6, стр. 129.

52 H. Hoijer. Lexicostatistics: A critique. «Language», 1956. vol. 32, No. 1.

53 «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1959, т. XVIII, вып. 9, стр. 211.

54 Сб. ст. «Из трудов А. А. Шахматова по современному русскому языку». Учпедгиз, М., 1952, стр. 267.

55 А. А. Шахматов. Синтаксис русского языка. Учпедгиз, М., 1941, стр. 431–432.

56 А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Введение, изд. 2.
Харьков, 1888, стр. 25.

57 Примеры взяты из «Грамматики русского языка», т. 1. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 457–459.

58 См. также ст.: И. П. Мучник. О видовых корреляциях в системе спряжения глагола в русском языке. «Вопросы языкознания», 1956, № 6.

59 Для примера можно сослаться на работу: Y. Whatmough. Language. London, 1956, и его доклад на конгрессе лингвистов в Осло в 1957 г.

6 °См. А. А. Марков. Исследования замечательного случая зависимых испытаний. «Изв. Имп. акад. наук», сер. VI, 1907, т. 1. № 3; его же. Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина», иллюстрирующий связь испытаний в цепь, «Изв. Имп. акад. наук», сер. VI, 1913, т. VII, № 3; W. Boldrini. Le statistiche letterarie e fonemi elementari nella poesia. Milano, 1948; G. Yule. A Statistical Study of Vocabulary. Cambridge, 1944; F. Mariotti. Dante e la statistica delle lingue. Firenze, 1880.

61 A. Ross. Philological Probability Problems. «Statist. Soc.», Ser. B, vol. XII.

62 G. Herdan. Language as Choice and Chance. Groningen, 1956, p. 2.
Второе издание (1960 г.) называется «Type-token mathematics».

63 G. Herdan. *Language as Choice and Chance*. Groningen, 1956, p. 7. Ср. также следующее высказывание Дж. Уотмоу: «Предвзятое мнение, что лингвистика, физика, физиология и неврология полностью независимы друг от друга, — вот что препятствовало и все еще препятствует прогрессу, особенно в лингвистике. В действительности, они связаны друг с другом самым тесным образом. Но единственным видом унитарной теории, которая способна полностью осознать эту тесную связь, может быть только математическая». (J. Whalmough. *Mathematical Linguistics. Reports for the Eighth International Congress of Linguists*, vol. 1. Oslo, 1957, p. 218.)

64 Подробное перечисление литературы по квантитативной лингвистике см. в «Bibliographie critique de la Statistique linguistique». Revisée et complétée par T. D. Houchin, J. Puhvel et C. W. Watkins. Utrecht/Anvers. 1954; Общую дискуссию по вопросам математической лингвистики см. в «Actes du sixième congrès international des linguistes». Paris, 1949; В частности, доклады: Н. Spang-Hanssen. Remarks concerning the importance and methodology of quantitative investigations; и G. K. Zipf. Relative frequency and dynamic equilibrium in phonology and morphology, а также предварительные замечания М. Cohen, В. Pottier, М. Durand, А. Mecussen, А. Ross, J. Whatmough. Интересные соображения содержатся также в кн.: V. Belevitch. Langage des machines et langage humain. Bruxelles, 1956 и в докладе: J. Whatmough. Mathematical Linguistics. Reports for the Eighth International Congress of Linguists. Oslo, 1957 (см. также книгу этого же автора: «Language». London and New York, 1956). Обзор новейшей литературы о применении математических методов к лингвистической проблематике содержится в работе Р. Sgall. Nove Otázky matematických metod v azykovědě. «Slovo a slovesnost», rož. XX, 1959, № 1. Литературу на русском языке см. в ст.: Н. Д. Андреев и Л. Р. Зиндер. Основные проблемы прикладной лингвистики. «Вопросы языкознания», 1959, № 4. См. также ниже, стр. 149 данной работы.

65 Например: В. А. Morgan. German Frequency Word Book, N. Y., 1928; E. F. Hauch. German Idiom List. N. Y., 1929; F. W. Kaeding, Häufigkeitwörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, 1898 и др.

66 См., например: N. S. Eaton. Semantic Frequency List. Chicago, 1940.

67 Наиболее ясное изложение метода М. Сводеша см. в ст.: S. C. Gudschinsky. The ABC's of Lexicostatistics (Glottochronology). «Word», 1956, vol. 12, No. 2; а также: D. H. Hymes. Lexicostatistics so far. «Current Anthropology», 1960, January. На русском языке: В. А. Звегинцев. Лингвистическое датирование методом глоттохронологии (лексикостатистики). Сб. «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М., 1960.

68 W. Fucks. Mathematische Analyse von Sprachelementen, Sprachstil und Sprachen. Köln und Oplade, 1955, S. 18.

69 O. Jespersen. Die Sprache. Heidelberg, 1925, S. 105.

70 Terman. *The Measurement of Intelligence*, p. 226.

71 J. Mersand Chaucer's Romance Vocabulary. N. Y., 1935.

72 G. Herdan. Chaucer's autorship of «The Equatorie of the planetis». «Language», 1956, vol. 32, No. 2.

73 Н. Н. Yosselson. (Sect. V by W. Epstein). The Russian Word Count.
А. С. Пушкин «Капитанская дочка». Detroit, 1953.

74 W. Fucks. Mathematische Analyse von Sprachelemente, Sprachstil und Sprachen, SS. 33–58.

75 R. W. Brown. «Language», 1957, vol. 33, No. 2, p. 170.

76 Другие обобщающие работы менее пригодны для этой цели, так как более ограничены по охвату материала. Так, кн.: A. Booth, L. Brandwood and Y. Cleave. *Mechanical Resolution of Linguistic Problems*. London, 1958 — трактует только вопросы стилостатистики и машинного перевода. Богатая интересными мыслями работа В. В. Иванова «Лингвистические вопросы создания машинного языка для информационной машины» («Материалы по машинному переводу». Изд-во ЛГУ, 1958), хотя и выходит за пределы, обозначенные в названии, трактует рассматриваемые вопросы также в одном определенном аспекте.

77 M. Boldrini. Le statiche letterarie e i fonemi elementari nella poesia.
Milano, 1948.

78 V. Mathesius. Čeština a obecný jazykozpyt. Praha, 1947.

79 F. Mariotti. Dante e la statistica delle lingue. Firenze, 1880.

80 G. K. Zipf. Selected studies of the Principle of Relative Frequencies in Language. Harvard, 1932.

81 G. Dewey. Relative frequencies of English speech sounds. Harward, 1923.

82 G. Herdan. *Language as Choice and Chance*. Groningen, 1956, p. 67.

83 G. Herdan. *Op. cit.*, p. 67.

84 Уотмоу предпочитает рассматривать этот вопрос в несколько ином плане. Он пишет: «В действительности мы видим — статистически и математически — всеобщую лингвистическую регулярность, хотя, очевидно, некоторые индивидуальные лингвистические элементы не следуют регулярным законам — без всякого обращения при этом к метафизике. Язык подчинен регулярности, индивидуальные единицы языка обнаруживают варьирование в пределах этой регулярности. Вот и все». (J. Whatmough. *Mathematical Linguistics*, «Reports for the Eighth International Congress of Linguists», vol. 1. Oslo, 1957, p. 217.

85 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. ОГИЗ, М., 1933, стр.
38.

86 G. Herdan. Op. cit., p. 80.

87 G. Herdan. Op. cit., p. 101.

88 G. Herdan. Op. cit., p. 102.

89 C. Dewey. Relative frequencies of English speech sounds. Harward, 1923.

90 N.R.French. C.W. Carter and W.Koenig. Words and Sounds of Telephone Conversations. «Bell System Technical Journal», 1930, vol. 9.

91 H. H. Yosselson. Russian Word Count. Detroit, 1953.

92 G. Herdan. Op. cit., p. 121.

93 G. U. Yule. *A Statistical Study of Vocabulary*. Cambridge, 1944.

94 G. Herdan. Op. cit., p. 230.

175

95 Ibid., p. 251.

176

96 Ibid., p. 266.

97 A. Oettinger. Linguistics and mathematics. Studies presented to Joshua Wliatmough. The Hague, 1957, p. 185.

98 G. Herdan. *Op. cit.*, pp. 57–78.

99 G. Herdan. *Op. cit.*, pp. 294–295.

100 Ibid., pp. 291–292.

101 J. Whatmough. Mathematical Linguistics. «Reports for the Eighth International Congress of Linguists», vol. I. Oslo, 1957, p. 218.

102 A. Tarski. The semantic conception of truth and the foundation of semantics. Сб. «Semantics and the philosophy of Language». Urbana, 1952.

103 J. Whatmough. *Op. cit.*, p. 214. В этой связи не лишено интереса также заявление одного из зачинателей изучения языка математическими методами — Е. Бар-Хиллела, сделанное им на 8-м международном конгрессе лингвистов в Осло. Указав на необходимость проводить строгое различие между статистической лингвистикой и математической лингвистикой, он сказал: «Использование статистики в лингвистике дало в последнее время интересные результаты. Подсчеты абсолютных частот и выведение из них посредством элементарных арифметических операций относительных частот и подобных же данных дают некоторую полезную информацию о языках, хотя ее значение обычно преувеличивают. Коммуникационно-теоретическая модель языка оказалась применимой только в первом приближении, а значение статистической информации для установления грамматики языка, видимо: равно нулю. Использование других отраслей математики для лингвистического исследования несомненно находится в самом начале и имеет довольно неясные перспективы... Как бы ни было воспринятое мое признание, однако позвольте мне констатировать, что лично я с печалью гляжу на то, как рушатся многие из моих великих надежд, которые я пять лет назад возлагал на возможность влияния тогда еще новых концепций теории информации на лингвистику» («*Proceedings of the Eighth International Congress of Linguists*». Oslo, 1958, pp. 80–81).

104 R. W. Brown. «Language», 1957, vol. 33, No. 2, p. 180.

105 См. Д. Ю. Панов. Автоматический перевод. М., 1956; Д. Ю. Панов, А. А. Ляпунов, И. С. Мухин. Автоматизация перевода с одного языка на другой. Изд-во АН СССР, М., 1956; Сб. «Машинный перевод», перев. с англ. ИЛ, М., 1957; П. С. Кузнецов, А. А. Ляпунов и А. А. Реформатский. Основные проблемы машинного перевода. «Вопросы языкознания», 1956, № 5; Л. И. Жирков. Границы применения машинного перевода. «Вопросы языкознания», 1956, № 5; Т. Н. Молошная, В. А. Пурто, Н. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода. «Вопросы языкознания», 1957, № 1; «Материалы по машинному переводу», сб. I. Изд-во ЛГУ, 1958; «Сб. статей по машинному переводу». Изд-во Ин-та точной механики и вычислительной техники АН СССР, 1958. По теории информации см.: И. П. Долуханов. Введение в теорию передачи информации по электрическим каналам связи, 1955; А. А. Харкевич. Очерки общей теории связи, 1955; С. Голдман. Теория информации, перев. с англ. ИЛ, М., 1957; Л. Р. Зиндер. О лингвистической вероятности «Вопросы языкознания», 1958, № 2; Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику, гл. XIX («Процесс коммуникации»), 1959 и др.

106 E. V. Condon. Statistics of Vocabulary. «Science», 1928, vol. 67, p. 300.

107 G. K. Zipf. Human behavior and the principles of least effort. Cambridge, 1949.

У Звегинцева это соотношение приводится в виде простой дроби, где s — числитель, r — знаменатель (А. В.).

108 C. E. Shaffnon and W. Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949.

109 Г. Глисон. Введение в дескриптивную лингвистику. ИЛ, М., 1959, стр. 362.

11 °См. многочисленные статьи в «Бюллетене объединения по проблемам машинного перевода», издаваемом с 1957 г. Первым Моск. гос. пед. ин-том иностр. яз., и в журнале «Mechanical translation». Cambridge (Mass), который издается с 1954 г.

111 A. Oettinger. Linguistics and mathematics. «Studies presented to J. Whatmough», 1957, p. 181. В этой связи поучительно вспомнить, что работы вроде: A. L. Kroeber — C. D. Chrétien. Quantitative Classification of Indo — European Languages («Language», 1937, vol. 13, p. 83) — не смогли дать реальной основы для собственно лингвистической проблематики.

112 См. например, указание Ф. де Соссюра, как известно, делавшего особый упор на разделение синхронической и диахронической плоскостей языка, на одновременную самостоятельность и взаимозависимость этих плоскостей. (Курс общей лингвистики, стр. 93–95.)

113 См. В. А. Звегинцев. Проблема знаковости языка. Изд-во МГУ, 1956.

114 Весьма примечательны в этой связи признания Н. Д. Андреева и Л. Р. Зиндера, отстаивающих существование математической лингвистики: «...математическое представление (модель) языка отнюдь не тождественно самому языку и ни в коей мере не исчерпывает всего многообразия его свойств. При моделировании любого кода достаточно хорошо разработанная математическая модель может оказаться эквивалентной этому коду, поскольку последний, в конечном счете, исчерпывается соотношениями его элементов. Язык, как уже указывалось, есть нечто большее, чем код, и поэтому математическая модель может представлять лишь часть его сущности... С первых же шагов математической лингвистики обнаружилось, что данные о грамматическом строе, полученные классическими методами, не поддаются строгой математической обработке, так как они зачастую основываются не на формальных признаках, а на не всегда точно определяемых семантических критериях» («Вопросы языкознания», 1959, № 4, стр. 18). В свете сказанного становится непонятным и неоправданным утверждение авторов, что проникновение математических методов в лингвистику должно свидетельствовать о зрелости этой последней (там же). Уместно в связи с этим привести замечание Р. Уэллса. Соглашаясь в принципе с допустимостью математического подхода к изучению некоторых языковых явлений (в частности, значения), он пишет: «Но я не могу согласиться с теми людьми, которые полагают, что только математическая трактовка значения является научной. Не всякая научная трактовка обязательно должна быть математической, и не всякая математическая трактовка носит научный характер — вполне возможна неправомерная интерпретация ее результатов» (R. Wells. A Mathematical Approach to Meaning, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 15, 1957, pp. 135–136).

115 H. Spang-Hanssen. Remarks concerning the importance and methodology of quantitative investigations. Actes du sixième congrès international des linguistes. Paris, 1949, p. 380.

116 Н. Spang-Hanssen. Ответ на вопрос «С» о задачах и методах статистической лингвистики. «Actes du sixième congrès international des linguistes». Paris, p. 87.

117 Н. J. Uldall. Outline of Glossematics. «Travaux du Cercle linguistique deCopenhague», vol. XI. Copenhague, 1957, p. 18. В этой работе поднимается принципиально важный вопрос, имеющий прямое отношение к рассматриваемой проблеме, — о возможности применения количественных методов (точных наук) к изучению «качественных» явлений (входящих в компетенцию гуманитарных наук). Этот общеметодологический вопрос требует отдельного рассмотрения. Применительно к лингвистике он (и, в частности, вопрос о математическом моделировании языка) рассматривается в острой и в высшей степени поучительной рецензии сотрудника исследовательской электронной лаборатории Р. Б. Лиза. Он пишет: «... чересчур восторженные пророки советовали лингвистам, психологам, социологам и экономистам отдохнуть от их трудной работы, так как все неразрешимые проблемы в биологических, социальных и гуманитарных науках теперь можно переводить в более или менее простые математические выражения, содержащие элементы информации, и если они при этом походя не решаются, то могут быть передоверены блестящим новеньким электронным вычислительным машинам, которые легко справятся с тем, что затрудняет немощный человеческий мозг... Лингвистическая литература насыщена математическими и квази-математическими исследованиями; очень немногие представляют интерес, но преобладающее большинство бессмысленно и даже неверно. Для многих лингвистов невозможно понять эти исследования, так как они написаны темным и экзотическим языком. Очень часто страницы, состоящие из чисел и уравнений, отнюдь не знаменуют собой прогресса и только способствуют путанице идей» («Language», 1959, vol. 35, No. 2, p. 271).

118 Diderichsen. The Importance of Distribution versus other Criteria in Linguistic Analysis. «Report for the Eighth International Congress of Linguists», I. Oslo, 1957.

119 См. ст.: В. В. Иванов. Лингвистические вопросы создания машинного языка для информационной машины. Сб. «Материалы по машинному переводу», вып. 1. Изд-во ЛГУ, 1958.

12 °См. в этой связи также ст.: Л. С. Бархударов и Г. В. Колшанский. К. вопросу о возможностях машинного перевода. «Вопросы языкознания», 1958, № 1.

121 A. Martinet. *Economie des changements phonétiques*. Bern, 1955, p. 63.

- 1 Б. Дельбрюк. Введение в изучение языка. СПб., 1904, стр. 13.

2 А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Соцэкгиз, М.-Л., 1938, стр. 64.

3 R. Jakobson. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 1936, VI, а также: Р. О. Якобсон. Морфологические наблюдения над славянским склонением. 'S-Cravenhage, 1958 (Preprint).

- 4 R. Jakobson. Kindersprache, Aphasie und Lautgesetze. Uppsala. 1941.

5 B.Trnka. General Laws of Phonetic Combinations. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 1936, VI, p. 57.

6 Ср. финск, *lyijy* «свиней.», польск, *jezdziec* «наездник», хайда *suus* «говорит» и многочисленные примеры из пракрита: *aara* «почтение», *iisa* «такой», *raava* «дерево», *raasa* «молоко», *saa* «всегда» и т. д. (N. S. Trubetzkoy. *Grundzüge der Phonologie*. Göttingen, 1958, S. 221).

7 N. S. Trubetzkoy. Grundzüge der Phonologie, SS. 220–224. Относительно всеобщих законов см. также: A. Haudricourt. Quelques principes de phonologie historique. «Travaux du Cercle Linguistique de Prague», 1939, VIII; G. Zipf. Human Behavior and the Principle of Least Effort. Cambridge Mass., 1949.

8 A. Martinet. *Economic des changements phonétiques*. Berne, 1955, § 4, 74. Следует, однако, отметить, что сам принцип экономии в фонетических изменениях, который А. Мартине защищает в своей книге, в сущности также является универсальным законом. Хотя автор при этом стремился освободиться от априоризма и опереться на материал конкретных языков, он все же настаивает на всеобъемлемости своего принципа и, таким образом, в этом отношении мало чем отличается от Н. Трубецкого и Р. Jakobsona, которых он подвергает критике.

9 Б. Трнка и др. К дискуссии по вопросам структурализма. Впервые опубликовано в журнале «Вопросы языкознания», 1957, № 3. Цит. по кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. II. Учпедгиз, М., 1960, стр. 100.

10 Jos. Schrijnen. Einführung in das Studium der indogermanischen Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1921, S. 82.

11 H. Hirt, — H. Arntz. Die Hauptprobleme der indogermanischen Sprachwissenschaft. Halle (Saale), 1939, S. 17. Вопросы о звуковых законах и их сущности посвящена целиком книга: К. Rogger. Vom Wesen des Lautwandels. Leipzig, 1933, а также работы: Е. Hermann. Lautgesetz und Analogie, 1931; Wechsler. Giebt es Lautgesetze? Festgabe für H. Suchier, 1900.

12 Трактовку этого вопроса с теоретических позиций Н. Я. Марра содержит ст.: В. И. Абаев. О фонетическом законе. «Язык и мышление», 1933, вып. 1.

13 Н. Я. Марр. Избранные работы, т. 2. Соцэкгиз, М., 1934, стр. 117.

14 В своих общих истоках это понятие восходит еще к В. Гумбольдту, утверждавшему, что своего завершения язык достигает при «соединении звуковой формы с внутренними законами языка». «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX вв.», составленная В. А. Звегинцевым. Учнедгиз, М., 1956, стр. 86. Далее дано: «Хрестоматия».

15 Заслуживает быть отмеченным, что она положительно оценена и зарубежной наукой о языке. См., например, ст.: R. L'Hermitte. Les problemes des lois internes de developpement du langage et la linguistique sovietique Сб. «Linguistics Today». N. Y., 1954.

16 Такова, например, работа: В. В. Виноградов. Понятие внутренних законов развития языка в общей системе марксистского языкознания. «Вопросы языкознания», 1952, № 2; В. А. Звегинцев. К понятию внутренних законов развития языка. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1951, № 4.

17 Такова, например, работа: В. М. Жирмунский. О внутренних законах развития немецкого языка. «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», вып. V, 1953.

18 П. Я. Черных. Историческая грамматика русского языка.
Учпедгиз, М., 1954, стр. 107.

19 Следует отметить, что именно это качество общих законов языка отличает их от универсальных законов (см. раздел «Лингвистические законы»), которые стремятся установить некоторые лингвисты (В. Брёндаль, Л. Ельмслев).

20 Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. ОГИЗ, М., 1933, стр. 40.

21 См., например: N. Chomsky. Syntactic structures. 'S-Gravenhague, 1957.

22 Нельзя не отметить, что имеющие к данной проблеме прямое отношение теории К. Бюлера, А. Марти и Л. Ельмслева отрицательно характеризуются априорностью и не смогли найти применения к конкретным языкам.

23 L. R. Palmer. An introduction to modern linguistics. Tokyo, 1943, pp. 178–179. См. также сопоставительное описание различий французского и немецкого языков во второй части книги: Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка. ИЛ, М., 1955.

24 A. Schleicher. Über die Bedeutung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen. Weimar, 1865, S. 27.

25 A. Schleicher. Sprachvergleichende Untersuchungen. Предисловие.
Bonn, 1848.

26 Новое и оригинальное понимание принципа экономии, управляющего развитием языка, представлено в работе А. Мартине, который рассматривает этот вопрос с позиций функциональной лингвистики (см. русский перевод его книги «Принцип экономии в фонетических изменениях». ИЛ, М., 1960).

27 H. Osthoff. Die Physiologic und psychologische Moment. Berlin, 1879, S. 19.

28 Ж. Вандриес. Язык. Соцэкгиз, М., 1937, стр. 316.

29 B. Collinder. Analytische Sprachentwicklung und linguistische Teleologie. «Nielvtudomány Közlemények», 1956, t. 50, str. 51–63.

3 °См. также ст.: С. Д. Кацнельсон. Прогресс языка в концепции индоевропеистики. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1940, № 3.

31 Э. Вессен. Скандинавские языки. ИЛ, М., 1949, стр. 93–95.

32 См., например, ст.: И. А. Бодуэн де Куртене. Некоторые общие замечания о языковедении и языке. «Журнал Министерства народного просвещения», 1871.

33 См. Ф. де Соссюр. Курс общей лингвистики. «Общие принципы». ОГИЗ. М., 1933.

34 Институт языкознания АН СССР посвятил этой проблеме специальную сессию в 1957 г. Сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». Изд-во АН СССР, 1960.

35 E. Coseriu. Sincronia, diacronia e historia: el problema del cambio linguistico. Montevideo, 1958, I, 33. 2. Данная работа подвергает тщательному и трезвому анализу всю совокупность вопросов, связанных с проблемой взаимоотношений диахронии и синхронии, и, пожалуй, является наиболее основательной. В ней приводится и обширная литература, посвященная этой проблеме. Изложение основных положений работы Э. Косериу см. N. C. W. Spence. Towards a New Synthesis in Linguistics: The Work of Eugenio Coseriu. «Archivum Linguisticum», 1960, No. 1.

36 Он пишет по этому поводу: «Абсолютное «состояние» определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, как бы ни. мало, все же преобразуется, постольку изучать язык статически на практике значит пренебрегать маловажными изменениями» («Курс общей лингвистики», стр. 104). Неясным остается только, какие изменения в языке следует считать важными и какие маловажными.

37 Ш. Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка.
ИЛ, М., 1955, стр. 29.

38 И. А. Бодуэн де Куртене. Некоторые общие замечания о языковедении и языке. Цит. по кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, ч. I. Учпедгиз, М., 1960, стр. 241.

39 Нередко взаимоотношение функционирования и развития рассматривают как взаимоотношение речи и языка. Предпосылкой такого рассмотрения является в известной мере положение о развитии как форме существования языка. «В каждый данный момент, — говорил в своё время Ф. де Соссюр, — речевая деятельность предполагает и установившуюся систему и эволюцию; в любую минуту язык есть и живая деятельность и продукт прошлого» («Курс общей лингвистики», стр. 34). Несколько ниже мы находим у него следующие соображения о зависимости языка и речи: «Без сомнения, оба эти предмета тесно между собою связаны и друг друга взаимно предполагают: язык необходим, чтобы речь была понятна и производила все свое действие; речь, в свою очередь, необходима для того, чтобы установился язык; исторически факт речи всегда предшествует языку... Явлениями речи обусловлена эволюция языка: наши языковые навыки видоизменяются от впечатлений, получаемых при слушании других. Таким образом устанавливается взаимозависимость между языком и речью: язык одновременно и орудие и продукт речи. Но все это не мешает тому, что это две вещи совершенно различные» (там же, стр. 42).

4 °Своеобразное преломление этого принципа имеет место в так называемой коммутации, составляющей одно из положений глоссематики Л. Ельмслева (см. L. Hjelmslev. Omkring spragteoriens grundlæggelse. Kshbenhavn, 1943). Изложение существа коммутации см. в ст.: С. К. Шаумян. О сущности структурной лингвистики. «Вопросы языкознания», 1956, № 5. Однако коммутация выполняет иные функции и выступает в ином теоретическом контексте, нежели данный принцип двуплановости элемента языка.

41 J. R. Kantor. *An Objective Psychology of Grammar*. Indiana Univ. Blumington, 1936.

1 Р. Раск. Исследования в области древнесеверного языка. «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков», составленная В. А. Звегинцевым. Учпедгиз, М., 1956, стр. 36. Далее дано: «Хрестоматия».

2 Я. Гримм. О происхождении языка. «Хрестоматия», стр. 64.

246

3 Там же, стр. 61.

4 Ж. Вандриес. Язык. Соцэкгиз, М., 1937, стр. 322.

248

5 Там же, стр. 221.

6 См. разбор концепции исторического изучения языка в работе: А. С. Чикобава. К вопросу об историзме в языкознании. Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. 2. Изд-во АН СССР, 1952. См. также ст.: В. И. Абаев. История языка и история народа. Сб. «Вопросы теории и истории языка». Изд-во АН СССР, 1952.

7 E. Benveniste. Tendances récentes en Linguistique général. «Journ. de Psychologie normal et Pathologique», 1954, jan. — juin, p. 142.

8 M. Cohen. Social and Linguistic Structure. «Diogenes», 1956, No. 15.
pp. 42–43.

9 Интересные мысли по этому вопросу содержатся в последней работе А. Мартине «Elements de linguistique generale». Paris, 1960, pp. 34–35. Впрочем, эти мысли частично противоречат научной практике самого автора.

253

10 Ж. Вандриес. Язык. Стр. 257.

11 U. Weinreich. Languages in Contact. N. Y., 1953, p. 1. Историю вопроса см. в кн.: К.-Н. Schonfeld. Probleme der Völker- und Sprachmischung. Halle (Saale), 1956.

12 Это понятие сам Бартоли определял как «два слоя сосуществующих языков, из которых ни один не господствует над другим». M. Bartoli. Substrato, superstrato, adstrato. «Rapports au 5-me Congres international des linguistes». Bruges, 1939, pp. 59–65.

13 Joh. Schmidt. Die Verwandschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Weimar, 1872.

14 Дж. Бонфанте. Позиция неолингвистики. «Хрестоматия», стр. 307.

15 В. Пизани. Общее и индоевропейское языкознание. Сб. «Общее и индоевропейское языкознание». ИЛ, М., 1956, стр. 112–113.

16 N. S. Troubetzkoy. Gedanken über das Indogermanenproblem. «Acta linguistica», 1939, vol. 1, SS. 81–89. Русский вариант этой статьи под названием «Мысли об индоевропейской проблеме» помещен в журнале «Вопросы языкознания», 1958, № 1. Весьма основательным образом вопрос о языковых союзах трактуется в работе: Н. Becker. Der Sprachbund. Berlin, 1948. См. также: R. Jakobson. Franz Boos Approach to Language. «International Journal of American Linguistics», 1944, vol. X, pp. 188–195.

17 Дж. Бонфанте. Ук. соч., стр. 306.

18 Э. Сепир. Язык. Соцэкгиз, М, 1934, стр. 162.

19 W. v. Wartburg. Die Ausgliederung der romanischen Sprachräume.
Bern, 1960, S. 155.

20 Там же, стр. 104. В статье, напечатанной в 1939 г. («Die frankische Siedlung in Nordfrankreich im Spiegel der Ortsnamen». ZRPh., Bd. 59, S. 285), В. Вартбург пишет, что «французский — это особая форма романского, созданного франками и возникшего в их устах».

21 W. Humboldt. Ueber das vergleichende Sprachstudium. Gesammelte Werke, Bd. III, 1843, S. 6.

22 Y. H. Bredsdorff. Om aarsagerne til sprogenes forandringer, 1821.

23 G. Y. Ascoli. Sprachwissenschaftliche Briefe. Leipzig, 1887, S. 16.

24 Hirt-Arntz. Indogermanica. Halle, 1940, S. 13.

25 V. Brønda1. Substrater og laan i romansk og germansk. København, 1917.

26 В. Георгиев. Проблемы минейского языка. София, 1953.

27 Материалы сессии опубликованы в IX выпуске «Докладов и сообщений Института языкознания». Изд-во АН СССР, 1956.

28 В. И. Абаев. О языковом субстрате. «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», вып. IX, стр. 59.

29 Проблема двуязычия в последние 60 лет стала одной из основных, привлекая к себе все больше и больше внимания. Опубликованная в 1939 г. работа: G. Schliebe. *Schriftumsschau zur Psychologie der Zweisprachigkeit*. «Deutsches Archiv für Landes-und Volksforschung», SS. 475–488 дает библиографический список сравнительно небольшого количества работ по этой проблеме; монография U. Weinreich. *Languages in Contact*, 1953 — уже 660 названий, а книга: E. Naugen. *Bilingualism in the America*, 1956 — 670 названий. Помимо указанных работ следует в данной связи назвать еще следующие: E. Blocher. *Zweisprachigkeit, Vorteile oder Nachteile*. Langensalza, 1909; W. F. Leopold. *Speech Development of a Bilingual Child*, 4 vols. Evanston, 1939–1950; D. J. Saer, F. Smith, J. Hughes. *The bilingual Problem*. Wrexham, 1924; A. v. Weiss. *Hauptprobleme der Zweisprachigkeit*. Heidelberg, 1959.

30 B. Terracini. Sostrato. Scritti in onore di A. Trombetti. Milano, 1936, pp. 321–364. См. также работу: Л. В. Щерба. Sur la notion de melange des langues. «Яфетический сборник», 1925, V, стр. 1—19. Перевод этой работы под названием «О понятии смешения языков» помещен в книге: Л. В. Щерба. Избранные работы по языкознанию и фонетике, т. I. Изд-во ЛГУ, 1958, стр. 40.

31 В.Пизани. Общее и индоевропейское языкознание. Стр. 115–116.

32 В. И. Абаев. О языковом субстрате. Стр. 60.

33 И. А. Бодуэн де Куртене. О смешанном характере всех языков. «Журнал Министерства народного просвещения», 1901.

34 Г. Шухардт. Избранные статьи по языкознанию. ИЛ, М., 1950, стр. 175.

278

35 Там же, стр. 177.

36 Дж. Бонфанте. Позиция неолингвистики. «Хрестоматия», стр. 309.

37 С. Б. Бернштейн. К проблеме языковых смешений. Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании» ч. 2. Изд-во АН СССР, 1952. стр. 291–292.

38 Данный номер сноски в книге пропущен (А. В.).

39 G. Meyer. Etymologisches Wörterbuch der albanischen Sprache, 1891.

40 H. Hübschmann. Armenische Grammatik. Strassburg, 1897.

41 См. А. А. Холодович. Строй корейского языка. Изд-во ЛГУ, 1938, стр. 15.

42 O. Jespersen. Growth and Structure of the English Language.
Leipzig, 1935, p. 87.

43 Я.Гримм. О происхождении языка. «Хрестоматия», стр. 53.

44 К. Бруннер. История английского языка, ч. 1. ИЛ, М., 1955, стр.127.

45 Zb. Golab. The conception of «isogrammatism». Biuletyn Polskiego towarzystwa jezykoznawczego, 1956, t. XV, str. 7.

46 Об изоморфизме говорил еще в 1949 г. Е. Курилович. См. его статью «La notion de l'isomorphisme». «Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague», V, Recherches Structurales, 1949. Он определял изоморфизм как «глубокий структурный параллелизм разных уровней языка».

47 A. Schleicher. Zur Morphologie der Sprache. «Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. Petersb.», ser. VIII, t. I, n°. 7. Отдельным оттиском статья вышла в 1859 г. В русском издании А. Шлейхер публиковал свою статью в качестве члена-корреспондента Российской Императорской академии наук. Добавления к этой статье были помещены Шлейхером в «Beitrdge zur vergleichenden Sprachforschung», Bd. II, SS. 460–463. См. также: П. С. Кузнецов. Морфологическая классификация языков. Изд-во МГУ, 1954.

48 Zb. Golałb. Op. cit., str. 8.

49 См. дискуссию по этому вопросу между А. Мейе и Г. Шухардтом, которая нашла свое отражение в работах: А. Meillet, *Le problème de la parenté des langues*. «Scientia» («Rivista di scienza»), 1914, XV, pp. 403–425; его же. *Les parentés de langues*. «Bull. de la société de linguistique de Paris». 1921, XXI, pp. 9—15 (обе статьи перепечатаны в первом выпуске сборника статей А. Мейе «Linguistique historique et linguistique générale». Paris, 1921); Н. Schuhardt. *Zur methodischen Erforschung der Sprachwissenschaft*, II, «Nordisk Tidsskrift for Filologi», ser. 4, VI, 1914, SS. 145–151; его же. *Sprachverwandschaft*. «Sitzungsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften», 1917, SS. 518–529. Аналогичная полемика разгорелась в наши дни. См.: D. Taylor. *On the Classification of Creolized Languages*. «Word», 1956, vol. 12, pp. 407–414; R. A. Hall. *Creolized Languages and «Genetic Relationships»*, а также: U. Weinreich. *On the Compatibility of Genetic Relationship and Convergent Development*. «Word», 1958, vol. 14, pp. 367–373 и 374–379. В советской лингвистической литературе последнего времени (до 1950 г. данный вопрос находился под влиянием концепции Н. Я. Марра) этой проблеме посвящена большая статья: А. Долгопольский. *Против ошибочной концепции «гибридных» языков*. «Уч. зап. 1 Моск. гос. пед. ин-та иностр. яз.», 1955, вып. VII, стр. 29–60.

50 H. Schuchard. «Zeitschr. für romanische Philologie». Bd. 33, S. 442.

51 O. Jespersen. Die Sprache. Heidelberg. 1925. S. 215.

52 O. Jespersen. *Op. cit.*, S. 205.

53 Источником для этого описания послужила работа: W. Churchill. Beach-la-mar, the Jargon or Trade Speech of the Western Pacific. Washington, 1911 — и материалы, собранные О. Есперсеном в книге «Язык» («Die Sprache»).

54 Ср. известный стих Тредиаковского: «Стоит древесно, К стене примкнуто, Звучит чудесно, Быв пальцем ткнуто».

55 Р. Раск. Исследования в области древнесеверного языка
«Хрестоматия», стр. 37.

56 E. Seidel. Das Wesen der Phonologie. Kopenhagen — Bukarest, 1943, S. 40.

57 Al. Rosetti. Contributie la o istorie științifică a limbii române. Influența limbilor slave meridionale. Bukarest, 1950, p. 38.

58 E. Petrovici. Corelatia de timbru a consoanelor dure și moi în limba română. «Studii și cercetări lingvistice», 1950, I, p. 172; Corelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba română «Studii și cercetări lingvistice», 1952, III, p. 180;? особенности же см. работу «Kann das Phonemsystem einer Sprache durch fremden Einfluss umgestaltet werden?» 'S-Gravenhage. 1957.

302

59 Последняя из указанных работ, стр. 43.

60 W. D. Whitney. *Language and the Study of Language* N. Y., 1868, p. 199.

61 A. Meillet. Linguistique historique et linguistique générale, v. I. Paris, 1921, p. 82.

62 E. Sapir. *Language*. N. Y., 1927, p. 217.

63 H. Schuchardt-Brevier. Halle, 1928, S. 195.

64 Al. Rosetti. Langue mixte et mélange des langues. «Acta linguistica», 1945–1949, vol. V, p. 73.

65 U. Weinreich. *Languages in Contact*. N. Y. 1953, p. 42.

66 О. Есперсен, очевидно, имеет здесь и виду установленный Э. Виндишем закон, в соответствии с которым процессам смешения подвергается, как правило, не чужой язык, который изучает народ, а родной язык, столкнувшийся с чужим (см.: E. Windisch. *Zur Theorie der Mischsprachen und Lehnwörter*, 1897).

67 O. Jespersen. Die Sprache. Heidelberg, 1925, SS. 196–197.

68 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. VII. М.—Л., 1951, стр. 27. Ср. мнение А. Ваяна, доказывавшего, что синтаксические «имитации» и «кальки» греческого языка находились в противоречии со структурой древнеславянского и вызывали в этом последнем только хаос. (A. Vaillant. Manuel du vieux slave. Paris, 1948, p. 340.)

69 J. W. Goethe. Die Schriften zur Naturwissenschaft. «Gesammte Werke», Bd. 6, 1957, S. 126.

70 Ad Latina venio. Et si uspiam querelae locus, hic est; quod otium, quod literae, maiorem cladem sermoni Anglico intulerint quam ulla Danorum saevitia, ulla Normannorum vastitas unquam inflixerit. (Logonomia Anglica, 1621; переиздание 1903 г., Strassburg, стр. 43.)

71 Ниже приводятся некоторые работы, относящиеся к славянским языкам: Н. Birnbaum. Zur Aussenderung der syntaktischen Gräzismen im Altkirchenslavischen. «Scando-Slavica», 1958, IV; R. Ruzicka. Griechische Lehnsyntax im Altslavischen. «Zeitschrift für Slawistik», 1958, Bd. III, H. 2–4; S. Slonski. Die Übertragung der griechischen Nebensatzkonstruktionen in den altbulgarischen Sprachdenkmalern, Kirchhain, 1908; J. Bauer. Vliv řečtiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazuků. «Československe přednášky pro IV. mezinárodní sjezd». Praha, 1958 и др.

72 Касаясь этого вопроса, О. Беагель писал, что «чуждое воздействие, проявляющееся в построении предложения... затрагивает почти исключительно письменную, а не разговорную речь». (О. Behagel. *Die deutsche Sprache*, II. Aufl. Leipzig, 1934, S. 37.)

73 W. Havers. Handbuch der erklärender Syntax. Heidelberg, 1931. S. 135.

74 Leo Spitzer. *Autsätze zur romanischen Syntax und Stilistik*. Halle, 1918, S. 251.

75 K. Brugmann. Der Ursprung des Scheinsubjekts «es» in den germanischen und den romanischen Sprachen. «Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig.» Phil.-hist. Klasse. Bd. 69, H. 5, S. 54.

76 K. Brugmann. Die Demonstrativpronomen der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1904, S. 45.

77 O. Jespersen. Growth and Structure of the English Language.
Leipzig, 1935, p. 142.

78 См. примечания С. Д. Кацнельсона к книге: Э. Вессен. Скандинавские языки. ИЛ, М., 1949.

79 Подробное перечисление разных классификаций, а также литературу вопроса см. в книге: H. Gneuss. Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altenglischen. München, 1955.

80 Интересующихся этим вопросом можно отослать к работе: Л. А. Булаховский. Введение в языкознание, ч. 2, Учпедгиз, М., 1954. Заимствованиям в русском языке посвящены следующие работы: А. И. Соболевский. Русские заимствованные слова, 1891; С. К. Булич. Заимствованные слова и их значение для развития языка. «Русск. филологич. вестник», т. XV, 1886; И. И. Огиенко. Иноземные элементы в русском языке. Киев, 1915; и др.

81 O. Jespersen. Die Sprache. Heidelberg, 1925, S. 194.

82 П. Я. Черных. О связи развития языка с историей народа. «Изв. АН СССР», отд. лит. и яз., 1951, т. X, вып. 3, стр. 251.

83 M. Cohen. La langage (Structure et évolution). Paris, 1950.

84 В. Чернышев. Правильность и чистота русской речи, вып. 2, изд. 2. Петроград, 1915, стр. 7.

85 Грамматика русского языка, т. 1. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 254.

86 H. Hoijer. Linguistic and cultural changes. «Language», 1948, vol. 24; его же. The Relation of Language to Culture. «Anthropology Today». Chicago, 1953.

87 K. Vossler. Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung. Heidelberg, 1913 (изд. 2 под названием «Frankreichs Kultur und Sprache», 1929).

88 См. симпозиум «Language in Culture». Chicago, 1954.

89 W. Schmidt. Die Sprachfamilien und Sprachkreise der Erde.
Heidelberg, 1926.

91 Разбор указанных теорий Н. Я. Марра см. в ст. В. В. Виноградов. Критика антимарксистских концепций стадильности в развитии языка и мышления. Сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. 1. Изд-во АН СССР, 1951.

92 K. Vossler. Frankreichs Kultur und Sprache. Heidelberg 3. Aufl., 1921, S. 372.

93 Э. Сепир. Язык. ОГИЗ, М., 1934, стр. 171–172.

94 Э. Сепир. Ук. соч., стр. 172.

95 См. указанную выше работу: Н. Hoijer. Linguistic and cultural changes.

96 Незнание реалий иногда может привести даже к полному непониманию речи или текста. Так, например, при переводе фольклорных текстов народов Африки или индейских племен Америки на европейские языки приходится давать подробный комментарий, относящийся к реалиям, так как иначе они остаются в значительной мере неясными. Основываясь на этом обстоятельстве, Б. Малиновский и создал свою теорию «контекста ситуации», включающую речь в общественное действие. См.: В. Malinowski. The problem of meaning in primitive languages. Приложение к книге: С. К. Ogden and J. A. Richards. The Meaning of meaning. London, 1923.

97 E. A. Nida. Analysis of meaning and dictionary making. «International Journal of American Linguistics», 1958, vol. 24, No. 4, p. 283.

98 M. Leenhardt. *Do Kamo: La Personne et le Mythe dans le monde Mélanésien*. Paris, 1947, pp. 21–24.

99 См. Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. Учпедгиз, М., 1949.

100 Р. Шор. Язык и общество. «Работник просвещения», М., 1926, стр. 100.

101 К. Бруннер. История английского языка, т. I. ИЛ, М, 1955. стр. 132.

102 К. Бруннер. Ук. соч... стр. 133.

103 Э. Вессен. Скандинавские языки. ИЛ, 1949, стр. 95.

347

104 O. Jespersen. Die Sprache, S. 225.

105 Van Gennep. Revue des études ethnographiques et sociologiques.
1908, p. 397.

106 А. Самойлович. Женские слова у алтайских турков «Язык и литература», 1929, т. III.

107 Ж. Вандриес. Язык. ОГИЗ. М... 1937. стр. 236.

108 Б. А. Ларин. Западноевропейские элементы русского воровского аргю. «Язык и литература», 1931, т. VII, стр. 113.

109 Примеры взяты из указанной статьи Б. А. Ларина, а также из статей М. М. Фридман, А. П. Баранникова и Н. К. Дмитриева, включенных в названный том сборника «Язык и литература».

11 °См. Д. С. Лихачев. Черты первобытного примитивизма воровской речи. «Язык и мышление», 1935, т. III — IV. К статье приложена исчерпывающая библиография о русском аргю.

111 H. Schröder. Streckformen; ein Beitrag zur Lehre von der Wortentstehung und der germanischen Wortbetonung, 1906.

112 П. Лафарг. Язык и революция, изд. «Academia», 1930, стр. 20–21.

356

113 Маркс и Ф.Энгельс. Соч., т. 2, стр. 356.

114 Данный номер сноски в книге пропущен (А. В.).

115 А. И. Герцен. Соч., т. 6. СПб., 1905, стр. 191.

116 Приведено в кн.: O.Jespersen. Growth and Structure of the English Language. Leipzig, 1935, p. 91.

117 A. S. C. Ross. Linguistic Class-Indicators in Present Day English. «Neuphilologische Mitteilungen», 1954, 55, pp. 20–56. См. также: J. V a c h e k. On Social Differentiation of English Speech Habits. «Pliilologica Pragensia», 1960, No. 4, pp. 222–227.

118 Р. И. Аванесов. Очерки русской диалектологии. Учпедгиз, М., 1949, стр. 26.

119 В. В. Иванов. Русские народные говоры. Учпедгиз, М., 1956, стр. 9.

120 Очень интересна по материалу кн.: А. И. Селищев. Язык революционной эпохи. «Работник просвещения», М., 1927, — но методически она несовершенна. См. также: Н. М. Каринский. Очерки языка русских крестьян. Соцэкгиз, М., 1936.

121 См. Л. А. Булаховский. Введение в языкознание, ч. 2. Учпедгиз, М., 1949, стр. 31.

122 H. Hirt. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. München, 1921, SS. 285–341.

366

123 Р. Шор. Язык и общество, стр. 101–102.

124 O. Behagel. Die deutsche Sprache. Leipzig. 1928, S.78.

125 См. ст.: В. И. Панов. Об отличии национального языка от языка народности, — а также библиографическую справку. — К вопросу о развитии от языка народности к национальному языку. «Вопросы языкознания», 1952. № 6.

126 G. Stern. Meaning and change of meaning. Göteborg, 1931, p. 192.

127 J. Vendryes. *Mélanges linguistiques*. Paris, p. 116.

128 В. И. Абаев. О языковом субстрате. «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР». 1956, вып. IX, стр. 62.

129 Письмо Ф. Энгельса И. Блоху. Лондон, 21–22 сентября 1890 г.
К.Маркс и Ф.Энгельс. Избр. произв., т. II, 1948, стр. 468.

130 E. Prokosch. A Comparative Germanic Grammar. Philad., 1933, p. 52.

131 Ibid., p. 57.

1 «Мышление и язык». Госполитиздат, М., 1957, стр. 154–156.

2 См. Э. Сепир. Язык. Соцэкгиз, М., 1934, стр. 72.

3 Л.Леви-Брюль. Первобытное мышление. «Атеист», М., 1930, стр. 98–99. В книге Л. Леви-Брюля собран огромный материал, который сам по себе, независимо от его интерпретации, представляет выдающийся интерес для лингвистики.

4 D. Westermann. Grammatik der Ewesprache. Berlin, 1907, S. 229.

5 Напр., покачивание головы сверху вниз означает в Китае не согласие, а отрицание.

6 Пример языка монахов-трапистов, дающих обет вечного молчания, также свидетельствует об этом.

7 Л. С. Выготский. Мышление и речь. ОГИЗ, М... 1934, стр. 304.

8 Л. С. Выготский. Ук. соч., стр. 311–312.

383

9 Там же, стр. 317.

10 В. Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. «Хрестоматия по истории языкознания XIX–XX веков», составленная В. А. Звегинцевым. Учпедгиз. М., 1956, стр. 78. Далее дано: «Хрестоматия».

11 В.Гумбольдт. Ук. соч., стр. 81.

12 В.Гумбольдт. Ук. соч., стр. 71.

387

13 Там же.

14 E.Cassirer. Structuralism in Modern Linguistics. «Word», 1945, No. 1, p, 110.

15 Цит. по ст.: Н. Basilius. Neo-Humboldtian Ethnolinguistics. «Word», 1952, vol. 8, No. 2, p. 100.

16 С наибольшей полнотой взгляды Л. Вайсгербера изложены в четырехтомном исследовании «Von den Grundrissen der deutschen Sprache». Düsseldorf, 1949–1950. (Наибольший интерес с точки зрения разбираемых вопросов представляет второй том: «Vom Weitbild der deutschen Sprache»). Популярное и более краткое изложение содержится в книге: L. Weisgerber. Das Gesetz der Sprache. Heidelberg, 1951. Хорошо обоснованное критическое рассмотрение его идей см. в работе: К. А. Левковская. Некоторые зарубежные языковедческие теории и понятие слова. Сб. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике». Изд-во АН СССР, 1961.

17 L. Weisgerber. Vom Weitbild der deutschen Sprache. Düsseldorf.
1950, SS. 7–8.

18 Термин «поля» употребляли наряду с И. Триром также Г. Ипсен и В. Порциг, но в ином значении. См. по этому вопросу ст.: S. Црман. Theories of the Linguistic Field. «Word», 1953, vol. 9, No. 2.

19 J.Trier. Das sprachliche Feld. «Neue Jahrbücher f. Wissenschaft u. Bildung», 1934, 10, S. 429.

20 L. Weisgerber. Vom Weltbild der deutschen Sprache. SS. 26–28.

21 L.Weisgerber. Op. cit., S. 39.

22 L. Weisgerber. Das Gesetz der Sprache. Heidelberg, 1951, SS. 170–171.

23 Критическое изложение концепции Уорфа см. в работе: В. А. Звегинцев. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира-Уорфа. Сб. «Новое в лингвистике», вып. I. ИЛ, М., 1960.

24 E.Sapir. Conceptual Categories in Primitive Languages. «Science», 1931, vol. 74, p. 578.

- 25 B. Whorf. *Collected Papers on Metalinguistics*. Washington, 1952, p.
5.

26 B. Whorf. *Op. cit.* p. 11.

401

27 Ibid., p. 36.

28 См. St. Chase. Tyranny of Words. N. Y., 1938. В этих идеях Уорфа много близкого положением так называемой «общей семантики» (general semantics), восходящей к А. Коржибскому. По сути говоря, «общая семантика» есть крайнее выражение гипотезы Сепира — Уорфа.

29 См. симпозиум «Language in Culture», под ред. Н. Hoijer. Chicago, 1954, p. 95.

30 B. L. Worf. Language, Thought and Reality. Selected writings. 1956, pp. 143–145. Русский перевод трех основных статей из этого сборника см. в «Новое в лингвистике», вып. 1. ИЛ, М... 1960.

31 B. L. Worf. *Op. cit.*, p. 153.

32 B. L. Worf. *Op. cit.*, pp. 153–154.

33 Ibid., p. 156.

34 B. L. Worf. *Op. cit.*, p. 158.

35 Ibid., p. 159.

36 В.Гумбольдт. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода. «Хрестоматия».

37 L.Weisgerber. Das Gesetz der Sprache, 1951, SS. 172–173.

38 L.Weisgerber. Vom Weitbild der deutschen Sprache 1950, S. 194.

39 P.Zinsli. Grund und Grat. Der Formaufbau der Bergwelt in den Sprachbegriffen der Schweitzer-deutschen Alpenmundarten. Zurich, 1937; см. также работы: K. Vossler. Volkssprachen und Weltsprachen. «Welt und Wort», 1946, S. 98 — и большой материал подобного же рода, собранный у Е. Cassirer (Philosophie der symbolischen Formen, I. Teil.: «Die Sprache», 1923) и у Л. Леви-Брюля («Первобытное мышление». «Атеист», М., 1930).

40 В. И. Ленин. Философские тетради. Госполитиздат, М., 1947, стр. 308.

41 Собственно, это отметил уже В. Гумбольдт, когда говорил, что «наряду с уже оформившимися элементами, язык состоит из способов, с помощью которых продолжается деятельность духа, указывающего языку его пути и формы».

42 L. Weisgerber. Vom Weitbild der deutschen Sprache. S. 38.

43 B. Whorf. Language, thought and reality. Selected writings. N. Y., 1956, p. 135.

44 Вся совокупность средств такого рода языкового воздействия изучается тем разделом науки о языке, который носит название стилистики.

45 S.Öhman. Theories of the Linguistic Field. «Word», 1953, vol. 9, No. 2, pp. 131–132.

46 Ш.Балли. Общая лингвистика и вопросы французского языка.
ИЛ, М., 1955.

47 Материалы этой конференции собраны в сборнике «Language in Culture», вышедшем под редакцией Н. Хоijer. Chicago, 1954.

422

48 Цит. сб., стр. 18.

423

49 Цит. сб., стр. 136.

50 Не намереваясь исчерпать список работ, посвященных проблеме отношений понятия и лексического значения слова, в качестве примера можно привести следующие статьи: А. И. Смирницкий. Значение слова («Вопросы языкознания», 1955, № 2); Л. В. Ковтун. О значении слова («Вопросы языкознания», 1955, № 5); Ф. Травничек. Некоторые замечания о значении слова и понятия («Вопросы языкознания», 1956, № 1); Е. М. Галкина-Федорук. Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма («Вест. Моск. ун-та», 1951, № 9); П. С. Попов. Значение слова и понятие («Вопросы языкознания», 1956, № 6); Д. Т. Горский. О роли языка в познании («Вопросы философии», 1953, № 2); Л. Г. Воронин. Понятие и слово в свете марксистско-ленинского учения о единстве языка и мышления (автореферат канд. дис. Киев, 1954); Л. Д. Бланк. К вопросу о слове, понятии и значении («Уч. зап. Орехово-Зуевского гос. пед. ин-та», 1955, т. II). См. также кн.: К. А. Левковская. Лексикология немецкого языка (Учпедгиз. М. 1956, стр. 24–45), где дается критический обзор различных определений лексического значения.

51 Р. Якобсон в докладе *The phonemic and grammatical aspects of language in their interrelation* говорит по этому поводу: «Фонема принимает участие в сигнификации, не обладая своим собственным значением. Семиотическая функция фонемы в составе более высокой лингвистической единицы заключается в указании, что эта единица имеет иное значение, чем эквивалентная единица» («*Actes du sixième congrès International des linguistes*». Paris, 1949, p. 8).

52 По этой же причине, надо полагать, невозможен разрыв между фонетикой и фонологией, представляющими, по сути говоря, разные аспекты изучения одного явления.

53 «Краткий философский словарь». Госполитиздат, М., 1954.

54 «Логика» под ред. Д. П. Горского и П. В. Таванца.
Госполитиздат, М., 1956, стр. 29–30.

55 В данном случае и других подобных случаях слово «предмет» употребляется в общефилософском смысле. Под ним разумеются не только собственно предметы, но и процессы, отношения, состояния и вообще вся совокупность явлений действительности.

56 Е. М. Галкина-Федорук. Слово и понятие в свете учения классиков марксизма-ленинизма «Вестн. Моск. ун-та», 1951, № 9, стр. 124–125; Ф. Травничек. Некоторые замечания о значении слова и понятия. «Вопросы языкознания», 1956, № 1. Автор доказывает, что понятия содержатся и в междометиях.

57 См. К. А. Левковская. О принципах структурно-семантического анализа языковых единиц. «Вопросы языкознания», 1957, ¹ 1.

58 J.Vendryes. La comparaison linguistique. «Bull. de la Soc. de Linguistique de Paris», 1945, pp. 16–17.

59 См., например, ст.: М. Н. Алексеев и Г. В. Колшанский. О соотношении логических и грамматических категорий. «Вопросы языкознания», 1955, № 5.

60 И.Стеблин-Каменский. Об основных признаках грамматического значения. «Вест. Ленингр. ун-та», 1954, № 6, стр. 159.

61 И.П. Иванова. К вопросу о типах грамматического значения.
«Вест, Ленингр. ун-та», 1956, № 2.

62 Грамматика русского языка, т. I. Изд-во АН СССР, 1952, стр. 9.

63 Цит. соч., стр. 105. Обзор различных определений грамматической категории и их критику см. в ст.: А. И. Моисеев. О грамматической категории. «Вестн. Ленингр. ун-та», 1956, № 2. Сам автор статьи дает следующее определение грамматической категории: «Грамматическая категория — это наиболее общее грамматическое значение, являющееся обобщением двух или нескольких соотносительных между собой и противопоставленных друг другу более частных грамматических значений» (стр. 127).

64 St.Mill. Rectorial Address at St. Andrews, 1867, p. 8.

65 V.Brøndal. Ordklasserne. Copenhagen, 1928; Morfologi og Syntax. Copenhagen, 1932.

66 A.Sechehaye. Essai sur la structure logique de la phrase. Paris, 1926.

67 F.Ârunot. La Pensée et la langue. Paris, 1922, p. VII.

68 H.Steinthal. Grammatik, Logik und Psychologie. Berlin, 1855, SS.
221–222.

69 H.Steinthal. Charakteristik der hauptsächlich Typen des Sprachbaues. Berlin, 1860, S. 104.

70 J. N. Madvig. Kleine philologische Schriften. Leipzig, 1875, S. 121.

71 W. L. Graff. *Language and Languages*. N. Y. — London, 1932. pp. 190–191.

72 Barnum. Grammatical Fundamentals of the Innuït Language of Alaska. Boston, 1901. p. 17.

73 F. Boas. Handbook of American Indian Languages. Washington, 1911. pp. 105, 111.

74 Ряд примеров взят из кн.: О. Jespersen. The Philosophy of Grammar. London, 1924.

75 O.Jespersen. *The Philosophy of Grammar*. London, 1924, pp. 53–54.

450

76 С.Элвестадт. Лиловая рукавица. Перевел д-р Иосиф Каминский.
Ужгород. 1931, стр. 1.

77 M.Cohen. Social and Linguistic Structure. «Diogenes», 1956, No. 15., p. 45.

78 Ф. И. Буслаев. Историческая грамматика русского языка, ч. II, 1869, стр. 22.

79 А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, ч. I. Харьков, 1888, стр. 61.

80 Как известно, в работе J. Ries. Was ist ein Satz? Prague, 1951, приводится сто тридцать девять определений предложения.

81 Эту задачу успешно выполняют работы: П.С.Попов. Суждение и предложение. Сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка». Учпедгиз, М., 1950 и Е. М. Галкина-Федорук. Суждение и предложение. Изд-во МГУ, 1956.

82 П. С. Попов. Суждение. Изд-во МГУ, 1957, стр. 3.

83 «Логика» под ред. Д. П. Горского и П. В. Таванца. Госполитиздат, М., 1956, стр. 69. «Краткий философский словарь», изд. 4, под ред. М. Розенталя и П. Юдина (Госполитиздат, М., 1954, стр. 579–580), дает несколько более расширенное, но по существу такое же определение: «Суждение — одна из основных познавательных форм мышления. Суждение есть единый познавательный акт, при помощи которого, посредством утверждения или отрицания, раскрывается наличие или отсутствие того или иного признака у предмета, явления».

84 «Логика» под ред. Д. П. Горского и П. В. Таванца, стр. 69.

459

85 Там же.

86 «Логика» под ред. Д. П. Горского и П. В. Таванца, стр. 71.

461

87 Там же, стр. 72.

462

88 Там же, стр. 75.

89 П. С. Попов. Ук. соч., стр. 6—10.

90 Грамматика русского языка, т. II. ч. 1. Изд-во АН СССР, 1954, стр. 65.

91 Связку грамматика не рассматривает как член предложения и имеет в виду только подлежащее и сказуемое.

92 W.Entwistle. *Aspects of Language*. London, 1953, pp. 145–146.

93 А. С. Чикобава. Несколько замечаний об эргативной конструкции. Сб. «Эргативная конструкция предложения». ИЛ, М., 1950, стр. 5–6.

94 Грамматика русского языка, т. II, ч. 1. Изд-во АН СССР, 1954
стр. 65.

95 H. Carnap. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934.

96 B. Russell. *An Inquiry into Meaning and Truth*. N. Y., 1940.

97 Ch. Morris. Signs, Language and Behavior. N. Y., 1946.

98 «Proceedings of the seventh international congress of linguistics»
London, 1956, pp. 25–26.

473

99 Ibid., p. 26.

100 «Proceeding of the seventh international congress of linguistics», pp. 243–244. Здесь нет надобности подвергать критическому разбору приведенное понимание задач и характера логики, поскольку это не является целью настоящей работы.

475

101 «Логика», стр. 77–78.